

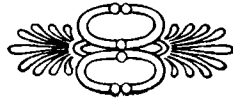
ВИЛАНД
ИЛИ
ИСТОРИЯ
АБДЕРИТОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



CHRISTOPH MARTIN
WIELAND



GESCHICHTE
DER
ABDERITEN

КРИСТОФ МАРТИН
ВИЛАНД



ИСТОРИЯ
АБДЕРИТОВ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:

Г. С. СЛОБОДКИН, Р. Ю. ДАНИЛЕВСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА

1978

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»**

*М. П. Алексеев, П. П. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,
М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров, Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Д. А. Ольдерогге, Ф. А. Петровский,
Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя),
М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов*

Ответственный редактор

Б. И. ПУРИШЕВ



*Кристоф Мартин Виланд.
Портрет работы Ф. Лорцинга*



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Тот, кто в какой-то степени заинтересуется достоверностью и характерными чертами фактов, лежащих в основе этой истории, и не захочет сам разыскивать их в источниках, а именно — в произведениях Геродота, Диогена Лаэртция, Афинейя, Элиана, Плутарха, Лукиана, Палефата, Цицерона, Горация, Петрония, Ювенала, Валерия, Геллия, Солина и прочих ¹, — имеет возможность убедиться из статей *Абдера* и *Демокрит* в словаре Бейля ², что эти «Абдериты» не принадлежат к числу правдивых историй в духе Лукиана ³. И *абдериты*, и их ученый *Демокрит* представлены здесь в их истинном свете. И хотя, как может показаться, автор использовал неизвестные сведения, заполняя пробелы, объясняя темные места, устраняя действительные и объединяя мнимые противоречия, встречающиеся у вышеуказанных писателей, тем не менее проницательный читатель заметит, что автор следовал одному надежному руководителю, авторитет которого намного превосходит всех Элианов и Афинеев. Его единственный голос делает бессильным свидетельства всего света и приговор всех амфикионов, ареопагитов, децемвиров, центумвиров и дучентумвиров, равно как и докторов, магистров, бакалавров ⁴ вместе взятых и каждого в отдельности. Этот руководитель — *сама Природа*.

Если это небольшое произведение будет угодно рассматривать как небольшой вклад в историю человеческого разума, то автор будет вполне удовлетворен. Он полагает также, что и за этим, столь приятно звучащим для слуха, заглавием содержится не меньше и не больше того, что должно содержаться во всех исторических книгах, если только они не опускаются до легенд о Прекрасной Мелузине ⁵ и не могут быть поставлены в один ряд с самыми плоскими из всех сказок — творениями госпожи Д'Онуа ⁶.



ИСТОРИЯ АБДЕРИТОВ

Книга первая

ДЕМОКРИТ СРЕДИ АБДЕРИТОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Предварительные сведения о происхождении города Абдеры и характере его обитателей

Возникновение фракийского города Абдеры теряется в сказочных временах героического прошлого. И не столь уж важно, ведет ли он свое название от Абдеры, дочери пресловутого царя бистонской Фракии¹ Диомеда^{1*}, который, будучи большим охотником до лошадей, развел их столько, что, в конце концов, они сожрали и его, и жителей его страны^{2*}, или от конюшего этого царя Абдеры, или же от другого Абдера, любимца Геракла.

Спустя несколько столетий после своего основания, Абдера, здания которой сильно обветшали, почти разрушилась, и Тимесий Клазоменский начал возводить город вновь в пору Тридцать первой олимпиады². Но дикие фракийцы, не терпевшие никаких городов, не дали ему насладиться плодами трудов своих^{3*}. Они отогнали его, и Абдера осталась незаселенной и недостроенной до тех пор, пока приблизительно в конце Пятьдесят девятой олимпиады жители ионийского города Теос, сопротивлявшиеся завоевателю Киру⁴, не сели на корабли и отплыли во Фракию. Найдя в плодородной области этот город Абдери, никому не принадлежавший, ионийцы завладели им и столь хорошо укрепились там, вопреки фракийским варварам, что они и их потомки с того времени начали прозываться абдеритами. Подобно многим греческим городам, они образовали небольшое свободное государство — нечто среднее между демократией и аристократией, и управлявшееся так, как издавна управлялись маленькие республики.

^{1*} *Solin. Polyhist. C. X. [Солин. Полигистор. гл. X (лат.)].*

^{2*} Палефат в своей книге «О невероятных вещах» именно так рассказывает историю о том, как этот князь кормил своих коней человеческим мясом, а затем, в конце концов, и его самого скормил коням Геракла³.

^{**} *Herodot. I, 43. [Геродот, I, 43 (лат.)].*

— К чему,— воскликнут наши читатели,— эта пустая и пространная история возникновения и судеб фракийского городишки Абдеры? Что нам до Абдеры? Неужто так важно знать, когда, как, где, почему и кем основан город, уже давным-давно и не существующий?

— Минуточку, милостивые читатели! Прежде чем я продолжу свой рассказ, наберитесь терпения, пока мы с вами не договорились вполне. Упаси меня бог предположить, что вы будете читать «Историю абдеритов», если вам как раз нужно делать что-нибудь важное или есть возможность читать что-либо лучшее!

«Мне нужно готовиться к проповеди...» — «Мне необходимо посетить больных...» — «Я должен изложить свое мнение, отдать распоряжение, внести исправление, подать всеподданнейший отчет...» — «Я пишу рецензию...» — «За восемь дней я обязан предоставить своему издателю еще шестнадцать печатных листов...» — «Я купил пару волов...» — «Я женился...» Бога ради! Готовьтесь, посещайте, реферлируйте, рецензируйте, переводите, покупайте и женитесь на здоровье! Занятые читатели редко бывают хорошими читателями. То им нравится все, то ровным счетом — ничего. То они понимают нас наполовину, то вовсе не понимают, а то (что хуже всего) понимают неверно. Кто хочет читать с удовольствием и пользой, не должен ничем заниматься и ни о чем, кроме чтения, не думать. И уж если выдался такой случай, то почему бы вам не уделить двух-трех минут для того, чтобы узнать то, что стоило немало часов какому-нибудь Салмазию, Барнсу⁵, Бейлю и, признаться откровенно, мне самому, ибо я не удосужился вовремя справиться об Абдере в словаре Бейля. Неужели вы меня слушали бы терпеливо, если бы я вам начал рассказывать историю о богемском короле, владевшем семью замками, или повести трех календеров?⁶

Абдериты (из того, что уже известно о них) являлись, должно быть, одним из самых приятных, энергичных, остроумных и проныватых народов, когда-либо обитавших на земле.

— И это почему же?

Подобный вопрос задан, по-видимому, не учеными читателями. Помыслите, кто стал бы писать книги, если бы все читатели были бы так же учены, как и автор? Вопрос «Почему?» — всегда весьма разумный вопрос, и он заслуживает ответа всякий раз, когда речь идет о предметах, имеющих отношение к человеку. И горе тому, кто почувствует затруднение, смутится или рассердится, когда должен будет ответить на вопрос — «Почему?». Мы, со своей стороны, дали бы ответ и не ожидая требования читателей, если бы только они не проявляли такой торопливости. Извольте, вот он!

Теос был одной из двенадцати или тринадцати афинских колоний, основанной в Ионии под предводительством Нелея, сына Кодра⁷.

Афиняне издавна были живым и умным народом, и, как говорят, являются таковыми и поныне. Переселившись в Ионию, они благоденствовали под этими чудесными небесами, в этом обласканном природой краю, подобно бургундской виноградной лозе, пересаженной в предгорье.

Среди всех народов земли любимцами муз были ионические греки. Сам Гесмер, по всей вероятности, был ионийцем. Иония была родиной эротической

поэзии, милетских сказок⁸ — предшественниц наших новелл и романов. Из Ионии происходили греческий Гораций — Алкей, пламенная Сапфо, Анакреонт — *певец*, Аспасия — *наставница*, Апеллес⁹ — *живописец* Градий. Анакреонт даже по рождению теосец. Ему было около 18 лет (если правильны расчеты Барнса), когда его сограждане переселились в Абдере. И он отпавился с ними. В знак того, что он остался верен своей лире, служившей божествам любви, он воспел в Абдере фракийскую девушку¹⁰. В этой песне неистовый фракийский тон совершенно особым образом контрастирует с ионической грацией, свойственной его творениям.

Ну, кто бы теперь усомнился в том, что теосцы, сограждане Анакреонта, по происхождению афиняне, столь долго проживавшие в Ионии, не сохранили и во Фракии свой характер разумного народа? Однако же результат был обратный. Едва они стали абдеритами, как сразу же выродились. И не то, чтобы они утратили прежнюю живость и превратились в истинных баранов¹¹, как упрекает их в этом Ювенал^{1*}. Их живость лишь приобрела какое-то чудное направление, а их фантазия настолько опередила их разум, что последний уже никогда не мог ее догнать. Идей у них хватало, но только они редко годились для определенных случаев; или же самые блестящие замыслы приходили им в голову слишком поздно, когда подходящий случай уже миновал. Говорили они много, ни минуты не задумываясь над тем, что хотят сказать или желают выразить. Поэтому, открывая рот, они зачастую изрекали какую-нибудь нелепость. К несчастью, эта дурная привычка сказывалась и в их действиях: обычно они захлопывали клетку, когда птичка уже вылетела. Их упрекали поэтому в безрассудности. Но опыт свидетельствует, что, стремясь быть рассудительными, абдериты поступали не лучше. Если они совершали какую-либо глупость (а это случалось нередко) — то из самых лучших побуждений. Если они весьма долго и серьезно совещались по поводу общих дел, то можно было быть уверенным, что изо всех возможных решений они примут наихудшее.

Среди греков они стали притчей во языцех, вошли в поговорки. Абдеритская выдумка, абдеритская затея означала у них то же самое, что у нас глупость шильдбургеров, а у швейцарцев — лалебургеров¹². И добрые абдериты не упускали случая щедро снабжать всяких насмешников и зубоскалов подобными образчиками своей мудрости. Для начала лишь несколько примеров этого. Однажды им пришла в голову мысль, что такой город, как Абдера, непременно должен иметь прекрасный фонтан. Его решили установить посреди большой рыночной площади и, чтобы покрыть издержки по строительству, ввели новый налог. Для изготовления скульптурной группы они пригласили одного известного афинского ваятеля; группа должна была изображать бога моря на колеснице, влекомой четырьмя морскими конями, окруженного тритонами и дельфинами, а из их ноздрей должны были бить мощные водяные струи. Все уже было готово, как вдруг выяснилось, что воды едва хватит, чтобы смочить нос одному-единственному дельфину. И когда фонтан пустили в ход, то казалось, будто все эти кони и дельфины схватили насморк. Желая

^{1*} *Juvenal. Satyr. X, v. 50. [Ювенал. Сатиры X, ст. 50 (лат.).]*

избежать насмешек, абдериты перенесли всю эту группу в храм Нептуна и всякий раз, показывая ее иностранцам, служитель храма от имени достославного города серьезно сожалел, что такое великолепное произведение искусства невозможно использовать из-за недостатка воды.

В другой раз они приобрели прекрасную статую Венеры из слоновой кости, считавшуюся шедевром Праксителя¹³. Она была высотой приблизительно в пять футов и ее следовало установить на алтаре богини любви. Когда статую привезли, то вся Абдера пришла в восхищение от красоты своей Венеры, ибо абдериты считали себя знатоками и восторженными почитателями искусства. Она слишком прелестна, утверждали они единодушно, чтобы стоять на столь низком месте. Шедевр, приносящий такую честь городу и стоивший таких денег, нужно поднять как можно выше. Это первое, что должно бросаться в глаза иностранцам при въезде в Абдеру. И воодушевленные счастливым замыслом, они установили небольшую чудесную статую на обелиске высотой в восемьдесят футов. И хотя теперь невозможно было разглядеть, что она собой представляет — Венеру или морскую нимфу, — они все же заставляли всех иностранцев соглашаться, что ничего более совершенного не встретишь на свете.

Нам кажется, что эти примеры достаточно свидетельствуют, почему абдериты не без основания слыли людьми с непутевыми головами. И вряд ли что-нибудь могло бы охарактеризовать их характер ярче, чем следующее происшествие¹⁴. По свидетельству Юстина, они дали лягушкам возможность расплодиться в Абдере и вокруг нее настолько, что, в конце концов, были вынуждены сами уступить город своим квакающим согражданам и до разрешения этого затруднительного дела переселиться под покровительство царя Кассандра в другое место. Несчастье постигло абдеритов не внезапно. Один мудрый человек среди них уже давно предсказывал, чем все это закончится. Но они не нашли верных средств против напасти, а поздней ни за что не хотели в этом признаться. Между тем их мог бы научить кое-чему один случай. Спустя несколько месяцев после их ухода из Абдеры, из Герании¹⁵ прилетело огромное количество журавлей, и они так усердно очистили всю область от лягушек, что на целую милю вокруг Абдеры не осталось ни одной из них, которая могла бы приветствовать наступающую весну своим «Брекек, коакс, коакс»¹⁶.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Демокрит из Абдеры. Мог ли и в какой степени гордиться им его родной город?

Ювенал утверждает, что нет воздуха, столь вредного, народа, столь глухого, места, столь бесславного, чтобы иногда даже в этих условиях не рождался великий человек¹. Пиндар и Эпанионд родились в Беотии, Аристотель в Стагире, Цицерон в Арпинуме, Вергилий в деревушке Анды близ Мантуи, Альберт Великий в Лаунгене, Мартин Лютер в Эйслебене, Сикст V в деревне

Монтальто в Анковской марке, а один из самых превосходных королей, живших на земле, — в По, в Беарне². Что ж удивительного в том, что и Абдере случайно выпала честь стать городом, в чьих стенах впервые увидел свет величайший естествоиспытатель древности.

Я не понимаю, почему какое-либо место может использовать подобное обстоятельство и притязать на славу великого человека. Кому суждено родиться, тот ведь где-нибудь и родится, а остальное — дело природы. Весьма сомневаюсь, чтобы, кроме Ликурга³, существовал какой-нибудь законодатель, который распространял бы свое попечение о человечестве вплоть до ребенка и предпринимал бы меры для того, чтобы государство имело здоровых, красивых и умных детей. Следует признать, что только Спарта имела некоторое право гордиться достоинством своих сограждан. Но в Абдере (как почти и во всем мире), это предоставляли произволу Случая и Геня — *patiale comes qui temperat astrum**. И если из среды абдеритов вышли Протагор* или Демокрит, то славный город Абдера был к этому совершенно не причастен, так же, как Ликург и его законы, если в Спарте рождался какой-нибудь дурак или трус.

С такой беспечностью, хотя она и касается в высшей степени важного государственного дела, еще можно было бы примириться и простить ее абдеритам. Если природе дают возможность свободно проявлять свои силы, она делает излишней всякую дальнейшую заботу о том, чтобы ее творения оказались удачными. Редко забывая снабдить свое любимое творение всеми теми способностями, которые необходимы для совершенства человека, она как раз и предоставляет развитие этих способностей искусству. Следовательно, любое государство располагает достаточными возможностями завоевать право на заслуги и достоинства своих граждан. Однако и в этом отношении абдеритам сильно недоставало ума. Трудно было бы в целом мире найти место, где менее заботились бы о воспитании чувства, разума и сердца будущих граждан.

Воспитание вкуса, то есть тонкого, верного и просвещенного чувства прекрасного — лучшее основание для той славной сократовой калокагатии⁶, или внутренней красоты, доброты души, которая делает человека любезным, благородным, полезным и счастливым существом. И ничто лучше не развивает в нас безошибочное чувство красоты, как все то прекрасное, что видим и слышим мы с детских лет. Родиться в городе, где искусства достигли совершенства, в городе, великолепно построенном и полном художественных шедевров, например в Афинах, — уже немалое преимущество. И если афиняне времен Платона и Менандра⁷ отличались большим вкусом, чем тысячи иных народов, то, бесспорно, они обязаны этим своей родине.

В одной греческой пословице (о значении которой, как обычно, спорят ученые) Абдера заслужила прозвище «прекрасной», которое и ныне украшает в Италии Флоренцию. Мы уже упоминали, что абдериты были страстными

* Звезду направляющего нашу с рожденья⁴ (лат.).

² Знаменитый софист из Абдеры (несколько старше Демокрита), которого Цицерон ставит рядом с Гиппием, Продиком, Горгием, а следовательно, с величайшими представителями своей профессии⁵.

почитателями изящных искусств. И, действительно, в период высшего расцвета Абдеры, то есть именно тогда, когда абдериты на некоторое время уступили город лягушкам, в нем имелось множество зданий с колоннами, изобиловавших произведениями живописи, прекрасный театр и музыкальный зал (Ὀδεῶν¹), короче, это были своего рода вторые Афины — но только во всем лишенные вкуса. Ибо, к несчастью, те странные их причуды, о которых мы упоминали, давали знать себя также и в их понятиях о прекрасном и приличествующем. Латоне⁸, покровительнице их города, был посвящен самый худший храм. Напротив, Ясону, золотым руном которого они, якобы, владели, — самый великолепный. Их ратуша напоминала складское помещение, и прямо перед залом, где обсуждались государственные дела, расположились все городские торговки зеленью, овощами и яйцами. Здание же гимнасия, где юноши упражнялись в искусстве борьбы и фехтования, было, напротив, окружено тройной колоннадой. Фехтовальный зал украшали только картины¹⁰, изображавшие разные совещания, и статуи в спокойных, задумчивых позах^{1*}. Но зато ратуша доставляла отцам отечества более восхитительное наслаждение. Ибо куда бы они ни обратили свой взор, повсюду в зале заседаний они могли любоваться фигурами прекрасных нагих бойцов, купающихся Диан или спящих вакхантов¹¹. А большую картину, висевшую как раз напротив места архонта¹², которая откровенно изображала перед всеми обитателями Олимпа позор Венеры, пойманной вместе с любовником в сеть Вулкана¹³, они показывали иностранцам с такой торжественностью, что она могла бы рассмешить даже необычайно серьезного Фокиона¹⁴. Царь Лисимамах¹⁵, рассказывали они, предлагал им за нее шесть городов и обширную область, но они не могли решиться расстаться с таким великолепным произведением, особенно потому, что по высоте и ширине оно как раз занимало целую стену ратуши. Кроме этого, говорили они, один из их художественных критиков в обширном и необыкновенно ученом труде весьма остроумно истолковал отношение аллегорического смысла этой картины к тому месту, где она висела.

Мы никогда не кончили бы своего повествования, если бы стали рассказывать о всех многочисленных нелепостях в этой республике. Однако мимо одной мы пройти не можем, так как она касается существенной особенности их государственного устройства и оказала немалое влияние на характер абдеритов. В древнейшую пору существования города, — по-видимому, в соответствии с орфическим культом¹⁶ — номофилакс, или блюститель законов (одна из высших городских должностей) являлся одновременно предводителем священного хора и главой музыкантов. Тогда это имело свои основания. Однако с течением времени основания законов изменяются и буквальное исполнение их становится смешным, поэтому законы следует приводить в соответствие с изменившимися обстоятельствами. Но подобная

* Одеон (греч.).

^{1*} То, что говорится здесь об абдеритах, рассказывают и другие древние писатели о городе Алабанде, см. *Coel. Rhodog. Lect. Ant. L. XXVI, Cap. 25* [Целий Родэгий. Античные чтения кн. XXVI, гл. 25 (лат.)].

мысль никогда не осеняла абдеритские умы. И часто случалось, что избирался номофилакс, который более или менее сносно следил за законами, но плохо пел или вовсе не разбирался в музыке. Что оставалось делать абдеритам? После долгих совещаний было издано, наконец, постановление: отныне лучший певец Абдеры должен быть всегда также и номофилаксом. И это соблюдалось до последних дней существования города... Но ни одна душа в течение двадцати публичных заседаний не додумалась до того, что номофилаксом и предводителем хора могут быть два разных человека.

Легко понять, что при таком положении дел музыка в Абдере была в большом почете. Все в этом городе были музыкантами, все пели, играли на флейтах и лирах. Их мораль и политика, их теология и космогония были основаны на музыкальных принципах. Даже их врачи лечили болезни различными музыкальными ладами и мелодиями. В данном случае они, видимо, руководствовались взглядами и теориями величайших мудрецов древности — Орфея, Пифагора, Платона¹⁷. Но в практическом их применении они очень далеко отходили от строгих требований этих философов. Платон изгоняет из своей республики все мягкие и изнеженные лады¹⁸. Музыка не должна вызывать у граждан ни радости, ни печали. Вместе с ионийскими и лидийскими созвучиями¹⁸, он запрещает все вакхические и любовные песни. Даже музыкальные инструменты кажутся ему настолько неравноценными, что он отделяет от них многострунные инструменты и лидийские флейты как опасные орудия сладострастия, и позволяет своим гражданам пользоваться только лирами и цитрами, а сельским жителям и пастухам — тростниковыми свирелями. Абдериты столь строго не философствовали. У них разрешались все лады и инструменты и, следуя весьма правильному, но часто ложно понимаемому ими принципу, они утверждали, что все серьезные дела нужно исполнять весело, а все веселые — серьезно. Это положение, примененное к музыке, привело к большим нелепостям. Их богослужебные гимны звучали, как уличные песенки¹⁹, но зато мелодии их танцев были самыми торжественными. Музыка к трагедии была обычно веселой, а военные песни звучали настолько печально, что годились, пожалуй, лишь для людей, управляющихся на виселицу. Подобные несуразности давали себя знать во всем их искусстве. Играющий на лире считался у них виртуозом, если он трогал струны так, что, казалось, будто слышишь флейту. А певица, чтобы заслужить восхищение, должна была заливаться трелями, как соловей. Абдериты не имели никакого понятия о том, что музыка является музыкой лишь тогда, когда трогает сердца людей: они были вполне довольны, если звуки приятно щекотали слух или же оглушали ничего не выражающими, но звучными и частыми аккордами. Коротко говоря, при всей восторженной любви к искусству, у абдеритов отсутствовал всякий вкус, и им было невдомек, что Прекрасное имеет более глубокие основания, чем то, что им заблагорассудилось считать таковым.

Тем не менее, соединенные усилия природы и счастливого случая позво-

¹⁷ Plato, De Republ. l. III. Tom opp. III, p. 198. [Платон. Государство. Сочинения, кв. III, стр. 198 (лат.)].

лили, наконец, одному абдериту обрести человеческий разум. Но следует признать, что Абдера здесь была вовсе ни при чем. Ведь истинным мудрецом в Абдере мог стать лишь тот, кто менее всего был абдеритом: нетрудно понять, почему абдериты были самого низкого мнения о том из своих сограждан, кто более всего делал им чести. И это была не обычная их глупость. Она имела свою причину, настолько понятную, что было бы несправедливо их упрекать.

Дело не в том, что они знали естествоиспытателя Демокрита еще мальчишкой, игравшим с волчком или кувыркавшимся на траве задолго до того, как он стал великим человеком. И не в том, что из зависти или ревности они не могли стерпеть, чтобы кто-нибудь превосходил их умом. Клянусь истинным изречением на вратах Дельфийского храма²⁰ — ни у одного абдерита не нашлось бы столько ума, чтобы подумать об этом, иначе бы он сразу же перестал быть абдеритом.

Подлинная причина, почему абдериты были низкого мнения о своем соотечественнике, заключалась, друзья мои, в том, что они не считали его... мудрым человеком.

— Почему же?

Потому что они не могли считать его таковым.

— Но почему же не могли?

Потому что в таком случае абдериты сами себя должны были считать глупцами. А чтобы утверждать это, они были все-таки еще не настолько глупыми. Им было легче танцевать на голове, схватить луну зубами или вычислить квадратуру круга, чем считать мудрым человека, который во всем был их противоположностью. Таково свойство человеческой природы со времен Адама. И хотя уже Гельвеций²¹ сделал выгоды из этого положения, тем не менее многим оно кажется совершенно новым. Ибо старые истины ежеминутно забываются в жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кто такой был Демокрит? Его путешествия. Он возвращается в Абдери. Что он привозит с собой и как его там принимают. Экзамен, учиненный ему абдеритами, — образчик абдеритской беседы

Демокриту, — я думаю, что вы не пожалеете, узнав этого человека ближе, — было около двадцати лет¹, когда он унаследовал состояние своего отца, одного из богатейших граждан Абдеры. Вместо того, чтобы задуматься над тем, как сохранить и приумножить свое богатство или же промотать его самым приятным и смешным образом, молодой человек решил использовать его как средство... для совершенствования души.

Но как же отнеслись абдериты к решению молодого Демокрита?

Добрые граждане Абдеры никогда и не представляли себе, что у души могут быть иные потребности, чем у желудка, брюха и прочих частей человеческого тела. Следовательно, такая причуда их земляка показалась им довольно странной. Но как раз это меньше всего его беспокоило. Он шел избранным путем и провел многие годы в путешествиях по всем материкам и островам, которые возможно было тогда объездить. Ибо кто желал в те времена стать мудрым, тот должен был увидеть все своими собственными глазами. В ту пору еще не было ни типографий, ни журналов, ни библиотек, ни газет, ни энциклопедий, ни словарей и всяких прочих средств, с помощью которых, не ведая того и сам, становишься философом, критиком, писателем, эрудитом. Мудрость тогда была слишком дорогой, дороже чем... прекрасная Лаис². Число мудрецов было весьма невелико,— не каждый имел возможность побывать в Коринфе,— но зато они являлись истинными мудрецами.

Демокрит путешествовал не ради того, чтобы только наблюдать человеческие нравы и обычаи, подобно Улиссу³; не только, чтобы разыскивать жрецов и духовидцев, как Платон, или же осматривать храмы, статуи, картины и древности, как Павсаний⁴, и не ради того, чтобы зарисовать растения и животных, как доктор Соландер⁵. Он совершал путешествия с целью познать природу и искусство во всех их проявлениях и причинах, человека во всей его наготе⁶ и в различных его обликах, дикого и цивилизованного, татуированного и не татуированного, нравственно цельного и извращенного. Гусеницы в Эфиопии, говорил Демокрит, всего-навсего лишь... гусеницы, и что же такое гусеница, чтобы быть первой и важнейшей ступенью в изучении человека? Но уж раз мы оказались в Эфиопии, то, между прочим, познакомимся и с эфиопскими гусеницами. В стране Серес⁷ имеются гусеницы, дающие одежду и пропитание для миллионов людей. Кто знает, быть может, и на берегах Нигера есть полезные гусеницы? Благодаря подобному образу мышления Демокрит накопил в своих путешествиях такое богатство знаний, которое, по его мнению, стоило всего золота в сокровищницах повелителя Индии и всех жемчужин, украшавших шею и плечи его жен. Он знал множество деревьев и кустарников, трав и мхов от ливанского кедра до плесени аркадского сыра⁸; и не только по их внешней форме, названиям, родам и видам, ему были известны также их свойства, сила и достоинства. Но в тысячу раз больше, чем все свои знания, ценил он мудрейших и лучших людей, с которыми стремился познакомиться всюду, где находил нужным останавливаться. Скоро обнаружилось, что он из их числа. Они стали его друзьями, поделились с ним знаниями, сократив ему тем самым многолетний и, быть может, напрасный труд найти то, что они уже сами открыли путем немалых усилий и стараний или, возможно, путем счастливой случайности.

Обогащенный всеми этими сокровищами ума и сердца, Демокрит после двадцатилетних странствий вернулся к абдеритам, которые почти забыли о нем. Он был красивый, статный, несколько смуглый мужчина, учтивый и обходительный, каким бывает человек, привыкший общаться с людьми разных стран и обычаев. Из дальних краев он привез чучело крокодила, живую

обезьяну и множество других удивительных вещей. Несколько дней абдериты только и говорили о Демокрите, о том, что он возвратился в Абдери и привез крокодила и обезьяну. Однако очень скоро выяснилось, что они весьма обманулись в человеке, столь много путешествовавшем.

Дельцы, которым Демокрит поручил заботиться о своих поместьях во время отсутствия, нагло обманули его, а он тем не менее оплатил их счета без всяких возражений. Естественно, это было первое, что заставило абдеритов усомниться в его разуме. По крайней мере адвокаты и судьи, надевшиеся на прибыльный для них процесс, с недоумением отметили, что было бы рискованно доверить общественные дела человеку, который так плохо управляет своим собственным домом. Абдериты были убеждены, что он теперь наравне с другими заявит о своих правах на самые благородные и почетные должности. Они уже подсчитывали, за какую цену смогут продать свои голоса, сватали за него своих дочерей, внучек, сестер, племянниц, теток, своячениц; представляли себе выгоды, которые они могли бы извлечь из того или иного предприятия, если бы он стал архонтом или жрецом Латоны и так далее. Но Демокрит объявил, что он не собирается быть ни городским советником Абдеры, ни супругом какой-нибудь абдеритки и тем самым расстроил все их планы.

Все же абдериты надеялись, что они по крайней мере будут вознаграждены общением с ним. Ведь человек, который привез с собой из путешествия обезьян, крокодилов и ручных драконов, должен знать невероятное множество удивительных вещей. Ожидали, что он им расскажет о великанах⁹ в 12 локтей ростом, о карликах в 6 дюймов, о людях с собачьими и ослиными головами, о зеленоволосых русалках, белых арапах и синих кентаврах. Но Демокрит был неспособен лгать, словно он никогда и не уезжал дальше фракийского Босфора.

У него осведомились, не встречал ли он в стране гармантов¹⁰ людей без голов, с глазами, носом и ртом на груди. И один из абдеритских ученых, никогда не покидавший стен своего города, но всегда делавший вид, будто объездил все уголки земли, доказал Демокриту в присутствии большого общества, что либо тот никогда не бывал в Эфиопии, либо, в противном случае, непременно должен был бы там встретиться с агриофагами и их царем с одним глазом во лбу, с самберами, избирающими своим царем собаку, и с арбатиями, ходящими на четвереньках^{1*}.

— И если вы проникли на крайний запад Эфиопии, — продолжал ученый муж, — то я уверен, что вам должны были встретиться люди без носов, а также люди с такими крохотными ртами, что они вынуждены втягивать свой суп через соломинки^{2*}.

Демокрит поклялся Кастором и Поллуксом, что не припоминает, когда бы он удостоился чести встретиться с такими народами.

^{1*} Плиний. Естественная история, кн. IV¹¹.

^{2*} Солин, гл. XXX, а также Плиний, Мела¹² и прочие древние и новые авторы, которые, несколько не сомневаясь, относят все эти удивительные создания к творениям господа бога.

— Ну тогда, по крайней мере,— говорил ученый,— вы должны были натолкнуться в Индии на людей, рождающихся на свет с одной ногой, но, не смотря на это, столь быстро скользящих по земле из-за необычайной ширины ступни, что за ними вряд ли можно угнаться на лошади ^{1*}.

— А каково ваше мнение о народе у истоков Ганга, который питается исключительно запахом диких яблок? ^{2*}

— О, расскажите же нам об этом!— воскликнули прекрасные абдеритки — расскажите же, господин Демокрит! Сколько вы могли бы нам рассказать, если б только захотели!

Напрасно клялся Демокрит, что он ничего не слышал в Эфионии и Индии об этих удивительных людях и не видел их.

— Так что же вы в таком случае видели?— спросил Демокрита круглый толстяк, который, правда, не был ни одноглазым, как агриофаги, не обладал собачьей мордой, как тимолги, не носил глаз на плечах, как омофгалмы, и не питался одним запахом, как райские птицы, но, несомненно, имел в своем черепе мозгов не больше, чем мексиканская колибри, что, впрочем, не мешало ему быть городским советником Абдеры.— Что же вы видели?— повторил пузав.— Вы, который странствовали двадцать лет и ничего не заметили из того чудесного, что можно насмотреться в дальних странах?

— Чудесного? — возразил Демокрит, улыбаясь.— Я так был занят изучением всего естественного, что для чудесного у меня не было времени.

— Ну, признаюсь,— сказал пузав,— стоит объездить все моря и взбираться на разные горы, чтобы увидеть то, что можно встретить и дома!

Демокрит неохотно ссорился с людьми из-за их мнений и менее всего с абдеритами, но он и не желал, чтобы дело выглядело так, будто он ничего не может сказать. Среди прекрасных абдериток, находившихся в обществе, ему захотелось избрать ту, к которой можно было бы преимущественно обращаться. Ею оказалась красавица с большими глазами Юоны ¹³, которые ввели его в заблуждение: несмотря на его физиогномические познания, ему показалось, будто обладательница этих глаз разумней или чувствительней, чем остальные.

— Ну что прикажете делать с дамой, у которой глаза на лбу или на локте? И что мне от того, если бы я преуспел в искусстве тронуть сердце какой-нибудь... каннибалки? Мне всегда было гораздо приятней находиться в милом плену двух прекрасных глаз, расположенных на своем естественном месте, чем соблазниться нежностью одинокого бычьего глаза какой-нибудь диклопки.

Красавица с большими глазами, не зная, как понять эти слова, поглядела на Демокрита с немым удивлением, улыбнувшись, показала ему свои прекрасные зубки и оглянулась направо и налево, словно ища, кто бы растолковал ей смысл этой речи.

Остальные абдеритки столь же мало поняли слова путешественника. Однако из того, что Демокрит обратился именно к ней, они заключили, что он,

^{1*} Солин из Ктесни.

^{2*} Там же.

вероятно, сказал красавице что-то приятное и, переглянулись друг с другом, каждая со своей особой ужимкой. Одна из них вздернула курносый нос, другая скривила рот, третья выпятила губы, и без того толстые, четвертая вытаращила глаза, пятая надменно закинула голову и так далее. Демокрит, увидев это, вспомнил, что он находится в Абдере, и замолчал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Испытание продолжается и превращается в диспут о красоте, причем Демокриту приходится очень туго

Молчание — порой искусство, однако не столь великое, как хотят нас в этом уверить некоторые люди, весьма умные лишь тогда, когда молчат.

Если мудрый человек видит, что он имеет дело с детьми, то зачем же ему считать себя слишком мудрым и не применяться к их образу речи?

— Хотя я откровенно признал,— обратился Демокрит к любопытствующему обществу,— что ничего не видел из того, что всем хотелось бы увидеть, но не подумайте, будто во время моих долгих путешествий по суше и по морю мне не повстречалось ничего любопытного. Поверьте, есть вещи еще более чудесные, чем те, о которых шла речь.

При этих словах прекрасные абдеритки придвинулись ближе к Демокриту и наострили уши.

— Вот это, наконец, речь путешественника! — радостно воскликнул приземистый толстый советник. На лбу ученого морщины разгладились, так как он надеялся, что сейчас начнет порицать или исправлять все, что бы ни сказал Демокрит.

— Однажды я оказался в стране,— начал Демокрит,— которая мне настолько понравилась, что после трех или четырех дней пребывания я захотел стать бессмертным и жить там вечно.

— Я никогда не выезжал из Абдеры,— сказал советник,— но всегда был уверен, что на земле нет места, лучше Абдеры, и чувствую то же, что и вы в той стране. Я готов отказаться от всех прочих радостей мира, только бы вечно жить в Абдере. Но почему вам за каких-нибудь три дня так понравилась эта страна?

— Сейчас я объясню. Представьте себе необозримый край, где царствуют вечная весна и осень и, куда ни взглянешь, все напоминает великолепный парк благодаря притнейшему разнообразию гор, долин, лесов и лугов; все вокруг возделано и орошено, все цветет и плодоносит, повсюду вечная зелень, постоянно прохладная тень и леса, изобилующие прекрасными фруктовыми деревьями — финиковыми пальмами, фигами, лимонами, гранатами, которые растут, как дубы во Фракии, безо всякого ухода. Роши миртов и жасмина; любимые цветы Амура и Цитереи¹ — не так, как у нас, в виде кустарников,

а свисающие густыми гроздьями с больших деревьев, и пышно цветущие, как перси наших прекрасных соотечественниц.

Вот здесь Демокрит допустил оплошность, и да послужит она предостережением для будущих рассказчиков! Сначала следует хорошенько осмотреться в своем обществе, прежде чем отваживаться на подобного рода комплименты, как бы искренни они ни были. Красавицы закрыли глаза руками и покраснели. Ибо, к несчастью, среди присутствующих не было ни одной из них, которая сделала бы честь лестному сравнению, хотя они и немало пыжились, чтобы доказать это.

— И эти восхитительные рощи, — продолжал он, — оживляются приятным пением бесчисленных видов птиц, и среди них тысячи ярких попугаев, краски которых, сверкая в солнечном свете, ослепляют. Я не понимаю, почему богиня любви избрала своим местопребыванием Кипр, если существовала на свете такая чудесная страна. И где могли бы изящнее танцевать грации, как не на берегу ручьев и источников, где в густой, сочной траве поднимали головки лилии и гиацинты и тысячи других прелестных цветов, неизвестных нам, наполнявших воздух сладостными ароматами.

Прекрасные абдеритки, как легко догадаться, обладали не менее живой фантазией, чем абдериты. Картина, нарисованная Демокритом, без всякого злого умысла оказалась более впечатляющей, чем могли выдержать их крохотные душонки. Одни глубоко вздыхали от удовольствия, другие словно упивались воображаемыми сладкими ароматами. Красавица Юнона откинулась на подушки канапе, полузакрыла свои большие глаза и незаметно оказалась у одного из тех великолепных ручьев, берег которого был усеян цветами, затенен кустами роз и лимонными деревьями, благоухавшими как амбродзия. Приятно изнемогая от сладостных ощущений, она уже начинала засыпать, когда увидела у своих ног юношу, прекрасного, как Вакх, и настойчивого, как Амур... Она поднялась, чтобы рассмотреть его получше, и увидела такую нежную красоту, что слова, которыми она хотела наказать его за дерзость, застыли на ее устах. Едва она...

— И как вы думаете, — продолжал Демокрит, — называется эта волшебная страна, красоты которой я так бледно вам описал? Это как раз и есть Эфиопия, а наш ученый друг населил ее уродами, совершенно не достойными столь прекрасной земли. Но в одном он согласился со мной, а именно, что во всей Эфиопии и Ливии (хотя эти географические понятия охватывают множество различных народов) носы у людей на том же месте, что и у нас, и у них столько же глаз и ушей, как и у нас, короче...

Но тут внезапно глубокий вздох, каким обычно облегчает себе душу охваченный горем или наслаждением человек, вырывается из груди прекрасной абдеритки. Во время рассказа Демокрита она в своих сладких грезах (тайно наблюдать за которыми мы решились не без колебаний) пришла в такое состояние, когда сердце ее замерло в упительной истоме. И так как присутствующие, естественно, не догадывались, что прелестная дама утопала сейчас в море сладчайших благоуханий за сотни миль от Абдеры, под эфиопским розовым деревом, что она видела, как порхали перед ней тысячи пестрых попугаев и в довершение ко всему у ее ног расположился златокудрый юноша

с коралловыми устами,— то, естественно, вздох ее вызвал всеобщее удивление. Никто и не подозревал, что причиной такого влияния на даму может быть рассказ Демокрита.

— Что с вами, Лисандра? — воскликнули в один голос абдеритки, озабоченно обступив ее.

Прекрасная Лисандра, очнувшись от своих грез, покраснела и заверила, что ничего не случилось. Демокрит, начавший догадываться о происшедшем, поспешил заметить, что несколько минут на свежем воздухе все уладят. Но в глубине души он решил в будущем рисовать свои картины лишь одной краской, как фракийские живописцы. Боги праведные, подумал он, какое, однако, воображение у этих абдериток!

— Ну, мои прекрасные любознательные дамы,— продолжал Демокрит,— как вы полагаете, какого же цвета кожа у обитателей этой превосходной страны?

— Какого цвета кожа? А почему она должна быть иного цвета, чем у других людей? Разве нам не сообщили, что у них нос расположен посреди лица и во всем они такие же люди, как и мы, греки?

— Несомненно, люди. Но разве они должны считаться менее людьми, если они черные или оливкового цвета?

— Что вы имеете в виду?

— Я хочу сказать, что самые красивые среди эфиопских племен (красивые именно по нашим понятиям, то есть более всего похожие на нас) темно-оливкового цвета, как и египтяне, а те, что живут в глубине материка и в самых южных областях, с головы до пят настолько черны, что даже намного черней ворон в Абдере.

— Что, неужели? И они не пугаются друг друга при встрече?

— Пугаются? А почему? Им очень нравится их черная кожа, и они находят, что ничего не сможет сравниться с ней по красоте.

— Вот забавно! — воскликнули абдеритки.— Быть черным, словно все твое тело обмазали смолой и при этом воображать себя красивой! Что за глупый народ! Разве у них нет художников, которые изобразили бы им Аполлона, Вакха, богиню любви и граций? Разве они не читали у Гомера, что руки Юноны — белые, ноги Фетиды — серебряные, а пальцы Авроры — розовые? ²

— Ах,— возразил Демокрит,— у этих добрых людей нет Гомера. А если он у них и есть, то можно быть уверенным, что у его Юноны руки черные. Я ничего не слышал об эфиопских живописцах. Но я видел там девушку, которая среди своих соотечественников стала причиной такого же бедствия, как дочь Леды ³ среди греков и троянцев. И эта африканская Елена была черней эбенового дерева.

— О, опишите же нам это чудовище красоты! — воскликнули абдеритки, испытывавшие по самой естественной причине бесконечное удовольствие от подобной беседы.

— Вам будет нелегко представить себе это. Вообразите полную противоположность греческому идеалу: рост грации и полнота Цереры ⁴, черные волосы, но не распущенные по плечам длинные локоны, а короткие, курчавые

от природы, как овечья шерсть. Лоб широкий и сильно выпуклый; нос, резко загнутый кверху и в середине слегка приплюснутый. Щеки круглые, как у трубача, рот большой...

(Филинна улыбулась, чтобы показать свой маленький ротик).

— Губы очень толстые и вывернутые, и два ряда зубов как две нити жемчуга.

(Красавицы разом прыснули со смеху по единственной причине — обнажить свои собственные зубы. Ибо что же тут было смешного?)

— А их глаза? — спросила Лисандра.

— О, они настолько малы и такого водянистого цвета, что я долго не решился назвать их прекрасными.

— Демокрит, кажется, предпочитает гомеровы воловь глаза, — заметила Мирида, метнув насмешливый взгляд в сторону красавицы с большими глазами.

— Действительно, — ответил Демокрит с таким выражением лица, что и глухой мог понять, какой комплимент он ей сказал, — прекрасные глаза не кажутся мне слишком большими, а некрасивые для меня всегда слишком малы.

Красавица Лисандра бросила торжествующий взгляд на своих приятельниц и щедро одарила Демокрита сиянием своих очей, в которых светилось удовлетворение.

— Можно полюбопытствовать, что вы называете красивыми глазами? — спросила маленькая Мирида, заметно вздернувши носик. Взгляд прелестной Лисандры, казалось, ему говорил: ведь вы не затруднитесь дать ответ на этот вопрос.

— Красивыми глазами я считаю такие, в которых отражается прекрасная душа³, — сказал Демокрит.

Лисандра посмотрела растерянно, словно человек, услышавший что-то неожиданное, в чем он не может найти для себя ответа. «Прекрасная душа... — подумали все абдеритки. — Что за удивительные вещи привез этот человек из дальних стран. Прекрасная душа! Наверно, это еще мудреней его обезьян и попугаев!»

— Но все эти тонкости, — произнес толстый советник, — отвлекают нас от главного. Мне кажется, речь шла о прекрасной Елене из Эфиопии, и я хотел бы знать, что же такого прекрасного находят в ней эти добрые люди?

— Все! — ответил Демокрит.

— Но в таком случае они не имеют никакого понятия о прекрасном, — сказал ученый.

— Прошу прощения, — возразил рассказчик. — Так как эфиопская Елена была предметом мечтаний всех молодых людей, то отсюда следует, что она отвечала идеалу красоты, жившему в воображении каждого из них.

— Вы принадлежите к школе Парменида?^{1*} — спросил ученый, приняв вызывающую позу.

^{1*} Парменид из Элен⁶ считается создателем учения об идеях или основных прообразах, которое использовал в своей системе Платон и настолько его усвоил, что ученые об идеях обычно приписывают ему.

— Я принадлежу самому себе, весьма незначительному человеку, — ответил Демокрит, несколько смутившись. — Если вам не нравится слово «идеал», то разрешите мне выразиться иначе. Прекрасная Гуллеру — так звали черную красавицу, о которой мы ведем беседу...

— Гуллеру? — воскликнули абдеритки и начали, не переставая, хохотать.

— Гуллеру! Что за имя! Ну так что же с вашей прекрасной Гуллеру? — спросила остроносая Мирида таким тоном, который был трижды острее ее носа.

— Если вы когда-нибудь окажете честь посетить меня, — отвечал философ с самой непринужденной учтивостью, — то узнаете о судьбе прекрасной Гуллеру. А сейчас я должен сдержать обещание, данное этому господину. Итак, облик прекрасной Гуллеру...

(«Прекрасная Гуллеру!», повторяли абдеритки и смеялись снова, но Демокрит не прерывал своего рассказа).

— ...вызвал, к несчастью, великую страсть у всех юношей страны. Это доказывает, что в ней видели красавицу¹. Несомненно, ее считали красивой, и именно поэтому она не была уродливой. Эфиопы, следовательно, делали различие между тем, что казалось им красивым и некрасивым. И если десять самых различных эфиопов сходились в суждении о своей Елене, то это, видимо, происходило потому, что они имели одинаковые представления о красоте и уродстве.

— Это вовсе не доказательство, — сказал абдеритский ученый. — Разве не мог каждый из этих десяти находить в ней приятным что-то иное?

— Такой случай возможен, но он ничего не опровергает. Допустим, что один находил восхитительными ее маленькие глаза, другой — припухлые губы, третий — ее большие уши. Но и при этом можно предположить, что ее сравнивали с другими эфиопскими красавицами. Ведь и другие, как и Гуллеру, имели глаза, уши, губы. И если ее прелести считали прекрасней, то, следовательно, имелась определенная модель красоты, с которой сравнивали, например, ее глаза и глаза других эфиопок. Вот и все, что я хотел сказать о своем идеале красоты.

— Однако, — возразил ученый, — вы же не станете утверждать, что эта Гуллеру была самой прекрасной среди всех черных девушек, существовавших до нее, вместе с ней и после нее? Я имею в виду самой красивой в сравнении с той моделью, о которой вы говорили.

— Не вижу оснований, почему я должен бы это утверждать.

— Ведь могла же существовать и другая девушка, у которой были бы, например, глаза еще меньше, губы толще, уши еще больше?

— Возможно, насколько мне известно.

— В таком случае то же самое можно было бы допускать до бесконечности. Эфиопы, следовательно, не имели никакой модели красоты, или такая модель должна была бы обладать бесконечно маленькими глазами, бесконечно толстыми губами и бесконечно большими ушами?

«Насколько хитроумны абдеритские ученые», — подумал Демокрит.

— Когда я согласился, — сказал он, — что среди эфиопов могла существовать черная девушка, глаза которой были бы меньше, а губы — толще, чем

у Гуллery, то я вовсе не утверждал, что тем самым девушка эта должна казаться эфиопам красивей, чем Гуллery. Прекрасное обязательно должно обладать определенной мерой, и то, что превосходит ее, так же далеко от прекрасного, как и то, что ее не достигает. Разве из того факта, что грекам нравятся большие глаза и небольшой рот, кто-нибудь осмелится утверждать, будто женщина с глазами в дюйм в поперечнике или с таким маленьким ртом, что в него едва проходит соломишка, должна считаться более красивой?

Разумеется, абдерит был сражен, и он это чувствовал. Но абдеритский ученый скорей удавится, чем признает свое поражение. Ведь здесь присутствовали Филинна, Лисандра и толстый, приземистый советник, а их мнением о своем разуме он особенно дорожил! И что стоило бы ему склонить их на свою сторону? Он, правда, не знал, как ему сейчас ответить. Но, твердо уверенный в том, что его еще осенит какая-нибудь блестящая идея, ученый муж скрывил пока рот в усмешке, намекавшей на то, что он презирает доводы противника и намерен нанести ему решительный удар.

— Неужели,— воскликнул он таким тоном, словно этот тон уже был ответом на слова Демокрита^{1*},— ваша любовь к парадоксам может завести вас столь далеко и заставить утверждать в присутствии этих красавиц, что описанная вами Гуллery является Венерой?

— Вы забыли,— возразил весьма спокойно Демокрит,— что речь шла не обо мне и не об этих красавицах, а об эфиопках. Я ничего не утверждаю, я только рассказываю, что видел. Я описал вам красоту в эфиопском вкусе. Я не виноват, если греческое уродство считается в Эфиопии красотой. Не вижу никаких оснований становиться на чью-либо сторону и полагаю, что, вероятно, обе стороны правы.

Всеобщий громкий хохот, словно кто-нибудь произнес что-то удивительно нелепое, был ответом Демокриту.

— Дайте послушать,— кричал толстопузый советник, держась за свое брюхо обеими руками,— дайте же послушать, как сможет доказать наш земляк правоту обеих сторон. Я всегда охотно слушаю подобные вещи. Для чего же вы тогда и существуете, ученые господа?.. Земля круглая, снег черен, луна в десять раз больше Пелопоннеса, бегущий Ахилл не может догнать улитку⁸. Не правда ли, господин Антистрепсиад⁹? Не правда ли, господин Демокрит? Видите, я тоже немного посвящен в ваши таинства. Ха-ха-ха!

Все присутствующие абдериты и абдеритки вновь и вновь с облегчением смеялись, а господин Антистрепсиад, рассчитывая втайне на ужин веселого советника, благодушно поддерживал общий хохот громким рукоплесканием.

^{1*} Обычный прием абдеритских ученых и критиков.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Неожиданная развязка с некоторыми новыми примерами абдеритского остроумия

Демокрит был расположен пошутить над своими абдеритами и давал им возможность пошутить над собой. Достаточно мудрый, чтобы не обижаться на их невоспитанность абдеритского или личного свойства, он весьма равнодушно относился к тому, что они считали его чрезмерным умником, природный абдеритский разум которого испарился в долгих путешествиях и не был ни к чему более пригоден, кроме как забавлять сограждан своими странными идеями и причудами. После того как хохот, вызванный остроумным замечанием толстяка-советника, затих, Демокрит продолжал свою речь с обычным для него хладнокровием и как раз с того места, на котором его прервал веселый человек.

— Не правда ли, ведь я утверждал, что если греческое уродство в Эфиопии является красотой, то, по-видимому, обе стороны правы?

— Да, да, вы это говорили, и честный человек должен быть верным своему слову.

— Если я это сказал, то, само собой разумеется, и докажу это, господин Антистрепсиад!

— Если вам удастся.

— Ну я ведь тоже абдерит! И, чтобы доказать свое положение полностью, мне достаточно будет доказать всего лишь половину его. Ибо то, что греки правы, доказывать не следует. Это уже давно решено всеми греческими умами. Но правота эфиопов — вот в чем трудность! Если бы я пожелал сражаться при помощи софизмов или удовлетворился бы тем, что заставил замолчать своих противников, вовсе не убедив их, то как защитник эфиопской Венеры я предоставил бы решение этого спорного вопроса внутреннему чувству. Почему, сказал бы я, люди считают прекрасными ту или иную фигуру, тот или иной цвет? Потому что они им нравятся. Хорошо. А почему они им нравятся? Потому что им приятны. А почему они им приятны? «О, сударь, — сказал бы я, — перестаньте же, наконец, задавать вопросы, или я перестану отвечать». Вещь приятна, потому что она... производит на нас приятное впечатление. И я призываю всех ваших умников найти этому лучшее основание. Ведь было бы смешно оспаривать у человека приятное, если оно ему приятно; или же доказывать ему, что он не прав, находя удовольствие в том, что производит на него приятное впечатление. Если облик Гуллеру радует его взор, то, следовательно, она ему нравится, а если она ему нравится, то он считает ее прекрасной, или в противном случае такое слово и не должно существовать в его языке.

— А если... А если бы сумасшедший наслаждался яблоками лошадиного навоза как персиками? — спросил Антистрепсиад.

— Яблоками навоза как персиками! Отлично сказано, клянусь честью! — воскликнул советник. — Разгрызете ли вы этот орешек, господин Демокрит?

— Фи, фи, Демокрит! — засюсюкала прекрасная Мирида, зажав рукою нос. — Пощадите же хоть наше обоняние!

Каждому ясно, что прекрасная Мирида должна была обратиться с подобным упреком к остроумному Антистрепсиаду, первому упомянувшему о названных яблоках, и к советнику, предложившему Демокриту даже раскусить их. Но уже заранее было решено дурачить Демокрита во что бы то ни стало. Это неосознанное стремление объединяло всех присутствующих, и Мирида не могла упустить удобного случая для колкости, привлекая на ее сторону насмешников. Абдеритам показалось необыкновенно комичным, что Демокрит, которому и без Антистрепсиадовых яблок было что проглотить, заслужил, помимо прочего, еще и выговор, и они все вместе принялись хохотать и так радостно кривляться, словно философ был разбит наголову и уже не мог подняться.

Что слишком, то слишком! За двадцать лет своих путешествий Демокрит побывал во многих странах, но с тех пор как он покинул Абдеру, он не встречал другого подобного города. И теперь, будучи вновь здесь, философ приходил порой в недоумение, где же он находится и как с этими людьми сладить.

— Ну, брат? — спросил советник. — Все еще не можешь проглотить лошадиные яблоки Антистрепсиада? Ха-ха-ха!

Шутка была настолько абдеритской, что не могла не восторжествовать над чувствительным обонянием всех изогнутых, плоских, квадратных и острых носов, и чирикающее дамское «хи-хи-хи» перекликалось с глухо грохочущим мужским «ха-ха-ха».

— Вы победили! — воскликнул Демокрит. — И в доказательство того, что я сдаюсь добровольно, вы сейчас увидите, заслуживаю ли я быть вашим земляком и братом.

И он начал хохотать с неподражаемым искусством, постепенно подымаясь крещендо от самого низкого тона до унисона с «хи-хи-хи» абдериток. Со времени своего основания на фракийской земле Абдера еще не слыхивала ничего подобного.

Сначала дамы делали вид, будто они хотят воздержаться от смеха, но не было никакой возможности противостоять отчаянному крещендо.

В конце концов, оно их захватило, словно стремительный поток. И так как при этом действовала еще и заразительная сила смеха, то дело зашло так далеко, что становилось серьезным. Женщины со слезящимися глазами просили пощады. Но Демокрит ничего не хотел слышать, и хохот усиливался. Наконец, он, кажется, внял их мольбам, дав передышку, но в действительности лишь затем, чтобы они могли подольше выдержать пытку, придуманную им. Ибо едва они отдышались немного, как путешественник начал хохотать все в той же гамме, но терцией выше, примешивая столько трелей и рулад, что даже самые морщинистые заседатели адского судилища — Минос, Эак и Радамант¹, облаченные в судейские мантии, и те потеряли бы самообладание.

К несчастью, две или три из наших красавиц не подумали над тем, как застраховать себя от возможных последствий такого бурного физического

напряжения. Чувство стыда и природа боролись не на жизнь, а на смерть в бедных девушках. Напрасно просили они неумолимого Демокрита устами и взглядами о пощаде, напрасно подстегивали они свою совершенно ослабевшую волю, чтобы сдержаться... Тираническая природа победила, и в одно мгновение зал, где находилось все общество, оказался запруженным...

Ужас от непредвиденного естественного явления (тем более удивительного, что все прекрасные абдеритки, вскочив, желали показать всем своим видом, что это — следствие без причины) прервал смех на несколько секунд, чтобы он тотчас же возобновился.

Естественно, что облегчившиеся красавицы старались изо всех сил скрыть свою причастность к этому происшествию всевозможными гримасами удивления и отвращения и свалить вину на своих соседок, которые невольно, но совсем некстати покраснев, слишком явно подтверждали это подозрение. Смешная перебранка, разразившаяся между ними, Демокрит и Антистрепсиад, вмешавшиеся в качестве коварных посредников и своими ироническими утешениями только еще более подогревавшие ярость тех, кто чувствовал себя невиновными; в центре этой группы толстопузый советник, который, надрываясь от смеха, то и дело выкрикивал, что этот вечер он не согласился бы променять и на половину Фракии,— все вместе представляло сцену, достойную резца Хогарта², если бы он только тогда жил.

Трудно сказать, сколько продолжалась эта сцена, ибо одна из добродетелей абдеритов и состоит в том, что они ни в чем не могут остановиться. Но Демокрит, у которого всему было свое время, полагал, что бесконечная комедия — скучнейшее из развлечений. Итак, он оставил при себе все прекрасные доводы, которые мог бы высказать в оправдание эфиопской Венеры, имей он дело с разумными существами, пожелал абдеритам и абдериткам иметь то, чем они обладали, и отправился домой, удивляясь доброй компании, в которой можно было очутиться, посетив советника Абдеры.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Представляющая читателю возможность вновь
оказаться в состоянии покоя после головокружения,
вызванного предыдущей главой*

— Добрая, наивная, нежная Гуллеру! — обратился, вернувшись домой, Демокрит к крепкой, курчавой негритянке, которая устремила к нему с распростертыми объятиями. — Прижмись к моей груди, честная Гуллеру! Хотя ты черна, как богиня ночи, хотя твои волосы курчавы, а нос плоский, глаза — маленькие, уши — большие, а губы напоминают распутившуюся гоздику, но сердце твое чисто, искренно, полно радости и всегда в согласии со своей природой. Ты никогда не замышляешь зла, не говоришь вздора, не мучаешь ни себя, ни других и не делаешь ничего, в чем бы не могла признаться. В тво-

ей душе нет фальши, а на лице — косметики. Тебе не знакомы ни зависть, ни злорадство. И никогда ты не задирала свой плоский нос из презрения к ближнему или желая его смутить. Не заботясь о том, нравишься ли ты кому-нибудь или не нравишься, ты живешь, невинная, в мире с самой собой, всегда способная дарить людям душевную радость и воспринимать ее, и достойная того, чтобы сердце мужчины покоилось на твоей груди. Добрая, мягкосердечная Гуллеру! Я мог бы дать тебе другое имя, красивое звучное греческое имя, оканчивающееся на «ана», «арион» или «эрион». Но твое имя уже достаточно красиво, потому что оно твое. И не будь я Демокрит, если не настанет время, когда честное сердце радостно забьется при имени Гуллеру.

Гуллеру не очень хорошо понимала смысл чувствительного обращения к ней Демокрита. Но она ощущала, что это было изливание его сердца, и таким образом поняла как раз то, что и требовалось понять.

— Была ли эта Гуллеру его женой?

— Нет.

— Любовницей?

— Нет.

— Рабыней?

— Судя по одеянию, нет.

— А как она была одета?

— Столь хорошо, что она могла бы слыть *fille d'honneur* царицы Савской¹. Нити больших прелестных жемчужин среди локонов, на шее и на руках. Платье, ниспадающее красивыми складками, из тонкого, огненного цвета атласа с пестрыми полосами, а под грудью богато вышитый пояс с изумрудной застежкой. Да и мало ли еще что!

— Наряд довольно богатый.

— Во всяком случае, можете мне поверить, что ни один принц Сенегала, Анголы, Гамбии, Конго и Лоанги², взглянув на нее, не остался бы равнодушным.

— Но...

— Я отлично вижу, что вы еще не покончили со своими вопросами.

— Кто же была эта Гуллеру? Та ли, о которой шла речь выше? Каким образом встретился с ней Демокрит? Какое положение занимала она в его доме?

— Признаю, что это весьма справедливые вопросы. Но ответить на них я не вижу пока никакой возможности. И не подумайте, что я стараюсь быть скрытным, или что здесь заключена какая-то особенная тайна. Причина, почему я не могу дать ответов, самая простейшая на свете. Тысячи писателей тысячи раз оказывались в подобном положении. Но из тысячи находилась, может быть, один, достаточно искренний, чтобы назвать истинную причину этого. И нужно ли мне называть свою? Согласитесь, что это не отговорка. Короче, я сам ровным счетом ничего не знаю о том, что вы хотели бы от меня услышать. И так как я пишу не историю Гуллеру, то вы понимаете, что я ничем не обязан этой даме. Если в дальнейшем (чего я и сам не могу предвидеть) мне представится возможность узнать какие-нибудь подробности о Демокрите или о ней то будьте уверены, вы об этом узнаете слово в слово.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Патриотизм абдеритов. Их симпатии к Афинам как к родному городу. Несколько примеров их аттицизма¹ и неприятной искренности мудрого Демокрита

Демокрит не прожил и месяца среди абдеритов, а уж он им, и порой они ему, стали так невыносимы, как только могут не выносить друг друга люди с противоположными взглядами и симпатиями.

Абдериты были необыкновенно высокого представления о себе, своем городе и республике. Невежество во всем, что было примечательного или могло оказаться примечательным вне их родной области, являлось в одно и то же время и причиной, и следствием этого смешного самомнения. Поэтому естественно, что они совершенно не могли себе и представить, что где-нибудь на свете есть правильные или хорошие вещи, если они были иными, чем в Абдере, или же неизвестны абдеритам. Понятия, противоречившие их понятиям, обычай отличающийся от их обычаев, иной способ мыслить или видеть, *чуждый им*, считался у них, безусловно, нелепым и достойным осмеяния. Сама природа свелась в их понимании до узкого круга собственной деятельности. И хотя они не заходили так далеко, как японцы, чтобы воображать будто везде, кроме Абдеры, живут лишь черти, привидения и чудовища², они все же не считали прочий мир достойным внимания. И если абдеритам представлялся случай видеть что-то чуждое им или слышать об этом, то они возмущались и поздравляли себя с тем, что они не похожи на других людей. Даже человека, имевшего возможность познакомиться в иных краях с лучшими порядками или обычаями, они не считали хорошим гражданином. Кто хотел обладать счастьем нравиться им, должен был непременно говорить и действовать так, словно город и республика Абдера со всеми ее явлениями, свойствами, непредвиденными случайностями абсолютно безупречна и представляет идеал всех республик. Презрение это не относилось только к Афинам. И то лишь, вероятно, потому, что абдериты, в *прошлом геосцы*, оказывали Афинам честь считать их своим родным городом. Они гордились тем, что Абдере называли *фракийскими* Афинами. И хотя такое прозвище было дано Абдере в насмешку, они тем не менее охотнее всего выслушивали именно эту лесть. Абдериты стремились подражать афинянам во всем и подражали, как обезьяна — человеку. Желая казаться веселыми и остроумными, они становились смешными; решали важные дела — легкомысленно, а пустяки — серьезно; из-за какой-нибудь мелочи могли созывать народные собрания и совет раз двадцать, чтобы произносить вздорные речи за или против какого-либо дела, которое можно было решить, и решить лучше, в четверть часа здраво-мыслящему человеку. Постоянно носились они с проектами украшения и расширения города, и очень часто, что-то предпринимая для этого, убеждались, доведя дело уже до половины, что оно превосходит их возможности. Свой полуфракийский язык они обильно уснащали аттическими выражения-

ми. Не обладая ни малейшим вкусом, они всюду выставляли свою страсть к искусству и постоянно болтали о живописи и статуях, о музыке, ораторах и поэтах, никогда не имея ни одного сколько-нибудь порядочного художника, скульптора, оратора или поэта. Храмы они строили наподобие бань, а бани наподобие храмов; распорядились написать картину о вулкановой сети и поместили ее на стене ратуши, а фреску, изображавшую возвращение Хрисеиды³, — в Академии; на представлениях комедии — плакали, а на трагических зрелищах — смеялись. И во всех бесчисленных подобных вещах эти добрые люди воображали себя афинянами, а были — абдеритами!

— Какую возвышенную оду написал Физигнат⁴ в честь моей перепелки! — воскликнула одна абдеритка.

— Тем хуже! — заметил Демокрит.

— Обратили ли вы внимание, — обратился к Демокриту первый архонт Абдеры, — на фасад этого здания, предназначенного для арсенала? Он из лучшего паросского мрамора⁵. Признайтесь, что вам ничего не доводилось видеть лучшего!

— Он, видимо, стоил республике порядочных денег, — сказал Демокрит.

— То, что делает честь республике, никогда не может стоить слишком дорого, — возразил архонт, чувствовавший себя в этот момент Периклом⁶. — Мне известно, Демокрит, что вы — знаток, ибо всегда и во всем выискиваете недостатки. Прошу вас, найдите недостаток в этом фасаде.

— Тысячу драм за один недостаток, господин Демокрит! — воскликнул один молодой человек, имевший честь быть племянником архонта и прибывший недавно из Афин, где он за половину своего состояния усовершенствовался и превратился из абдеритского повесы в афинского щеголя.

— Фасад красив, — учтиво заметил Демокрит. — Настолько красив, что мог бы находиться в Афинах или Спарте. Но, с вашего позволения, я вижу один недостаток в этом великолепном здании.

— Недостаток? — спросил архонт с таким выражением лица, которое свойственно лишь архонту-абдериту.

— Недостаток? Недостаток? — повторял юный щеголь, громко смеясь.

— Разрешите спросить, Демокрит, в чем же состоит этот ваш недостаток?

— Мелочь, — ответил Демокрит. — Всего-навсего в том, что этот красивый фасад не виден.

— Не виден? Это почему же?

— Да клянусь Анубисом⁷! Как же можно его видеть за этими отвратительно построенными зданиями и сараями, которые всюду здесь расставлены и заслоняют для зрителей вид на фасад.

— Эти дома стояли еще до вашего и моего рождения, — сказал архонт.

Подобные диалоги происходили постоянно, пока философ жил среди абдеритов, происходили ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

— Как вы находите этот пурпур⁸, Демокрит? Вы ведь бывали в Тире, не так ли?

— Да, мадам, я был, а этот пурпур не был. Это червленница, которую привозят вам сиракузяне из Сардинии и продают за тирский пурпур.

— Но покрывало из тончайшего индийского полотна вы, надеюсь, оцени те по достоинству?

— Из тончайшего полотна, которое изготавливается в Мемфисе и Пелусии, прекрасная Аталанта.

И вот уже за одну минуту Демокрит приобрел двух врагов. Ну, могло ли быть что-нибудь более неприятное, чем эта искренность?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Краткие сведения об абдеритском театре. Демокрит вынужден высказать о нем свое мнение

Абдериты имели весьма высокое представление о своем театре. Его актерами были мещане Абдеры, которые не могли просуществовать на доходы от своего ремесла или были слишком ленивы, чтобы выучиться таковому. Никаким основательным понятием об искусстве они не обладали, но зато много воображали о своих способностях. И, действительно, у них не было недостатка в дарованиях, так как абдериты вообще были прирожденными фиглярами, шутами и кривляками, у которых каждый член тела помогал речи; правда, то, что они говорили, имело мало смысла.

У них был свой драматург, по имени Гипербол¹, который, если верить им, настолько совершенствовал абдеритский театр, что он мало уступал афинскому. Гипербол блистал равным образом и в комедии, и в трагедии и, кроме того, сочинял очень смешные сатировские драмы^{1*}, так забавно пародировавшие его собственные трагедии, что можно было, как утверждали абдериты, лопнуть со смеха. По их мнению, он соединял в своих трагедиях могучее вдохновение *Эсхила* с красноречием и пафосом *Еврипида*, а в своих комедиях — веселость и задорное остроумие *Аристофана* с тонким вкусом и изяществом *Агатона*². Быстрота, с которой Гипербол рождал свои творения, была своего рода талантом, и им он более всего гордился. Каждый месяц он ставлял по одной трагедии с маленькой комедией впридачу. «Моя лучшая комедия, — говаривал он, — заняла у меня всего 14 дней, а играют ее четыре-пять часов подряд».

«Да сохранит нас небо от таких пьес!» — подумал Демокрит.

Абдериты наперебой приставали к нему, чтобы он высказал свое мнение об их театре. И хотя философ неохотно пускался в разговор о вкусе сограждан, он все же не мог удержаться, чтобы не польстить им, коль скоро они единодушно требовали его суждения.

^{1*} Греческие комедии³, имевшие некоторое сходство с позднейшей «Опера буффа» итальянцев, о которых нам дает представление «Киклоп» Еврипида, единственное сохранившееся произведение подобного жанра.

— Как вам нравится новая трагедия?

— Сюжет найден удачно. Да и чего бы стоил писатель, если бы он изуродовал такой сюжет?

— Не правда ли, она очень трогательна?

— Пьеса может быть местами трогательной и все же в целом — оказывать весьма жалким произведением, — заметил Демокрит. — Я знаю одного скульптора из Сикиона⁴, одержимого манией ваять только богинь любви. Но они походят у него на площадных девок, хотя и отличаются самыми красивыми ногами на свете. Вся тайна в том, что человеку этому постоянно служит моделью его собственная жена, у которой, к счастью для его Венер, по крайней мере хоть красивые ноги. Точно так же и самому плохому поэту иногда удается какое-нибудь трогательное место, и нередко тогда, когда он сам влюблен, или утратил друга, или же вообще случилось такое, что помогает говорить ему от лица своего персонажа.

— Следовательно, вы не находите великолепной *Гекубу*⁵ нашего поэта?

— Я считаю, что поэт, наверное, сделал все, что мог. Но перья, которые он выщипал то у Эсхила, то у Софокла, то у Еврипида, желая прикрыть ими свою наготу, по-моему вредят ему; хотя в глазах многих зрителей, не столь близко знакомых с этими поэтами, как я, они, возможно, делают ему честь.

Ворона, созданная богом такой, какая она есть, для меня всегда красивей, чем выряженная в павлиньи перья. И вообще, я имею такое же право требовать от писателя, дорожащего моим одобрением, превосходной трагедии, как и от сапожника, которому плачу — пары хороших сапог. Хотя я охотно признаю, что хорошую трагедию написать трудней, чем вытачать пару сапог, я тем не менее вправе требовать от каждой трагедии качеств, присущих трагедии хорошей, как и от сапог — всего того, что делает сапоги хорошими.

— Что же, по вашему мнению, должна представлять из себя *мастерски стаченная трагедия*? — спросил молодой абдерский патриций, от всей души смеясь над своей, как он полагал, удачной остротой.

Демокрит беседовал с небольшим кругом лиц, слушавших его со вниманием и, оставив без ответа вопрос молодого остряка, продолжал:

— Истинные правила произведения искусства⁶ не могут быть произвольными. Я предъявляю требований не больше, чем предъявлял Софокл к своей *собственной трагедии*. А это ровно столько, сколько содержится в существе и цели предмета. Простой, хорошо продуманный план, в котором поэт, все предусмотрев, все подготовив, все естественно сочетав, сводит все к единому замыслу, где каждая часть является неотъемлемым членом целого, а целое — хорошо устроенный, прекрасный, свободно и благородно развивающийся организм! Никакого утомительного вступления, ни одного эпизода, ни одной пустой сцены, ни одной речи, конца которой ждешь с зевотой, ни одного действия, не имеющего отношения к главной цели! Интересные, взятые из действительности характеры, облагороженные, но так, чтобы в них можно было узнать людей; никаких сверхчеловеческих добродетелей, никаких злых чудовищ! Персонажи, постоянно говорящие и действующие в соответствии с их понятиями и чувствами, чтобы всегда ощущалось, что по своему особому характеру, в силу всех предшествующих обстоятельств и условий они *должны*

в данный момент говорить и действовать именно так; в противном случае, они не то, чем являются. Я требую, чтобы поэт знал не только человеческую природу, поскольку она есть *модель* всех подражаний, я также требую, чтобы он обращал внимание на зрителей незаметно подготавливая каждый сильный натиск на них и точно знал, *какими средствами он может овладеть их сердцами*; чтобы он знал, когда следует остановиться и, не утомляя нас разнообразными эффектами, не терзая душу слишком мучительными ощущениями, давал бы сердцу отдохновение и разнообразил бы наши чувства без ущерба для основного впечатления. Я требую от него прекрасного, но отточенного без излишней пафосности слога; искреннего, сильного выражения, простого и возвышенного, тон которого не был бы *выспренным* и не *слишком вялым*, сильного и энергичного, однако лишенного грубости и жесткости, блистательного, но не ослепительного.

Я требую, чтобы речь истинного героя, являющаяся живым выражением великой души и вызываемая непосредственным, волнующим ее в данный момент чувством, никогда не была бы ни слишком краткой, ни слишком пространной и, подобно хорошо сидящему платью, позволяла бы постоянно угадывать характер говорящего. Я требую, чтобы тот, кто осмеливается влагать в уста героев возвышенные речи, сам обладал бы возвышенной душой и, превращаясь благодаря вдохновению в своего героя, чувствовал в своем сердце все то, что влагает ему в уста. Я требую...

— Ах, господин Демокрит,— воскликнули абдериты, которые уже не могли более сдержаться.— Вы можете требовать всего, что вам угодно, поскольку вы человек требовательный, но в Абдере удовлетворятся и гораздо меньшим. Мы довольны, если поэт нас *трогает*. Человек, заставляющий нас смеяться или плакать, в наших глазах — человек божественный, какими бы он средствами этого ни достигал. Это его дело, а не наше! Гипербол нравится нам, трогает нас, смешит нас. И пусть он порой вызывает у нас зевоту, он все равно остается великим поэтом. Какие вам еще нужны доказательства?

— Негры на Золотом берегу,— сказал Демокрит,— пляшут неистово под грохот простого барабана и бряцающих побрякушек. Если вы им дадите пару бубенчиков и волынку впридачу, то им покажется, что они в раю. Уж так ли много остроумия требовалось вашей няньке, чтобы растрогать вас своими рассказами, когда вы были еще детьми? Глупейшая сказка, которую бормотали жалобным тоном, была уже достаточна, чтобы тронуть вас. Но разве из этого следует, что музыка негров превосходна или же сказка няньки — великолепное произведение?

— Вы необыкновенно учтивы, Демокрит...

— Прошу прощения! Я весьма невежлив, называя вещи своими именами, и настолько упрям, что никогда не смогу признать красивым и великолепным все то, что угодно считать таковым.

— Но чувство целого народа, по-видимому, больше значит, чем сомнение одного-единственного человека?

— Сомнение? Это как раз то, что мне хотелось бы изгнать из искусства. Среди всех требований, от которых так милостиво освобождают своего любимца Гипербола абдериты, нет ни одного, не основанного на строжайшей

справедливости. И все же чувство целого народа, если оно не просвещенное чувство, может оказаться во многих случаях обманчивым.

— Как это понять? К черту! — воскликнул один абдерит, видимо, вполне довольный своим чувством. — Этак вы, пожалуй, в конце концов, захотите еще оспорить и свидетельства наших пяти чувств?

— Упаси боже! — ответил Демокрит. — Если вы настолько скромны, что довольствуетесь только пятью чувствами, то было бы величайшей несправедливостью препятствовать вам спокойно пользоваться ими. Разумеется, пять чувств, особенно взятые в совокупности, достоверные судьи во всех вещах, где требуется решить, что является белым или черным, ровным или шероховатым, мягким или твердым, толстым или тонким, горьким или сладким. Человек, не идущий далее того, что указывают ему его пять чувств, действует, конечно, всегда безопасно. И действительно, если ваш Гипербол позаботится, чтобы в его пьесах каждое чувство испытывало удовольствие и ни одно из них не оскорблялось, то я ручаюсь за хороший прием этих пьес, даже если бы они и были в десять раз хуже, чем они есть.

Будь Демокрит для абдеритов тем же, чем Диоген¹ для коринфян, то свобода его речей, вероятно, навлекла бы на него некоторые неприятности. Ибо, насколько охотно абдериты расположены были шутить по поводу серьезных предметов, настолько мало способны были они выносить насмешки над своими любимыми куклами и любимыми занятиями. Но Демокрит происходил из лучшей семьи Абдеры и что всего важнее — был богат. Это двойное обстоятельство способствовало тому, что ему прощали то, что вряд ли простили бы философу в изодранной хламиде.

— Вы — невыносимый человек, — ворчали прекрасные абдеритки и... все же терпели его.

Поэт Гипербол в тот же вечер сочинил ужасную эпиграмму на философа. На следующее утро она была уже известна во всех будуарах. А на третью ночь ее распевали по всем улицам Абдеры. *Ибо Демокрит положил ее на музыку.*

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Добрый нрав абдеритов и как они мстят Демокриту за его неучтивость. Образчик его обличительной проповеди. Абдериты издают закон против путешествий, который должен помочь всякому уроженцу Абдеры сделаться умней. Каким примечательным способом номофилакс Грилл разрешил неудобство, возникшее из этого закона

Общеизвестно, насколько опасно быть умней своих сограждан. Сократ^{1*} поплатился за это жизнью¹. И если Аристотель счастливо отделался от обвинения в ереси со стороны верховного афинского жреца Евримедона, то только потому, что он заблаговременно спасся бегством². «Я не хочу предоставить афинянам возможность вторично согрешить против философии», — заявил он. — При всех своих человеческих слабостях абдериты не были очень злыми. Сократ мог бы прожить среди них до Несторова возраста³. Они бы сочли его за удивительного глупца, потешались бы над его странностями, но доводить дело до чаши с ядом было не в их характере. Однако Демокрит обходился с ними так круто, что вряд ли какой-нибудь благорасположенный народ сохранил бы терпение. И тем не менее, вся их месть состояла лишь в том, что они (часто без всякой причины) говорили о нем столь же плохо, как и он о них, порицали то, что он делал, находили смешным все, что он говорил, и поступали вопреки его советам. «Его нужно основательно проучить», — говорили они. — Не следует укреплять его в мысли, будто во всем он более сведущ, чем мы». И в полном соответствии с этим мудрым положением добрые люди творили одну глупость за другой и представляли себе, как они выиграют, если вызовут его раздражение. К несчастью, их расчеты совершенно не оправдались. Ибо Демокрит смеялся над этим инисколько не сердился на то, что они его дразнили. «Ах, абдериты, абдериты! — восклицал он порой. — Вот и вновь вы сами себя высекли, в надежде причинить мне боль».

— Ну, можно ли найти человека хуже? — спрашивали абдериты. — Обо всем на свете он другого мнения, чем мы. Во всем, что нам нравится, он видит какой-нибудь недостаток. До чего же неприятно слышать постоянные возражения!

— Но если вы всегда неправы? — отвечал Демокрит. — Докажите, что все выглядит иначе! Все ваши понятия вы позаимствовали от ваших нянек; и обо всем вы мыслите как дети. Телом вы выросли, а души ваши находятся в колыбелях. Разве кто-нибудь из вас дал себе труд задуматься, почему вы считаете что-то истинным или прекрасным? Подобно малому ребенку или младенцу, вы находите хорошим и прекрасным все, что приятно щекочет, раздражает ваши чувства, что вам нравится. И какие ничтожные, часто даже не относя-

^{1*} Aelian. Var. Hist., III, 36. [Элиан. Пестрые рассказы, III, 36 (лат.)].

щиеся к делу причины и обстоятельства определяют ваши симпатии и антипатии! И в каком затруднении оказались бы вы, если бы вам пришлось объяснить, *почему* это вы любите, а другое — ненавидите? Капризы, причуды, упрямство, привычка идти на поводу у других людей, смотреть их глазами, слышать их ушами, повторять то, что вам нашептали другие, — вот побуждения, заменяющие у вас разум. Угодно ли вам знать причину ваших недостатков? Вы втемяшили себе в голову *ложное понятие свободы*. У ваших детей в возрасте трех-четырёх лет возникает, естественно, тоже такое понятие. Но от этого оно не становится более правильным. Мы — свободный народ, утверждаете вы. И считаете, что уже и доводы разума не имеют над вами никакой власти. Почему мы не можем думать, как нам заблагорассудится? Любить и ненавидеть, как нам угодно? Восхищаться или презирать то, что нам угодно? Кто вправе требовать от нас отчета или же судить о нашем вкусе и наших склонностях? Ну, что же, в таком случае, дорогие абдериты, вы — свободны, думайте и пустословьте, любите и ненавидьте, восхищайтесь и презирайте, как вам вздумается и кого вам вздумается! Совершайте глупости, сколько душе вашей угодно! Делайте себя посмешищем, как вам заблагорассудится! Кому до этого дело! Пока все ограничивается лишь безделушками, куклами и детскими лошадками, было бы несправедливо лишать вас права наряжать куклу или скакать на лошадке, как вам захочется. Допустим, что ваша кукла уродлива, а то, что вы называете лошадкой, похоже скорей спереди и сзади на бычка и ослика. Ну и что ж из этого? Если ваши глупости доставляют вам радость и не причиняют никому никакого несчастья, что другим, до этих глупостей? Почему, например, премудрые советники Абдеры в полном составе не могут шествовать в торжественной процессии от ратуши до храма Латоны, кувыркаясь один за другим, если это нравится городскому совету и народу Абдеры? Почему они не могут соорудить свое лучшее здание в какой-нибудь яме, а свою небольшую статуэтку Венеры поднять на верхушку обелиска? Но, дорогие мои земляки, не все ваши глупости столь невинны, как эти. И когда я вижу, что вы своими капризами и причудами причиняете себе *вред*, то я не мог бы считаться вашим другом, если бы молчал. Например, ваша лягушачья и мышьяная война с *лемносцами*⁴, самая бесполезная и самая безрассудная из всех затеивавшихся когда-либо войн. И ради чего же? По вздорному поводу, из-за какой-то танцовщицы! Было ясно, что вы тогда находились под влиянием прямо-таки какого-то злого демона, решая начать эту войну. Но никакие возражения не могли вас остановить. Лемносцам следует задать перцу! И так как вы люди с очень живым воображением, то вам казалось, что ничего нет легче, как овладеть всем островом. Ибо вы способны почувствовать трудность какого-либо дела не раньше, чем расквасите свой нос. Но это еще куда ни шло, если бы вы поручили претворение ваших замыслов опытному человеку. Но назначить полководцем юного Афрона⁵ безо всякого на то основания, кроме, пожалуй, единственного, — ваши женщины находили его прекрасным, как Парис, в его новых, великолепных доспехах! И за удовольствие видеть, как покачиваются на его безмозглой голове большие перья шлема цвета пламени, забыть, что дело шло не о веселом поединке — все это, не отрицайте, было абдеритской затеей! И вот теперь, когда вы за-

платили за это безрассудство своей честью, галерами и лучшими войсками, что вам от того сознания, что и афиняне ^{1*}, которых вы избрали в качестве образца для своих глупостей, устраивали такие же остроумные затеи и порой с тем же счастливым исходом?

В таком тоне говорил Демокрит с абдеритами всякий раз, когда представлялся случай. И хотя это происходило довольно часто, они все же так и не привыкли считать подобный тон приятным. «Вот что бывает,— говорили они,— когда молокососам позволяют путешествовать. И зачем? Чтобы они научились стыдиться своей родины и возвращались домой после десяти или двенадцати лет космополитами, с чужеземными понятиями и уверенные в том, что во всем разбираются лучше, чем их деда, и что где-то все устроено лучше, чем дома. Древние египтяне, не разрешавшие никому путешествовать прежде, чем человеку не стукнуло по крайней мере пятьдесят лет,— были мудрые люди». И срочно собравшись, абдериты издали закон: впредь ни один из сыновей абдеритов не имеет права отправляться в путешествие дальше Коринфского перешейка ⁷ и не более, чем на один год, и не иначе, как под присмотром престарелого гувернера абдеритского происхождения, образа мыслей и нрава. «Молодые люди,— гласил декрет,— должны знакомиться с миром. Тем не менее они не имеют права задерживаться в каждом месте долее, чем требуется для знакомства со всеми достопримечательностями. Особенно гувернеры обязаны внимательно примечать, в каких гостиницах они останавливаются ^{2*}, как их там кормят и сколько они платят за постой с тем, чтобы их сограждане из этих тайных сведений могли впоследствии извлечь для себя пользу». Далее в декрете предписывалось, что в «целях экономии расходов от слишком длительного пребывания в одном месте гувернер обязан следить за тем, чтобы молодой абдерит не ввязывался ни в какие сомнительные знакомства. Хозяин гостиницы или слуга, будучи местными жителями, могут лучше всего порекомендовать ему, что следует осмотреть из достопримечательностей данного места, указать местных ученых и художников и когда с ними возможно встретиться. Все эти сведения гувернеру надлежит записать в свой дневник и, благоразумно используя время, осмотреть многое в два-три дня».

К несчастью, в тот момент, когда закон был принят и по старому обычаю его прогнусавили народу на главных площадях города, за границей находились два молодых человека из довольно известных семей. Один из них был сыном лавочника, который скупостью и подлыми махинациями скопил за сорок лет значительное состояние и благодаря ему выдал недавно свою дочь

^{1*} Афиняне (если верить Аристофану) не нашли лучшего повода для своей войны с Мегарой, как отомстить им за то, что несколько мегарских молодых людей сильно увели двух молодых гетер. Мегарцы поступили точно так же, как афиняне, похитившие в свое время куртизанок из Мегары. Аспасия имела большое влияние на Перикла, Перикл на Афины. И таким образом Мегаре была объявлена война ⁶. *Плугарх*. Биография Перикла.

^{2*} Является ли это место, относящееся к гостиницам, подделкой или вставкой представляется судить тем, кто основательно изучил *Rem saurologiam Veterum* [«Древнюю историю гостиниц» (лат.)].

(самое уродливое и глупейшее существо Абдеры) за племянника приземистого толстого советника, уже упоминавшегося с похвалой выше. Второй же был единственный сын номофилакса. И дабы стать (чем скорее, тем лучше!) помощником своего отца, он должен был побывать в Афинах и основательно познакомиться там с музыкальным искусством, тогда как наследник лавочника собирался основательней познакомиться с афинскими модистками и продавщицами цветов⁸. Но в декрете не предусмотрели особого случая с двумя молодыми людьми. Что было делать? Внести предложение об изменении закона или же просто ходатайствовать, чтобы его на сей раз не применяли?

— Ни то, ни другое! — решил номофилакс, который, сочинив только что музыку к танцу для праздника Латоны, был необычайно доволен собой. — Чтобы внести изменения в закон, нужно созвать народное собрание. А это даст нашим недоброжелателям повод открыть свою пасть. Что же касается разрешения не применять закон, то законы большей частью для того и издаются. И я не сомневаюсь, что при таком убедительном доводе сенат даст свое согласие каждому, кто окажется в подобном положении. Но любое разрешение напоминает своего рода милость. А зачем же нам быть кому-нибудь обязанным? Закон — это спящий лев. И пока его не разбудили, мимо него можно столь же безопасно пройти, как и мимо ягненка. И кто же осмелится быть настолько бесстыдным или дерзким, чтобы натравить этого льва на сына номофилакса?

Сей блюститель законов обладал, как мы видим, весьма утонченными понятиями о законах и о своей должности и умел пользоваться выгодами последней. Его имя заслуживает быть увековеченным. Это был Грилл, сын Киниска⁹.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Демокрит удаляется в деревню, и его часто посещают абдериты. Всевозможные редкости и беседы о земле обетованной моралистов

Возвращаясь из путешествия на родину, Демокрит льстил себя надеждой, что окажет ей пользу, усовершенствовав ум и сердце. Он и не представлял себе, что абдериты так плохо дружат со здравым смыслом, как это было на самом деле. Но, прожив среди них некоторое время, он убедился, что сделать их лучше — затея совершенно напрасная. Все у них шло вкривь и вкось, и трудно было даже решить, с чего начать улучшение. Любое их негодное установление было связано с двадцатью другими. Было невозможно устранить хотя бы одно из них, не преобразовав государства в целом. И он подумал: «Пожалуй, лишь хорошая эпидемия, которая уничтожила бы весь этот народец, за исключением нескольких десятков детей, достаточно уже взрослых, чтобы не

нуждаться в няньках,— единственное средство помочь Абдере. Абдеритам трудно помочь иначе!»

И он решил спокойным образом удалиться от них и поселился в небольшой усадьбе за городом. Ухаживая за ней и занимаясь сельским хозяйством, он заполнял часы, оставшиеся у него от любимого дела — изучения природы. Но, к несчастью, усадьба находилась слишком близко от Абдеры. И так как местность эта была необычайно красивой, а путешествие туда — приятнейшей прогулкой, то каждый божий день его атаковала толпа абдеритов и абдериток, родственников и родственниц, для которых прекрасная погода и приятная прогулка были отличным предлогом нарушать его счастливое уединение.

И хотя Демокрит нравился им не более, чем они ему¹, тем не менее следствия этого были весьма различны. Он бежал от них, потому что они наскучили, а они мешали ему, желая убить время. Он умел употреблять свое собственное время с пользой. Они же, напротив, не знали, куда его девать.

— Мы пришли, чтобы помочь вам скоротать время в вашем уединении,— объясняли абдериты.

— В своем собственном обществе я провожу его очень хорошо,— отвечал Демокрит.

— Но разве можно быть постоянно одному! — воскликнула прекрасная Питека². — Я бы умерла от скуки, если бы прожила день, не увидев людей!

— Вы, верно, хотели сказать... если бы люди вас не видели? — уточнил Демокрит.

— Но почему вы решили, что Демокрит скучает? Весь его дом набит редкостями. С вашего разрешения, Демокрит, позвольте же нам осмотреть все те прекрасные вещи, которые вы привезли из путешествий.

Только теперь начались страдания бедного отшельника. Действительно, у него была великолепная коллекция экспонатов всех царств природы: чучела, птицы, рыбы, бабочки, раковины, окаменелости, минералы и прочее. Все это было ново для абдеритов, все вызывало их изумление. Славного естествоиспытателя в одну минуту забросали такой массой вопросов, что он, пожалуй, должен был бы состоять, как Фама³, из одних ушей и уст, чтобы на все ответить.

«Объясните нам, что это такое? Как это называется? Откуда это? Как это происходит? Почему это так?»

Демокрит старался объяснять, как мог. Но абдериты ничего не понимали. Более того, чем дальше он им объяснял, тем хуже они понимали. И, воистину, в том была не его вина!

— Удивительно! Непостижимо! Необычайно удивительно! — восклицали они постоянно.

— Напротив, все так же естественно, как и любое другое явление в мире,— холодно возражал Демокрит.

— Вы слишком скромны, Демокрит, или вам, по-видимому, хочется услышать побольше комплиментов о вашем хорошем вкусе и ваших путешествиях?

— Не затрудняйте себя, господа! Я к этому равнодушен.

— Однако ж, должно быть, весьма приятно совершать такие дальние путешествия? — спросил один из состоятельных абдеритов.

— А я бы сказал, как раз наоборот! — отвечал второй абдерит. — Представьте себе только все ежедневные опасности и трудности, плохие дороги, скверные гостиницы, мели, кораблекрушения, диких зверей, крокодилов, единорогов, грифов и крылатых львов, которые кишмя кишат в варварских странах!

— И затем, какая же, наконец, польза от того, что узнаешь, как велик мир? В таком случае, тот клочок земли, которым владеешь, покажется настолько жалким, что у меня пропала бы и радость от него.

— Но разве перевидать стольких людей ничего не значит? — возразил первый.

— Есть на что смотреть! На людей! Людей можно видеть и дома. Повсюду точно так же, как и у нас.

— О, взгляните, здесь есть даже птица без ног! — воскликнула молодая женщина.

— Без ног? И у нее только одно огромное перо? Удивительно! — заметила другая. — А вам это понятно?

— Прошу вас, Демокрит, объясните нам, как же она может ходить без ног?

— И как она летает с одним-единственным пером?

— О, что бы я хотела больше увидеть, так это живого сфинкса. Вы, должно быть, много их встречали в Египте?

— Но возможно ли, скажите, пожалуйста, чтобы жены и дочери гимнософистов⁴ в Индии... как бы это выразиться... Вы, верно, понимаете, о чем я хочу спросить?

— Нет, не понимаю, госпожа Салабанда.

— О, вы меня, безусловно, понимаете! Вы же были в Индии! Вы же видели жен гимнософистов?

— Да, конечно, и вы можете мне поверить, что жены гимнософистов точно такие же, как и жены абдеритов.

— Вы оказываете нам слишком много чести. Но это не то, что мне хотелось узнать. Я спрашиваю, правда ли, что они... (при этом госпожа Салабанда прикрыла одной рукой свою грудь, а другой... Короче, она приняла позу^{1*} Венеры Медицейской⁵, чтобы растолковать философу, что она желает узнать). Ну, теперь-то вы меня понимаете? — спросила она.

— Да, мадам, природа к вам была столь же щедра, как и к другим. Что за вопрос!

^{1*} Иностранное слово! Прошу прощения у пуристов. Но ни «положение», ни «стойка», ни «телодвижение» не выражают то, что слово «поза». И покуда отсутствуют необходимые слова в нашем родном языке, мы вынуждены будем заимствовать их из языков иностранных. И из какого же языка в таком случае удобнее всего заимствовать, как не из того живого языка, который является самым отшлифованным и самым распространенным? Точно так же обращались римляне к греческому. И почему немецкие писатели не могут делать с такой же умеренностью то, что считал позволительным для латинского сам Цицерон, которому его родной язык столь многим обязан?

— Вы не хотите понимать меня, Демокрит! Я кажется достаточно ясно выразила то, что желала бы знать. Правда ли... Ну, коли уж вам так угодно, я скажу напрямик — что они ходят, в чем мать родила, нагими?

— Нагими! — воскликнули все абдеритки хором. — Да в таком случае они бесстыдней спартанских девок! Ну, кто этому поверит?

— Вы правы, — ответил естествоиспытатель, — жены гимнасофистов кажутся менее обнаженными, чем жены греков, даже когда те в полном наряде. С головы до пят они облачены в свою невинность и чистосердечную скромность^{1*}.

— Как это понять?

— Трудно сказать ясней.

— Ах, я теперь понимаю вас! Это колкость. Но вы, вероятно, только шутите, говоря об их скромности и невинности. Если жены гимнасофистов не одеты, как подобает, то они, очевидно, настолько уродливы, что нагота их несколько не волнует мужей, или же мужья их холодны.

— Ни то, и ни другое. Их жены стройны, а их дети здоровы и жизнерадостны — неопровержимое, как мне кажется, свидетельство в пользу отцов!

— Вы любитель парадоксов, Демокрит, — сказал богач. — Но вы меня никогда не убедите, что чистота нравов какого-нибудь народа зависит от наготы его жен.

— Если бы я был такой большой любитель парадоксов, как в этом меня обвиняют, мне было бы нетрудно убедить вас примерами и доводами. Но я не слишком одобряю обычай гимнасофистов, чтобы выступать в роли его защитника. И я не стремился утверждать то, что приписывает мне прозорливый Кратил. Случай с женами гимнасофистов, мне кажется, лишь доказывает, что в обычаях подобного рода все решают привычка и обстоятельства. Дочери спартанцев, носящие короткие юбки, и женщины с Инда, не носящие юбок вообще, подвергаются не большей опасности, чем те, кто прикрывает свою добродетель семью одеяниями. Не сами явления, а наши мнения о них — причина недостойных страстей. Для гимнасофистов, считающих благородными все части тела, их жены кажутся одетыми, как скифам — скифские жены, опоясывающие бедра тигровыми шкурами.

— Не хотел бы я, чтобы наши жены втемяшили себе в голову философию Демокрита, — сказал один степенный, чопорный абдерит, торговавший мехами.

— И я бы не желал, — подтвердил торговец полотном.

— И я также, — согласился Демокрит, — хотя я не торгую ни мехами, ни полотном.

— Но позвольте мне вас все-таки спросить еще об одном, — засюсюкала та самая родственница Демокрита, которая выражала желание увидеть живых сфинксов. — Вы объездили целый свет и, наверно, видели много чудесных стран, где все устроено иначе, чем у нас...

^{1*} Чистосердечная скромность служила их одеянием, сказал о дочерях спартанцев не помню уж какой древний автор.

— Я не хочу верить ни одному его слову,— пробормотал городской советник, потрясая, как гомеровский Юпитер, своей душистой прической, осевшей его премудрую голову.

— Признайтесь же, какая из этих стран вам больше всего понравилась?

— Где же может быть лучше, чем... в Абдере?

— О, горы знаем, что вы говорите это несерьезно. Без лести, скажите же молодой даме то, что вы думаете,— сказал советник.

— Вы будете смеяться надо мной,— ответил философ.— Но так как вы этого требуете, прекрасная Клонарион, то я вам скажу чистую правду. Вы никогда не слыхали о стране⁶, где природа настолько добра, что она не только исполняет свои обязанности, но еще и работает за человека? Не слыхали ли вы о стране, где царит вечный мир, где никто не является слугой другого, никто не беден, но каждый богат? Где жажда обладания золотом не вынуждает к преступлению, потому что золото там бесполезно? Где серп такая же незнакомая вещь, как и меч? Где трудолюбивый человек не обязан работать на тунеядца, где нет никаких врачей, потому что никто не болеет; нет судей, ибо нет тяжб; а тяжб нет потому, что каждый доволен, потому, что каждый имеет все, что пожелает... Короче, не слыхали ли вы о стране, где все люди смиренны, как ягнята, и счастливы, как боги? Вы никогда не слыхали о такой стране?

— Нет, насколько припоминаю.

— Вот это и есть прекрасная страна, Клонарион! Там никогда не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно, ни слишком влажно, ни слишком сухо. Весна и осень не сменяют там друг друга, а царят в вечном согласии, как в садах Алкиноя⁷. В горах и долинах, лесах и лугах есть в изобилии все, что только может пожелать человеческое сердце. Но не следует думать, будто люди там вынуждены охотиться на зайцев, ловить рыб или птиц и собирать плоды для пищи или что удобства, которыми они наслаждаются, стоят им многих беспокойств. Ни в коем случае! Все делается само собой. Куропатки и вальдшнепы, зажаренные и нашпигованные, сами летят в рот и смиренно просят, чтобы их отведали. Рыбы разных пород плавают вареными в прудах из всевозможных соусов, а на берегах этих прудов полным-полно устриц, раков, паштетов, окороков и говяжьих языков. Зайцы и косули прибегают добровольно, сами сдирают с себя шкуру, насаживают себя на вертела и, когда поспеют, сами ложатся на тарелки. Повсюду расставлены столы со скатертями-самобранками и куда ни взглянешь, пуховые постели располагают к приятному изнеможению, приглашают отдохнуть от... безделья. Рядом с ними текут, журча, реки молока, меда, вина, лимонада и прочих приятных напитков. А над ними, сплетаясь с розами и жасминами, поднимаются кусты, увешанные кубками и бокалами, которые сами наполняются, едва их опустошили. Там есть и деревца, с которых вместо плодов свешиваются маленькие паштеты, сосиски, миндальные пирожные и сдобные булочки. А на других — на всех ветвях скрипки, арфы, цитры, лютни, флейты, валторны, сами исполняющие прекрасный концерт. Счастливые обитатели той страны, после того как они проспали знойную половину дня, а вечер провели в танцах, песнях и шутках, освежаются затем в прохлад-

ных мраморных купальнях, где их массируют невидимые руки и вытирает насухо тонкое полотно, само себя выткавшее, и уснащают тело драгоценные эссенции, изливающиеся с вечерних облаков, подобно влажному благоуханию. А потом они возлежат на мягких ложах вокруг столов, сплошь уставленных яствами, едят, пьют и смеются, поют, любезничают и целуются всю ночь напролет при свете вечно полной луны, которая превращает ночь в нежный день. И что еще самое приятное...

— О, перестаньте, господин Демокрит, Вы же посмеиваетесь надо мной. Ведь то, что вы рассказываете, это сказка о стране кисельных берегов и молочных рек, тысячу раз слышанная мной в детстве от моей няньки.

— Но ведь вы согласны, Клонарион, что в такой стране жилось бы неплохо?

— А вы разве не замечаете, что за всем этим скрывается какой-то тайный смысл? — заметил мудрый советник. — По-видимому, сатира на некоторых философов, считающих наслаждение высшим благом. «Плохо отгадываете, господин советник!» — подумал Демокрит.

— Я припоминаю, что подобное описание золотого века я читала в «Амфиктивах» Телеклида³, — сказала госпожа Салабанда^{1*}.

— Страна, которую я описал прекрасной Клонарион, — отвечал Демокрит, — вовсе не сатира. Это страна, в которую из каждого десятка таких мудрых людей, как вы, втайне мечтают попасть непременно все десять и в которую хотят вас перенести своими проповедями ваши абдеритские учителя нравов. Если бы в их декламациях был бы хоть какой-нибудь толк!

— Хотелось бы знать, как вы это понимаете, — проговорил советник, привыкший из-за многолетней привычки слушать одним ухом, подавать свой голос спросонья и не утруждать себя долгими размышлениями.

— Вы, как я вижу, предпочитаете сильное освещение, господин советник, — ответил Демокрит. — Но слишком яркий свет столь же неудобен, как и недостаточен. Светотень — вот что требуется, чтобы увидеть необходимое. Я заранее предполагаю, что вы способны видеть. Ибо если это не так, то вы, надеюсь, понимаете, что при свете и тысяч солнц вы увидите не больше, чем при мерцании светлячка.

— Вы говорите о светлячках? — спросил советник, очнувшийся при слове «светлячок» от своего рода душевной дремоты, в которую он впал, заглядевшись на грудь Салабанды во время речи Демокрита. — А я думал, что мы говорим о моралистах.

— О моралистах или светлячках, как вам будет угодно, — сказал Демокрит. — Но чтобы объяснить суть дела, я хотел бы сказать вам только следующее: страна, где царит вечный мир и где люди в равной степени свободны

^{1*} Госпожа Салабанда была права. Задолго до «Барашка» мадам Д'Онуа еще у Лукяна в его «Правдивой истории», а до него уже у греческих комедиографов Метягена, Ферекрата, Телеклида, Кратеса и Кратина встречаются описания страны Кисельных берегов, где они соревнуются друг с другом в стремлении ничего не оставить в запас неумеренному воображению будущих создателей сказок. Самые смелые черты картины, рисуемой Демокритом, взяты из фрагментов, оставленных нам Афинеем в VI книге его «Пира софистов».

и счастливы, где добро не смешано со злом, а боль и добродетель не смешаны с наслаждением и пороком, где существует только красота, порядок и гармония — короче, страна, какой хотят себе представить ваши моралисты весь земной шар, это страна, где либо люди вовсе не имеют желудка и нижней части туловища, или же это, безусловно, страна, изображенная нам Теллеклидом в «Амфиктионах», из которых (как верно заметила прекрасная Салабанда) я заимствовал свое описание. Полное равенство, полная удовлетворенность настоящим, постоянное согласие,— одним словом, времена Сатурна, где не было нужды ни в царях, ни в солдатах, ни в советниках, ни в моралистах, ни в портных, ни в поварах, ни во врачах, ни в палачах, возможны лишь в той стране, где зажаренные куропатки сами летят в рот, или же там (что примерно то же самое), где у людей не существует никаких потребностей. Положение это кажется мне настолько ясным, что его невозможно сделать ясней для того, кому оно кажется темным, даже при помощи всех светил на небе. Однако ваши моралисты досаждают на то, что мир таков, какой он есть. И если честный философ, знающий причины, почему мир не может быть иным, считает досаду подобных людей смешной, то они относятся к нему словно к врагу богов и людей, что само по себе еще более смешно. Но порой, когда эти господа-ипохондрики берут верх, события принимают достаточно трагический оборот.

— А что же, по вашему мнению, следует делать моралистам?

— Сначала немного изучить природу, прежде чем воображать, что они знают больше, чем она; снисходительно и терпимо относиться к глупостям и невоспитанности людей, терпящим то же самое от них; исправлять ближнего примерами собственного поведения, а не утомлять его холодным пустословием или оскорбительными речами; не ожидать последствий там, где нет для этого еще никаких причин; не требовать, чтобы мы достигли вершины горы, прежде чем взберемся на нее.

— Но кто же настолько безрассуден? — спросил один из абдеритов.

— Девять десятых законодателей, прожектеров, учителей и исправителей человечества на всей земле и притом ежедневно, — ответил Демокрит.

Настроение естествоиспытателя начинало казаться несносным развлекающемуся обществу, и все отправились по домам. По пути при свете лунного сияния они болтали о сфинксах, единорогах, гимнософистах и стране кисельных берегов. И как ни были разнообразны высказанные ими глупости, все, однако, сошлось на том, что Демокрит — странный, много о себе возмнивший, заносчивый, придиричивый человек, но при всем этом забавный чужак.

— Лучшее, что у него есть, это его вино, — высказал свое суждение советник.

«Милосердный Анубис! — подумал Демокрит, оставшись опять один. — И чего только ни приходится наговорить этим абдеритам, чтобы хоть немного развлечься!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Кое-что об абдеритских философях и о том, как Демокрит имел несчастье из-за нескольких сказанных с добрым намерением слов приобрести весьма плохую репутацию

Однако, упаси вас боже, представлять себе, будто все абдериты без исключения дали обет или принесли присягу не обладать разумом большим, чем их бабки, няньки и советники! В Абдере, сопернице Афин, были свои философы, то есть она имела таких же философов, какими были... ее художники и поэты. Знаменитый софист Протагор был абдеритом и оставил после себя множество учеников, которые, правда, не могли сравниться со своим учителем в остроумии и красноречии, но зато превосходили его в самомнении и глупостях.

Эти господа состряпали особый род удобной философии, при помощи которой они находили без труда ответы на любой вопрос и так проворно болтали обо всем, что расположено в подлунном и надлунном мире, что поскольку среди их слушателей были всегда лишь абдериты, то у этих добрых слушателей прочно укоренилось мнение, будто их философы знают обо всем на свете значительно больше, чем они сами, хотя на самом деле различие между ними было настолько невелико, что разумный человек не дал бы за это и гроша. Ибо дело, в конце концов, всегда сводилось к тому, что абдеритский философ — если исключить пространные и ничего не значащие выражения — был осведомлен о том или ином предмете ровно в такой же степени, как и абдерит, ничего о нем не знавший.

Философы, считая, вероятно, что опускаться до изучения отдельных явлений природы — занятие слишком ничтожное, занимались лишь отвлеченными вопросами, находящимися за пределами человеческого разума. «В эту область, — полагали они, — никто, кроме равных нам по уму, не осмелится ступить; и что бы мы абдеритам о ней ни говорили, у нас, по крайней мере, есть уверенность, что никто не может обвинить нас во лжи».

Одним из их любимых разговоров был, например, вопрос: «Каким образом, когда и откуда произошел мир?»¹

— Он произошел из яйца, — утверждал один из философов. — Эфир являлся белком, хаос — желтком, а Ночь высидела это яйцо^{1*}.

^{1*} Для того чтобы предотвратить ошибочное предположение читателей, не читавших ни Диогена Лаэртца, ни Деланда, ни критическую «Историю философии» Брукера, ни компендиев Формея и Бюшинга, автор напоминает, что все приведенные здесь гипотезы — достояние почтенной древности, а некоторые из них могут похвалиться немалым количеством приверженцев и защитников их. Мнение нашего Демокрита — единственное, которое не связано с какой-либо сектой, видимо, потому, что оно самое разумное.

— Он возник из огня и воды,— утверждал другой.

— Он вообще никогда не возникал,— утверждал третий.— Все было всегда так, как есть, и останется таким же.

Это мнение, как самое удобное, получило в Абдере одобрение многих. Оно все объясняет, рассуждали они, и не нужно более ломать себе долго голову. «Так было всегда!» — гласил обычный ответ абдеритов, если их спрашивали о причине или происхождении какой-либо вещи. И того, кто не довольствовался этим объяснением, они считали тупицей.

— То, что вы называете вселенной,— утверждал четвертый,— есть, собственно, скопление миров, которые, подобно коже лука, находятся один на другом и постепенно отделяются друг от друга.

— Необыкновенно ясно изложено! — восхищались абдериты.— Удивительно ясно! — Они полагали, что понимают философа, так как очень хорошо знали, что такое луковица.

— Химера! — восклицал пятый.— Конечно, имеется бесчисленное количество миров. Но они возникают из случайного движения неделимых солнечных пылинок. И если из десяти миллионов неудавшихся миров возникает, в конце концов, один вроде нашего, мало-мальски сносного,— это великолепный результат.

— Атомы я допускаю,— сказал шестой,— но не произвольное движение, лишенное направленности. Атомы суть ничто или же они обладают определенными силами и свойствами, и в зависимости от того, насколько они сходны или несходны, они притягиваются друг к другу или отталкиваются. Поэтому мудрый Эмпедокл (который, говорят, желая узнать истинное строение Эты, сам бросился в кратер ее) видел в ненависти и любви первые причины всех сочетаний атомов. И Эмпедокл был прав.

— Прошу прощения, господа мои, вы все неправы,— заявил философ Сисамис.— Ни из вашего мистического яйца, ни из связи огня и воды, ни из атомов, ни из вашей однородности частей — гомеомерии — никогда не возникнет мир, если вы не призовете на помощь дух. Вселенная, как и любое живое существо, есть соединение материи и духа. Дух придает материи форму, и оба они от века связаны. И подобно тому, как с исчезновением духа распадаются отдельные тела, так и небо и земля превратились бы в одну грандиозную бесформенную, мрачную и безжизненную массу в тот момент, когда мировой дух перестал бы все соединять и оживлять.

— Да охраняют нас от этого несчастья Юпитер и Латона! — воскликнули абдериты, испугавшись ужасных угроз философа.

— Не бойтесь! — успокоил их жрец Стробил.— Покуда в наших стенах обитают лягушки Латоны, мировой дух Сисамиса не осмелится учинить такое.

— Друзья мои,— начал восьмой— мировой дух Сисамиса стоит того же, что и атомы, яйца, гомеомерии и луковицы моих коллег. Если мы допускаем вселенную, то следует признать и демиурга. Ибо зданье предполагает архитектора, или, по крайней мере, плотника, и ничего не делается само собой, как все мы это знаем.

— Но ведь говорят же часто: «Это произойдет само собой, само собой случится?» — спрашивали абдериты.

— Так только говорится, — отвечал философ. — Но разве вы когда-нибудь видели, что так действительно происходит? Я, разумеется, слышал тысячи раз, как наши архонты говорили: это уладится само собой, это обойдется, или же это случится само по себе. Но напрасно мы ожидали! Ничего не уладилось, не обошлось, не случилось само собой!

— Не в бровь, а в глаз про наших архонтов! — заметил старый башмачник, считавшийся в народе рассудительным человеком и имевший большие надежды стать цеховым старшиной на ближайших выборах.

— Но может с творениями природы, со вселенной, дело обстоит иначе. И почему мир не мог появиться из хаоса сразу, как гриб после дождя?

— Мастер Пфрим², — возразил философ, — за тебя, цехового старшину, я охотно отдам свой голос и голоса своих родичей, но прошу, не вмешивайся в мою философскую систему. Конечно, грибы вырастают сами из земли, потому что... потому что... потому что они грибы. Но мир не может вырасти сам собой, потому что это не гриб. Понимаешь ты меня, мастер Пфрим?

Все присутствующие рассмеялись от души над тем, какой отпор получил мастер Пфрим.

— Мир ведь это не гриб. Это ясно, как божий день! — воскликнули абдериты. — Тут и возразить нечего, мастер Пфрим!

— Проклятье! — пробормотал будущий цеховой старшина. — И так кончается всегда, когда связываешься с людьми, способными доказать, что снег — белый.

— «Черный», хотели вы сказать, сосед?

— Я знаю, что сказал и что хотел сказать, — ответил мастер Пфрим. — И я желаю только, чтобы республика...

— Только не забывай о 14 голосах, которые я тебе обеспечу, мастер Пфрим! — воскликнул философ.

— Ладно, ладно! Хорошо! Но демиург... Для меня это слово все равно, что «демагог», а я не хочу иметь ни демагогов, ни демиургов. Я стою за свободу, и кто добрый абдерит, — надевай шапку и следуй за мной!

И мастер Пфрим удалился, ибо читатель, надеюсь, заметил, что эта беседа происходила в одном из залов Абдеры. За мастером последовало несколько праздных глупцов, составлявших его неизменную свиту.

Но философ, не подав и вида, что он это заметил, продолжал дальше.

— Без архитектора, демиурга, или называйте его, как хотите, разумным образом допустить происхождение мира невозможно. А теперь посмотрим, как он принялся за свое дело. Представьте себе материю в виде огромной плотной кристаллической глыбы^{1*}, и демиург своим алмазным молотом разбивает эту глыбу одним махом на множество бесконечно малых частиц и они рассеиваются в пустом пространстве на миллионы кубических миль вокруг. Естественно, что, сталкиваясь между собой тысячами способов и

^{1*} Этот философ был, следовательно, картезианцем до Картезия³.

вновь разлетаясь в стороны, благодаря силе движения, сообщенного им ударом молота, они ударялись и терлись друг о друга, образовав тем самым бесчисленное количество частиц правильной и неправильной формы: треугольные, четырехугольные, восьмиугольные, многоугольные и круглые. Из круглых возникли вода и воздух, являющийся не чем иным, как разреженной водой. Из треугольных частиц — огонь, из прочих — земля. Из этих четырех стихий природа создает, как вам известно, все тела вселенной.

— Чудесно, удивительно! И как все понятно! — говорили абдериты. — Кристаллическая глыба, алмазный молот и демиург, разбивающий глыбу на куски столь мастерски, что из осколков, без всяких дополнительных усилий, возникает вселенная. Действительно, самая проникательная гипотеза и к тому же такая простая, что ее можно было бы самому выдумать в любое время!

— При помощи такого простого предположения я объясняю все явления природы, — закончил философ с самодовольной улыбкой.

— При помощи подобной гипотезы не объяснить происхождение даже осинового гнезда! — воскликнул девятый, по имени Демонакс⁴, прислушивавшийся до сих пор к утверждению своих сограждан с молчаливым презрением.

— Чтобы создать такое величественное, прекрасное и удивительное творение, как это мироздание, требуются иные средства и силы. Только совершеннейший разум мог набросать его план, хотя я и допускаю, что для претворения его пригодны были и менее значительные мастера. Он предоставил это дело различным низшим богам, указал каждой группе богов область их работы, а сам удовольствовался общим надзором за целым. Смешно пытаться объяснить происхождение небесных тел, земли, растений, животных и всего, что находится в воздухе и в воде из атомов, симпатий, случайного движения или одного удара молота. Духи царят в стихиях, вращают небесные сферы, образуют органические тела, украшают весенний наряд природы цветами и рождают в ее лоне плоды осени. Может ли быть что-нибудь понятней и приятней, чем эта теория? Она все объясняет. Всякое явление она выводит из соответствующих ему причин. При ее помощи легко понять искусство природы, как нетрудно понять, почему Зевкис или Паррасий могут изображать чарующий пейзаж⁵ или купанье Дианы посредством слегка окрашенной земли.

— Что это за прекрасная вещь, философия! — восклицали абдериты. — Жаль только, что среди множества превосходных теорий трудно остановиться на какой-нибудь одной.

Тем не менее пифагореец, объяснявший все при помощи духов, имел самый большой успех. Поэты, живописцы и прочие служители Муз во главе со всеми женщинами Абдеры объявили себя сторонниками духов, но при условии, что каждому разрешается представлять их себе в таких приятных образах, в каких им это угодно.

— Я никогда не был особенным другом философии, — объявил жрец Стробил, — и не без причины. Но если уж абдериты никак не могут расстаться со своими размышлениями о причинах вещей, то физика Демонакса менее

всего вызывает у меня возражений. При надлежащих ограничениях она достаточно согласуется...

— О, она согласуется со всем на свете,— заметил Демонакс.— В этом пределесть ее.

— Хотите, я скажу вам свое мнение? — спросил Демокрит.— Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы узнать свойства окружающих вас вещей, то вы, мне кажется, идете к цели необычайно длинным и кружным путем. Мир необыкновенно велик, и от места, с которого мы на него взираем, до его известнейших областей и городов так далеко, что я не понимаю, как кому-нибудь может прийти в голову разбираться в карте страны, когда ему, кроме его родной деревушки, все прочее, даже границы, неизвестны. Я думаю, что прежде чем бредить о космогонии и теологии, следует усесться без шума и пронаблюдать, например, происхождение паутины, и такое длительное время, пока мы не узнаем всего, на что способны пять человеческих чувств, руководимые разумом. Но зато вы поймете, что только одна эта паутина даст вам больше сведений о великой системе и более достойные представления о ее создателе, чем все те хитроумные теории происхождения вселенной, которые вы состряпали в своем мозгу в период между сном и бодрствованием.

Демокрит говорил об этом вполне серьезно. Но абдеритские философы полагали, что он смеется над ними.

— Он ничего не понимает в пневматике⁶,— заметил один.

— А в физике и того меньше,— добавил второй.

— Он скептик... Он отвергает основные влечения... Мировой дух... Демиурга... Бога! — затараторили четвертый, пятый, шестой, седьмой.

— Таких людей нельзя терпеть в обществе! — заключил жрец Стробил.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Демокрит поселяется еще дальше от Абдеры. Чем он занимается в уединении. Абдериты подозревают, что он чернокнижник. Опыт, сделанный им над абдеритскими дамами, и чем он закончился

При всем том Демокрит был другом человечества в истинном смысле этого слова. Он хорошо относился к людям и более всего радовался, когда предотвращал зло или творил добро, побуждал к нему или содействовал его победе. И хотя он полагал, что достоинство гражданина вселенной заключает в себе такие обязанности, которым должны уступить место все прочие, он, тем не менее, как гражданин Абдеры находил нужным принимать участие в делах своей родины и способствовать, насколько мог, ее улучшению. Но так как добро творят в меру своих собственных сил, то его возможности из-за препятствий со стороны абдеритов были столь ограничены, что он не без основания считал себя одной из самых ненужных личностей в этой маленькой рес-

публике. Самое необходимое, думал он, и лучшее, что я могу для них совершить, это сделать их умней. Но абдериты — свободные люди. И если они не захотят поумнеть, то кто же их может к этому принудить?

И поскольку в таких обстоятельствах он был в состоянии сделать для абдеритов очень мало или совсем ничего, то философ считал себя вправе позаботиться, по крайней мере, о своей собственной безопасности и большую часть времени сохранить для исполнения обязанностей гражданина вселенной.

Так как его прежнее убежище было недалеко от Абдеры, и, видимо, из-за своего местоположения или прочих удобств обладало для абдеритов такой притягательной силой, что он, живя в деревне, все же постоянно находился среди них, то Демокрит переселился несколько дальше в лес, принадлежавший ему. В дикой местности он построил себе небольшой домик, где в покое и уединении — истинной стихии философов и поэтов — посвящал почти все свое время изучению природы и размышлениям. Некоторые из новейших ученых — неизвестно, абдериты или нет, — составили себе об уединенных занятиях этого *греческого Бэкона*¹ удивительные, хотя с их точки зрения вполне естественные представления.

— Он стремился отыскать *философский камень*, — утверждал Боррихий², и он открыл его и получил золото.

Для доказательства этого Боррихий ссылался на то, что Демокрит написал книгу «О камнях и металлах».

Абдериты, его современники и сограждане, шли в своих догадках еще дальше. И их предположения, моментально становившиеся в абдеритских головах уверенностью, основывались на таких же прочных доводах, как и довод Боррихия. Демокрита воспитали персидские маги^{1*}. Он путешествовал двадцать лет в *восточных странах*, общался с *египетскими жрецами, халдеями, браминами*³ и *гимнософистами* и был посвящен во все их мистерии. Он привез с собой из путешествий тысячи тайн и знал десятки тысяч вещей, о которых никогда не догадывался ни один абдеритский ум... И разве все это в совокупности не доказывало самым убедительным образом, что он является искуснейшим мастером магии и всех связанных с ней наук?.. Преподобный патер Дельрио⁴ сжег бы Испанию, Португалию и Альгарвию⁵ лишь на основании половины таких неопровержимых доказательств.

Но славные абдериты располагали еще более точными доказательствами того, что их ученый земляк... может немного колдовать. Он предсказывал *солнечные и лунные затмения, неурожай, эпидемии и прочие будущие явления*. Одной распутной девке он предсказал по руке, что она родит; а одному абдеритскому советнику, вся жизнь которого распределялась между сном и пиршествами, что он умрет... от несварения желудка. И представьте, оба пророчества сбылись точно! Помимо этого, в его кабинете видели книги со

^{1*} Ксерксу, находившемуся во время похода против греков несколько дней в доме у Демокрита, очень понравился Демокрит, тогда еще очень юный, и он оставил в городе для лучшего его воспитания несколько магов, бывших с ним. *Диоген Лазрц(ий)*⁶.

странными знаками. Его заставляли за всякими, по-видимому, магическими операциями с кровью птиц и животных, замечали, как он кипятит подозрительные травы. А некоторые молодые люди глубокой ночью при бледном свете луны даже хотели напасть на него на кладбище, устроив засаду между могил.

— Чтобы его испугать, мы нацепили на себя самые отвратительные личины, — рассказывали они. — Рога, козьи копыта, драконьи хвосты — всего было достаточно, чтобы изображать полевых чертей и ночные привидения. Из наших носов и ушей даже шел дым, и мы так страшно бесновались вокруг него, что и Геркулес мог бы превратиться от страха в бабу. Но Демокрит не обратил на нас внимания^{1*}. И когда мы уже порядочно надоели ему, он только промолвил: «Скоро ли вы кончите эту детскую игру?..»⁷

Ясно, говорили абдериты, что с ним дело не чисто, духи для него не в новинку, он, безусловно, знает, как с ними обходиться!

— Он — волшебник, это точно! — заявил жрец Стробил. — Нужно лучше следить за ним!

Следует признать, что Демокрит или по неосторожности, или же потому, что мало считался с мнением своих земляков, (вероятней всего!) сам дал повод к разным злым слухам. И, вправду, трудно было, живя долго среди абдеритов, не впасть в искушение, не попытаться *разыграть их и не придумать какую-нибудь небылицу*. Их любопытство и легковерие, с одной стороны, и их преувеличенные представления о собственной проицательности, с другой, словно бы сами толкали на это. И притом, не было никакого иного средства хоть как-то вознаградить себя за ту скуку, которую испытываешь с ними. Демокрит нередко находился в таком положении. И так как абдериты были достаточно глупы и все, что он говорил им с иронией, воспринимали буквально, то поэтому возникли многочисленные вздорные мнения и сказки на его счет. Они распространялись по всему свету и принимались за чистую монету другими абдеритами еще много столетий спустя после его смерти или несправедливо приписывались ему самому.

Демокрит занимался, между прочим, также и физиогномикой⁸, и, исходя отчасти из своих собственных наблюдений, а отчасти из наблюдений других людей, создал теорию физиогномики и считал (весьма разумно, как нам кажется), что с физиогномикой дело обстоит точно так же, как с *теорией поэзии или какого-нибудь иного искусства*. Подобно тому, как еще никто и никогда не становился хорошим поэтом или художником благодаря лишь одному знанию правил, — ведь только врожденный талант в соединении с усердным учением, упорным прилежанием и длительными упражнениями дают возможность правильно понимать и применять правила, — так и теория о характере человека в зависимости от его внешности доступна лишь людям весьма наблюдательным, а для прочих, напротив, является весьма сомнительным и обманчивым делом. И поэтому *как одна из тайных наук или великих мистерий философии* она должна быть доступна лишь небольшому числу эпонтов^{2*}.

^{1*} См. Лукиан в «Филопсевде».

^{2*} Эпонтами назывались те, кто после выдержанных ими испытаний допускались к созерцанию великих элевсинских мистерий⁹.

Подобная точка зрения свидетельствует, что Демокрит не был шарлатаном, но для абдеритов она являлась лишь доказательством, что философ делает из своей науки тайну. Поэтому всякий раз, едва об этом заходила речь, они приставали к нему, чтобы он показал им что-нибудь из своего таинственного искусства. Любопытство особенно мучило абдериток. Они желали узнать, по каким внешним признакам угадывается верный любовник, действительно ли Милон Кротонский¹⁰ имел очень большой нос^{1*}, и правда ли, что бледность — непрременный признак влюбленности; они задавали сотни других вопросов подобного рода, настолько истощавших терпение Демокрита, что, желая, наконец, избавиться от них, он решил их немного поугадать.

— Вы, наверное, не представляете себе, — начал Демокрит, — что о невинности девицы можно с неопровержимостью судить по ее глазам.

— По глазам? — воскликнули абдеритки. — Быть не может! Почему же именно по глазам?

— Именно так, — ответил Демокрит. — Поверьте, что по этому признаку я узнавал об интимных тайнах юных и зрелых красавиц больше, чем им бы хотелось.

Уверенный тон утверждений Демокрита заставил абдериток несколько побледнеть^{2*}. Тем не менее они (обычно всегда поддерживающие друг друга во всех случаях, касающихся защиты секретов их пола) с жаром настаивали, что его иная тайна является выдумкой.

— Своим неверием вы вынуждаете меня сказать вам еще больше, — продолжал философ. — Природа полна подобных тайн, мои прекрасные дамы. И для чего же я совершал бы путешествия в Эфиопию и Индию, не будь в этом смысла? Жены гимносифистов, расхаживающие, как вы знаете, обнаженными, открыли мне весьма тонкие вещи.

— Например? — спросили абдеритки.

— Ну, например, тайну, которую я не желал бы узнать, будь я мужем.

— Ах, так вот почему Демокрит не хочет жениться! — воскликнула прекрасная Триаллида.

— Слово мы давно не знаем, что эфиопская Венера сделала его нечувствительным к нашей греческой красоте! — сказала Салабанда. — Однако откройте вашу тайну, Демокрит, если ее только можно доверить целомудренным ушам.

— В доказательство, что это возможно, я доверю ее всем присутствующим дамам, — отвечал естествоиспытатель. — Я знаю верное средство, как добиться, чтобы женщина во сне отчетливым голосом поведала все, что у нее на сердце.

^{1*} Человек, об удивительной физической силе и обжорстве которого греки, склонные к выдумкам, рассказывали невероятные вещи: например, он мог пронести на своих плечах упитанного быка триста шагов, и, убив его ударом кулака, за один день съедал целиком.

^{2*} Иоганн Хризостом Магнен¹¹ в своем «Жизнеописании Демокрита» называет это проищательностью, неприятной для половини человечества.

— Да полноте! — воскликнули абдеритки. — Вы хотите нас напугать: помы не пугаемся так легко.

— И кому же придет в голову вас пугать, — сказал Демокрит, — если речь идет о средстве, благодаря которому любая женщина имеет возможность показать мужу, что у нее нет никаких тайн от него?

— А ваше средство действует и на незамужних? — спросила одна из абдериток, которая не была ни достаточно юной, ни достаточно очаровательной, чтобы задавать такие вопросы.

— Оно действует на всех женщин от десяти до восьмидесяти лет, — объяснил Демокрит.

Дело начинало принимать серьезный оборот.

— Но вы же только шутите, Демокрит? — спросила супруга одного из тесмотетов¹², не без тайного опасения услышать противоположное.

— Вы хотите это испытать, Лисистрата?

— Испытать?.. А почему бы и нет?.. Но заранее условимся, что ничего магического применено не будет. Ведь с помощью ваших талисманов и духов вы могли бы заставить бедную женщину сказать все, что вы пожелаете.

— К этому делу не имеют никакого отношения ни талисманы, ни духи. Все происходит естественно. Мое средство самое простое на свете.

Дамы начали проявлять беспокойство, несмотря на бодрый вид, которым они хотели показать свою неустрашимость. Это очень забавляло философа.

— Ну кто же не знает, что вы известный насмешник? Однако разрешите спросить, в чем же состоит ваше средство?

— Как я вам уже сказал, оно — наипростейшее на свете. Небольшую безвредную вещь кладут на грудь у сердца женщины — вот и вся тайна. Но она творит чудеса, поверьте мне, и заставляет говорить обо всем, что только есть сокровенного, даже в самом отдаленном уголке сердца.

Среди семи женщин, находившихся в обществе, была лишь одна, которая во время этой беседы не изменялась ни в лице, ни в движениях. Вы, наверное, подумаете, что она была стара, уродлива или даже добродетельна? Ничего подобного! Она была... глуха.

— Если вы хотите, чтобы мы вам поверили, Демокрит, то назовите ваше средство.

— Я скажу его на ухо супругу прекрасной Триаллиды, — заявил злой натуралист.

Супруг прекрасной Триаллиды вовсе не будучи слепым, был настолько счастлив, насколько Хагедорн¹³ считает счастливым слепца, женатого на красавице. В его доме постоянно собиралось избранное общество или, по крайней мере, то, что считалось в Абдере таковым. Этот добрый человек полагал, что гости испытывают большое удовольствие от общения с ним и от стихов, которые он имел обыкновение им читать. В действительности же он обладал талантом неплохо читать плохие стихи, сочиненные им. Читая их с большим вдохновением, он не замечал, что слушатели не столько обращали внимание на его стихи, сколько подмигивали прекрасной Триаллиде. Короче, советник Смилак был человеком, имевшим слишком хорошее мнение о самом себе, чтобы иметь плохое о добродетели своей супруги.

Ни секунды не задумавшись, он подставил свое ухо Демокриту, чтобы услышать тайну.

— Требуется всего-навсего, — шептал ему философ, — положить на левую грудь спящей дамы язык живой лягушки. Но, вырывая его, следует это сделать осторожно и не захватить смежные с ним части, а лягушку затем нужно опять пустить в воду.

— Средство, должно быть, неплохое, — сказал Смилак тихо. — Жаль, что оно немного подозрительно. Что же скажет о нем жрец Стробил?

— Не беспокойтесь! — отвечал Демокрит. — Ведь лягушка — не Диана¹⁴, и пусть жрец Стробил говорит, что он хочет. К тому же лягушка останется живой.

— Можно сообщить тайну другим? — спросил Смилак.

— С удовольствием! Всем нашим мужчинам разрешается ее знать. И каждый может смело сообщить о средстве своим знакомым; но только при условии, что никто не расскажет о нем ни своей жене, ни своей возлюбленной...

Добрые абдеритки не знали, что и думать об этой вещи. Она не казалась им невозможной. Да и что вообще могло казаться невозможным абдеритам! Их мужья и любовники, присутствующие здесь, были не более спокойны. Каждый из них решил про себя испытать средство, не откладывая его в долгий ящик, и каждый (за исключением Смилакса) опасался при этом поумнеть более, чем желал.

— Не правда ли, муженек, — обратилась Триалида к своему супругу, похлопывая его дружески по щеке, — ты ведь знаешь меня слишком хорошо, чтобы устраивать такое испытание?

— Пусть только моему взбредет что-либо подобное в голову!.. — сказала Лагиска. — Испытание предполагает сомнение, а муж, сомневающийся в добродетели своей жены...

— ...является мужем, который подвергается опасности увидеть свои сомнения оправданными, — подхватил Демокрит, заметив, что Лагиска остановилась. — Ведь вы это хотели сказать, прекрасная Лагиска?

— Вы — враг женщин, Демокрит! — воскликнули все абдеритки хором. — Но не забывайте, что вы во Фракии и берегитесь участи Орфея¹⁵.

Хотя это и было сказано в шутку, но в ней скрывался серьезный смысл. Естественно, никому не хочется без нужды страдать бессонницей — намерение, которое мы менее всего готовы оправдать, и Демокрит, безусловно, должен был предвидеть последствия своей выдумки. Действительно, дело это породило у дам столько размышлений, что они всю ночь не сомкнули глаз. И так как о мнимой тайне Демокрита на следующий день узнал весь город, то он вызвал тем самым несколько ночей всеобщей бессонницы. Зато днем женщины восполняли ночные бдения. Многие из них, не догадываясь о том, что тайное средство может столь же хорошо действовать во время дневного сна, как и ночью, не запирали дверей на замок, и их мужья получили неожиданную возможность испытать лягушачьи языки. Лисистрата, Триалида и некоторые другие, рисковавшие более других быть изобличенными, первыми подверглись испытанию, результат которого легко угадать. Но именно это и восста-

новило вскоре прежнее спокойствие в Абдере. Мужья этих дам, дважды или трижды применив без успеха средство, прибежали сломя голову к нашему философу и спросили его, что это все значит.

— Итак, лягушачьи языки оказали свое действие? — встретил он их вопросом. — Покаялись ли ваши жены?

— Мы не услышали ни одного слова! — отвечали абдериты.

— Тем лучше! — заверил Демокрит. — Радуйтесь же! Если спящая женщина с лягушачьим языком на сердце ничего не говорит, то это верное свидетельство того, что... ей не в чем признаваться. Я желаю вам счастья, господа мои. Каждый из вас может похвалиться, что он обладает не женой, а истинным фениксом.

Ну кто же был счастливее наших абдеритов? Они побежали обратно быстрее, чем бежали к Демокриту, бросились на шею своим изумленным женам, душили их поцелуями и объятиями и добровольно сознались в том, что они совершили, желая еще больше убедиться (хотя мы в этом давно были убеждены, говорили они) в добродетели своих дражайших половин.

Славные жены не могли поверить своим глазам, но, будучи абдеритками, они все же обладали достаточным разумом, чтобы тотчас опомниться и упрекнуть своих мужей за не очень приятное недоверие к ним, в котором мужья сами же сознались. Кое-кто из жен даже пустил слезу. Но у всех хватило сил скрыть радость, доставленную столь неожиданным признанием их добродетели. И хотя приличия ради женщины журили Демокрита, каждой из них хотелось бы обнять его за такую добрую услугу. Конечно, это было не то, чего он добивался. Но пусть последствия этой единственной невинной шутки будут для него поучительны: с абдеритами нельзя шутить неосторожно!

И поскольку все вещи на свете имеют несколько сторон, то случилось так, что из зла, которое наш философ причинил абдеритам помимо своей воли, возникло, тем не менее, больше добра, чем можно было бы предположить в случае действия лягушачьих языков. Мужья осчастливили жен своим безграничным доверием, а жены мужей — своей услужливостью и хорошим настроением. Нигде во всем мире не было более счастливых браков, чем в Абдере. И при всем том лбы абдеритов были так безмятежно гладки, а уши и языки абдериток так скромны... как и у других людей.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Демокрит учит абдериток птичьему языку. Пример того, как они занимаются образованием своих дочерей

Однажды Демокриту случилось быть в обществе. В прекрасный весенний вечер он сидел в одном из тех парков, которыми абдериты украсили окрестности своего города.

Действительно, украсили?... Пожалуй, именно этого сказать нельзя, ибо откуда же знать абдеритам, что природа — прекраснее искусства¹ и что меж-

ду манерной подделкой под искусство и подлинным украшением существует различие... Но не об этом теперь речь.

Общество расположилось в тени высокого дерева на мягкой, усеянной цветами лужайке. В ветвях соседнего дерева пел соловей. Одна молодая абдеритка четырнадцать лет, казалось, чувствовала при этом нечто такое, чего другие вовсе не ощущали. Демокрит заметил ее состояние. У девушки были нежные черты лица, и в глазах ее светилась душа. Как жаль, что ты абдеритка, подумал он. Для чего тебе в Абдере чувствительная душа? Она сделает тебя только несчастной. Но не опасайся! То, что еще не испортили в тебе воспитание матери и бабки, извратят сыночки наших архонтов и пританов², а то, что они пощадят, докончит пример твоих подруг. Не пройдет и четырех лет, как ты превратишься в абдеритку, подобную многим. И прежде чем ты, наконец, узнаешь, что лягушачий язык, положенный на грудь, нисколько не опасен...

— О чем вы думаете, прелестная Наннион? — спросил Демокрит девушку.

— Я думаю о том, как мне хотелось бы сесть там под деревом и спокойно слушать соловья.

— Глупое желание! — отрезала мать девушки. — Разве ты никогда не слыхала соловья?

— Наннион права, — вмешалась прекрасная Триаллида. — Я сама всегда охотно слушаю соловьев. Они поют с таким жаром и в их трелях чувствуется что-то такое сладострастное, что мне часто хотелось понять, о чем они говорят. Я уверена, что можно было бы услышать о самых прекрасных вещах на свете. Однако вы, Демокрит, все знающий, неужели вы не понимаете соловьиный язык?

— Почему же не понимаю? — отвечал философ со своим обычным хладнокровием. — И язык всех прочих птиц тоже!

— Серьезно?

— Вы же знаете, что я всегда говорю серьезно.

— О, восхитительно! Так переведите же нам поскорей, о чем пел соловей, так растрогавший Наннион?

— Не так просто, как вы думаете, перевести его песню на греческий, прекрасная Триаллида. В нашем языке нет выражений таких нежных и страстных.

— Но как же вы тогда понимаете язык птиц, если не можете передать на греческом то, что услышали?

— Птицы тоже не знают греческого и однако понимают друг друга!

— Но вы не птица, а злой насмешник, вечно подтрунивающий над нами.

— Вот как худо в Абдере думают о своем ближнем! Тем не менее ваш ответ заслуживает того, чтобы я объяснился подробнее. Птицы понимают друг друга благодаря симпатии, которая обыкновенно бывает между родственными существами. Каждый звук соловьиного пения — живое выражение чувства, и оно вызывает в слушающем сходное чувство. Таким образом, благодаря своему собственному внутреннему чувству вы понимаете то, что хотел выразить соловей. И так же понимаю вас и я.

— Но как же вы это делаете? — спросили несколько абдериток.

После того, как Демокрит достаточно ясно объяснил им все, этот вопрос был задан чересчур по-абдеритски и заслуживал того, чтобы ответ на него не прошел для них даром. Демокрит на минуту задумался.

— Я понимаю Демокрита, — сказала тихо маленькая Наннион.

— Ты его понимаешь, ты, дерзкая девчонка? — заворчала на нее мамаша. — А ну, послушаем, кукла, что ты в этом понимаешь?

— Я не могу выразить словами, но мне кажется, я чувствую... — ответила Наннион.

— Вы слышите, она еще дитя, — сказала мать, — хотя и развилась так быстро, что многие принимают ее за мою младшую сестру. Но не будем тратить слишком много времени на болтовню глупой девчонки, которая и сама не ведает, что говорит.

— Наннион чувствует, — сказал Демокрит. — В своем сердце она нашла ключ к всеобщему языку природы и, быть может, понимает его более, чем...

— О, сударь мой, прошу вас, не делайте маленькую дурочку еще более заносчивой, чем она есть. Она и так ведет себя достаточно дерзко и вызываете...

«Браво, — подумал Демокрит, — продолжайте в таком же духе! На этом пути, возможно, еще есть надежда для ума и сердца маленькой Наннион».

— Но не будем отвлекаться от дела, — продолжала абдеритка, которая и сама хорошенько не знала, как и за какие заслуги она имела честь быть ее матерью. — Вы нам хотели объяснить, каким образом вы понимаете язык птиц.

Следует отдать справедливость абдеритам, они считали хвастовством все, что Демокрит рассказал им о своих познаниях в птичьем языке. Но это не мешало им продолжать занимательную беседу, ибо они охотней всего слушали о вещах, в которые не верили и все же хотели верить, как например, о сфинксах, морских людях, сивиллах, коболях³, чудовищах, привидениях и обо всем прочем в таком же роде. Птичий язык, полагали они, тоже относится к подобным вещам.

— Эту тайну, — сказал Демокрит, — я узнал от верховного жреца в Мемфисе, так как меня посвятили в египетские мистерии. Он был высокий, сухощавый человек, с очень длинным именем и еще более длинной седой бородой, доходившей до пояса. Все бы приняли его за человека из другого мира, настолько торжественно и таинственно выглядел жрец в своем остроконечном колпаке и длинной мантии.

Внимание абдеритов заметно возрастало. Наннион, сидевшая несколько поодаль, прислушивалась одним ухом к пению соловья. Но время от времени она бросала на философа полный благодарности взгляд, на который он отвечал одобряющей улыбкой в те моменты, когда ее мамаша заглядывалась на свою грудь или же целовала свою собачку.

— Вся тайна состоит в следующем, — продолжал он. — У семи различных птиц, названий которых я не имею права сообщить, отрезают головы, собирают их кровь в небольшой яме, покрывают яму лавровыми ветвями и... удаляются. По прошествии двадцати одного дня приходят туда вновь, открывают

яму и обнаруживают маленького странного вида дракона, родившегося от гниения смешанной крови^{1*}.

— Дракона? — вскричали абдеритки, явно изумившись.

— Да, дракона, но не крупнее обычной летучей мыши. Этого дракона следует разрезать на мелкие куски и съесть без остатка с уксусом, маслом и перцем. Затем отправляйтесь в постель, хорошо укройтесь и спите подряд двадцать часов. Потом, проснувшись, оденьтесь, идите в свой сад или рошу, и вы немало удивитесь, когда вас тотчас же окружают со всех сторон и будут приветствовать птицы, язык и пение которых вы так отлично будете понимать, словно всю свою жизнь были сороками, гусынями и индюшками^{2*}.

Демокрит рассказывал это абдеритам с такой спокойной серьезностью, что они несколько не сомневались в его словах, ибо, по их мнению, было бы невозможно повествовать обо всем с такими подробностями, если бы дело не соответствовало истине. Теперь они узнали как раз столько, сколько было необходимо, чтобы развеять их любопытство узнать все...

— Однако,— спросили они,— что же это все-таки за птицы? Воробей, жаворонок, соловей, сорока, перепел, ворон, чибис, филин? Каков из себя дракон? Имеет ли он крылья? Изрыгает ли он огонь? Кусает или колет он, если до него дотронуться? Приятно ли его есть? Каков он на вкус? Как его переваривает желудок? Чем следует его запивать?..

От подобных вопросов, посыпавшихся на Демокрита, ему стало так жарко, что он счел за лучшее выйти побыстрей из игры и признался им, что всю эту историю он выдумал шутки ради.

— О, вы нас не обманете! — воскликнули абдеритки. — Вы просто не хотите, чтобы мы узнали ваши тайны. Но мы не оставим вас в покое, можете быть уверены! Мы хотим видеть дракона, потрогать его, понюхать, попробовать и съесть его с потрохами... Или же вы должны нам сказать, почему это невозможно.

^{1*} Плиний, без разбора поместивший в своей «Естественной истории» и истинное и ложное, рассказывает в 49 главе X книги совершенно серьезно: Демокрит в одном из своих сочинений называет определенных птиц, из смещения крови которых рождается змея. Тот, кто ее съест (с уксусом или маслом, он не говорит), сразу же начнет понимать птичий язык. По поводу этих и других аналогичных глупостей, которыми пестрят, как он указывает, сочинения Демокрита, Плиний резко отчитывает его в другом месте своего произведения. Но Геллий (*Noct. Atticar. L. X, Cap. 12*) [«Аттические ночи», кн. X, гл. 12 (*лат.*)] защищает нашего философа с большим основанием, чем Плиний его обвиняет. Что же мог поделать Демокрит, если абдериты были настолько глупы и все серьезное принимали за иронию, а все шутовское — за серьезное? И каким образом он мог воспрепятствовать тому, что вскоре после его смерти абдеритские умники освящали его именем и авторитетом для других абдеритов тысячи глупостей, о которых он не имел никакого представления? Что за убогие веди заставляли его болтать уже в 1646 году Магнен в своем *Democritus redivivus* [«Возрожденном Демокрите» (*лат.*)]. И чего только люди не говорят о себе в ином мире!

^{2*} Это, конечно, ошибка переводчика. Ибо кто же не знает, что индейки были неизвестны Аристотелю и не могли быть ему известны, ибо они пришли к нам и в другие страны нашего полушария из Вестиндии? См. *Buffon. Histoire naturelle de Oiseaux* [Бюффон³. Естественная история. Птицы. (*франц.*)], т. 3, р. 187 и сл.



Книга вторая

ГИППОКРАТ В АБДЕРЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Отступление, касающееся характера и философии
Демокрита, которое мы просили бы читателя не
пропустить*

Нам неизвестно, каким образом избавился Демокрит от докучливых баб. Достаточно того, что эти примеры явно свидетельствуют, как часто случайная выдумка могла дать повод обвинять философа, будто он, являясь и сам порядочным абдеритом, верил во все те сказки, которыми дурачил своих глупых земляков. Те, кто упрекал его, ссылались на его сочинения. Но еще задолго до времен Витрувия и Плиния¹ под именем Демокрита ходило по рукам большое количество лживых книжонок с различными многозначительными заглавиями. Подобного рода обман был весьма распространен у праздных греков позднейшей эпохи. Имена *Гермеса Трисмегиста*², *Зороастра*³, *Орфея*, *Пифагора*, *Демокрита* казались вполне авторитетными, чтобы жалкие недоноски пустоголовых писак раскупались нарасхват. Особенно после того, как александрийская философская школа⁴ вызвала чуть ли не всеобщее уважение к магии, а ученым привила вкус выставлять себя перед людьми неучеными в качестве невероятных чудодеев, нашедших ключ к миру духов и проникших решительно во все тайны природы. Абдериты обвиняли Демокрита в волшебстве, потому что не могли понять, каким образом без колдовства можно знать столько, сколько... они не знали. И позднейшие обманщики фабриковали книжки о колдовстве под его именем, извлекая для себя выгоду у глупцов. Греки вообще очень любили издеваться над своими философами. Афиняне от души хохотали, когда остроумный шутник Аристофан уверял их, будто Сократ считал облака за богов⁵ и высчитывал, «на сколько ног блошиных блохи прыгают»^{1*}, а когда собирался размышлять, то приказывал под-

^{1*} Не исключена возможность, что Сократ однажды сказал нечто такое, что дало повод к аристофановской шутке. Находясь в каком-нибудь обществе, он мог заметить ошибку, которую обычно совершают, рассуждая о великом и малом как о существенных качествах вещи, забывая об относительности великого и малого. Со свойственной ему шутливостью он мог, например, утверждать: неверно измерять прыжок блохи аттическим локтем. Если хотят справедливо судить о блохе, то,

вешивать себя к потолку в корзине, дабы земля не притягивала к себе силу его мыслей и прочее. И им казалось необыкновенно забавным слышать, как человек, говоривший им постоянно правду, и, следовательно, часто — неприятные истины, вещает со сцены пошлости. А сколько претерпел от этого народа, любившего посмеяться, *Диоген*, более всех подражавший Сократу! И даже одухотворенный *Платон* и глубокомысленный *Аристотель* не избежали обвинений, стремившихся низвести их до заурадных людей. Что же удивительного в том, что не лучшей оказалась и судьба того человека, который отважился мыслить среди абдеритов.

Демокрит иногда смеялся, как и все мы, и, живи он в Коринфе, Смирне или Сиракузах, он смеялся бы, вероятно, не больше, чем всякий другой честный человек, который, имея на то причины или по темпераменту своему, склонен скорей смеяться над человеческими глупостями, чем оплакивать их. Но он жил среди абдеритов. И таково уже было обыкновение этих добрых людей: что бы они ни делали, вызывало либо смех, либо плач, либо гнев. И *Демокрит* смеялся там, где *Фокион* насупил брови, *Катон*⁶ начал бы читать мораль, а *Свифт* бичевать. При довольно длительном пребывании в Абдере ироническое выражение лица стало как бы постоянным для Демокрита. Но чтобы он всегда хохотал во все горло, как свидетельствует о нем один поэт^{1*}, охотно преувеличивающий все на свете, этого, пожалуй, никому не следовало бы утверждать в прозе.

Подобные толки не очень вредили Демокриту, тем более, что такой знаменитый философ, как *Сенека*, оправдывает в этом отношении нашего друга Демокрита и даже считает его достойным подражания. «Мы должны стремиться к тому,— говорит *Сенека*^{2*},— чтобы все пороки и глупости черни и каждый из них в отдельности казались нам достойными не ненависти, а смеха. И мы поступим лучше, если возьмем себе за образец в этом *Демокрита*, а не *Гераклита*³. Последний имел обыкновение, общаясь с людьми, плакать, а первый — смеяться. Во всех наших действиях *Гераклит* видел заботы и несчастья, а *Демокрит* — суету сует и детскую игру. Гораздо утешительней смеяться над человеческой жизнью, чем оплакивать ее. И можно сказать, что тот, кто смеется над жизнью, а не скорбит о ней, оказывает человечеству большую услугу, ибо он все же постоянно внушает нам немного надежды; скорбящий, напротив, глупым образом плачет над вещами, которые отчаиваются улучшить. И тот, кто не может удержаться от смеха, обладает более ве-

сравнивая силу прыжка блохи с прыгуном, следует брать в качестве масштаба не человеческую ногу, а ногу блошиную, и прочее в таком же духе. При этом только должен был присутствовать какой-нибудь абдерит, и мы можем быть уверены, что он пересказал эту историю на свой лад, как якобы величайшую нелепость, сорвавшуюся с уст философа. И хотя *Аристофан* был умен и мог понять, что *Сократ*, видимо, высказал нечто разумное, однако для него как комедиографа и для его стремления высмеять философа было уже достаточно придать этому случаю такой оборот, чтобы афиняне, до некоторой степени абдериты (исключая их вкус и остроумие), имели возможность немного посмеяться.

^{1*} *Perpetuo risu pulmonem agitare solebat Democritus.*— *Juvenal. Sat. X. 33.* [Знай, сотрясал Демокрит свои легкие смехом привычным. *Ювенал. Сат. X, 33 (лат.)* ¹].

^{2*} *De Tranquill. animi cap. 15.* [О душевном покое, гл. 15 (лат.) ²].

ликой душой, чем тот, кто не может удержаться от слез. Ибо тем самым он дает понять: все, что кажется другим значительным и важным, способным вызвать у них самые бурные страсти, в глазах смеющегося настолько ничтожно, что в состоянии возбудить в нем лишь самое легкое и самое умеренное его волнение ^{1*}.

Мимоходом следует заметить, что такой совет имеет смысл, особенно, если бы основания для него были бы не столь натянутыми и не втискивались бы софистом Сенекой в столь хитроумные антитезы. Но уже одно то обстоятельство, что Демокрит жил среди *абдеритов* и смеялся над *абдеритами*, делает упрек, о котором идет речь (каким бы он ни был чрезмерным), самым извинительным из всех, приписывающихся мудрецу. Ведь заставляет же Гомер самих богов неудержимо хохотать по поводу гораздо менее смешного, когда хромой Вулкан, желая восстановить мир среди олимпийцев, исполняет из добросердечного намерения роль кравчего ¹¹. Поэтом утверждать, что *Демокрит добровольно лишил себя зрения, и приводит причины, почему он это должен был сделать*, — совершенно необоснованно. Подобные мнения заставляют предполагать у их распространителей дурную наклонность, не делающую чести уму.

— А что это за наклонность?

Я сейчас ее назову, дорогие друзья, и, дай бог, чтобы слова не были брошены на ветер. Речь идет о жалкой наклонности считать непровержимым свидетелем каждого дурака, каждого злонамеренного клеветника, приписывающего великому человеку какую-нибудь необычайную нелепость, которую не способен был бы совершить даже обыкновенный человек, находясь в здравом уме.

Не хочется верить, что эта наклонность столь распространена, как утверждают хулители человеческой природы. Но опыт учит, что маленькие анекдоты об издержках ума у великих людей весьма легко принимаются многими на веру. Но, быть может, такая наклонность достойна порицания не более, чем удовольствие, испытанное астрономами, когда они открыли на солнце пятна? Быть может, открытие пятен приятно только потому, что оно ново и непонятно? Кроме того, нередко случается, что жалкие люди, приписываю-

^{1*} При всем том Сенека немного ниже заявляет, что еще лучше и более достойно мудреца относиться к человеческим правам и порокам с кротостью и невозмутимостью, нежели осмеивать или оплакивать их. Мне сдается, что при небольшом усилии он мог бы обнаружить, что существует кое-что лучшее, чем это «лучшее». К чему постоянно смеяться, постоянно плакать, постоянно гневаться или быть постоянно невозмутимым? Существуют глупости, достойные осмеяния; существуют и иные вещи, достаточно серьезные, чтобы из груди друга человечества исторгнуть вздох сожаления. Есть и такие, что способны вызвать негодование даже у святого; и, наконец, еще и такие, когда к человеческим слабостям следует относиться равнодушно. Мудрый и добрый человек (*nisi pituita molesta est*) [разве что насморк противный приставет (*лат.*) ¹⁰], как мудро оговаривается Гораций, смеется или улыбается, сожалеет или оплакивает, извиняет или прощает в зависимости от личности, вещи, места и времени. Ибо смеху и плачу, любви и ненависти, наказанию и прощению — всему есть свое время, говорит Соломон, который был более древним и лучшим мудрецом, чем Сенека со всеми его антитезами.

шие великому человеку нелепости, полагают, будто они оказывают ему тем самым еще слишком много чести. А что касается добровольного ослепления нашего философа, то эта выдумка могла прийти в голову не одному абдериту. «Демокрит лишил себя зрения, говорят, чтобы иметь возможность погружаться в глубокие размышления. Что же здесь такого невероятного? Разве нет аналогичных примеров добровольных увечий? Комбаб... Ориген ¹²...» — «Хорошо!.. Комбаб и Ориген лишили себя такой части тела, за которую, в случае нужды, многие, будь они даже Аргусами ¹³, отдали бы все свои глаза. Однако они имели для этого важную побудительную причину. И чего не отдаст человек ради жизни! И чего только не делают и не терпят ради того, чтобы остаться, например, *фаворитом* какого-нибудь князя или сделаться *идолом* для других!.. У Демокрита, напротив, не было такой сильной побудительной причины. Иное дело, если бы он был метафизиком или поэтом: в своих занятиях эти люди могут обойтись и без зрения. Большею частью они прибегают к помощи фантазии, и при слепоте она даже усиливается. Но где было слышано, чтобы естествоиспытатель, анатом, астроном выкалывали бы себе глаза, желая лучше исследовать, анатомировать и наблюдать звезды?

Нелепость настолько очевидна, что *Тертуллиан* ¹⁴ объясняет этот поступок иной причиной, которая должна была бы ему показаться также нелепой, если бы он лучше умел размышлять и ему бы не требовалось превращать в соломённые пугала некоторых философов, чтобы их сразить.

«Он лишил себя зрения, — говорил Тертуллиан, — потому что не мог смотреть на женщину без вожделения» ¹⁵.

Точная причина для греческого философа века Перикла! Демокрит, безусловно, не считавший себя мудрей Солона, Анаксагора, Сократа, оказывается, тоже вынужден был прибегнуть к подобному средству! Поистине, совет Сократа ^{2*} мало помогает ¹⁵ против неотразимой силы любви! Да и Демокрит, очевидно, не нуждался в нем, он и сам был достаточно умен, чтобы дать такой совет другому. Ведь философ, решивший посвятить всю свою жизнь поискам истины, естественно, должен был бы опасаться столь тиранической страсти. Но с этой стороны Демокриту, по крайней мере в Абдере, ничто не угрожало. Абдеритки, правда, были красивы, однако добрая природа наградила их *глупостью* в качестве *противоядия их телесному обаянию*. Абдеритка казалась красивой... пока не открывала рта или не надевала домашнее платье. Увлечение на три дня — самое крайнее, что она могла вызвать у серьезного человека, не абдерита. А трехдневная любовь настолько безвредна для философствования, что мы, пожалуй, смиренно рекомендовали бы всем естествоиспытателям, анатомам, геометрам и астрономам почаще прибегать к этому превосходному средству против болей в селезенке, если бы только не предполагали, что эти господа и сами достаточно мудры и не нуждаются в совете. Испробовал ли сам Демокрит силу этого средства случайным образом с какой-нибудь из известных уже нам абдерских красавиц, этого нельзя ни

^{1*} Apolog. cap. 46 [Апология. гл. 46 (лат.)].

^{2*} Memorab. Socrat. Lib. I, Cap. 3, Num. 14. [Воспоминания о Сократе. Кн. I, гл. 3, параграф 14 (лат.)].

отрицать, ни утверждать за отсутствием достоверных данных. Но поверить, будто, желая совершенно избежать соблазна или уменьшить очарование безвредных существ, он проявил слабость и выколол себе глаза сам, хотя и знал, что абдеритки ему их не выцарапают — в это пусть верит Тертуллиан, сколько ему угодно, а мы сомневаемся, чтобы кто-нибудь поверил.

Однако все эти нелепости еще незначительны по сравнению с теми бреднями, которые один, впрочем, довольно известный собиратель материалов к истории человеческого разума^{1*}, выдает за философию Демокрита. Было бы, например, затруднительно с уверенностью утверждать, что груда развалин, камней и разбитых колонн, собранных отовсюду и выдаваемых за остатки великого храма в Олимпии¹⁶, — действительно развалины этого храма. Но что же можно было бы подумать о человеке, который, наскоро слепив глиной и соломой эти развалины, выдал бы жалкое творение, лишенное плана, фундамента, величия, симметрии и красоты за храм в Олимпии.

Вообще невероятно, чтобы Демокрит создал систему. Человек, прошедший свою жизнь в путешествиях, наблюдениях и опытах, редко живет столь долго, чтобы иметь время оформить результаты того, что он увидел и узнал, в стройную научную систему. С этой точки зрения и Демокрита постигла слишком ранняя смерть, хотя он, говорят, прожил свыше века. Но еще менее вероятно, чтобы такой человек, как он, отличавшийся пронизательным умом и пылким влечением к истине, — что единодушно признают за ним древние, — был бы способен утверждать очевидные глупости. «Демокрит, говорят нам, объяснял бытие мира исключительно посредством атомов, пустого пространства и необходимости, или судьбы. Он вопрошал природу восемьдесят лет, и она ни слова не сказала ему о своем создателе, плане и конечной цели. Он приписывал атомам одинаковый характер движения и не понимал того, что из элементов, движущихся по параллельным линиям, никогда не могут возникнуть тела. Он отрицал, что связь атомов происходит по закону сходства и объяснял все в мире бесконечно скорым, но стихийным движением, хотя и утверждал, что мир представляет целое» и так далее. Подобный и прочий такой же вздор приписывают ему, ссылаются на Стобея, Секста, Цензорины¹⁷, нимало не задумываясь над тем, возможно ли, чтобы разумный человек (каким они, впрочем, и считали Демокрита) так убого рассуждал. Разумеется, великие умы, так же как и малые, не застрахованы от заблуждений и неверных выводов. Хотя нужно признать, что они бесконечно реже совершают ошибки, чем этого хотелось бы *лилипугам*. Но существуют глупости, которые способен высказывать только дурак, подобно тому, как существуют преступления, которые способен совершить только злодей. У лучших людей встречаются погрешности в поступках, и самые мудрые порой испытывают временные затмения разума. Но это не мешает с полной уверенностью утверждать о разумном человеке, что он обыкновенно поступает разумно, особенно в тех случаях, когда и глупцам необходимо напрягать весь свой ум.

^{1*} Брукер. Не говоря уже о Магневе, который произвольно заставляет Демокрита рассуждать и говорить всякий вздор.

Изречение это, правильно примененное, могло бы нас предохранить от некоторых скороспелых суждений, от серьезной, по своим последствиям, подмены истины ее видимостью. Но абдеритам оно никак не помогало. Ибо для применения изречения требуется как раз одна вещь... которой они не обладали. Эти добрые люди обходились совсем другой логикой, чем разумные люди. В их головах соединялись такие понятия, какие, наверно, никогда не пришли бы никому в голову, если бы не существовало абдеритов. Демокрит исследовал природу вещей и замечал причины определенных природных явлений несколько раньше абдеритов — следовательно, он был волшебник. Он мыслил обо всем иначе, чем они, жил по другим правилам, проводил время в уединении непонятным для них образом — следовательно, в его голове было что-то не в порядке. Этот человек слишком переучился, и поэтому они опасались худых для него последствий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Демокрита обвиняют в тяжком преступлении. Один из его родственников оправдывает это тем, что тот не совсем в своем уме. Как Демокрит заблаговременно предотвращает грозу, которую готовил ему жрец Стробил. Таинственное средство, редко не оказывающее действия, если оно только вовремя применено

— Что слышно о Демокрите? — спрашивали друг друга абдериты. — Вот уже целых шесть недель, как никто его не видел. Его никак не застанешь дома; а когда, наконец, застаешь, то он погружен в глубокие размышления, и вы можете простоять перед ним битых полчаса, говорить с ним и уйти, а он вас даже и не заметит. То он копается во внутренностях собак и кошек, то он варит травы, то раздувает мех у волшебной печи и изготавливает золото или еще что-нибудь похуже. Днем он взбирается, как серна, по крутым скалам Гема¹ и ищет травы, словно их мало в ближайших долинах. А ночами, когда даже неразумные существа отдыхают, он закутывается в какую-то скифскую шубу и глядит — клянусь Кастором² — через подзорную трубу на звезды.

— Ха-ха-ха! Глупее этого ничего и во сне не увидишь, — смеялся толстый коротышка-советник.

— При всем том все-таки жаль человека, — заметил архонт Абдеры, — и следует признать, что он много знает.

— Но что пользы от этого республике? — возразил советник, заработавший от республики кругленькую сумму благодаря своим проектам, планам улучшения общественного управления, толкованию устаревших законов и поэтому постоянно кричавший о своих заслугах перед абдеритским общест-

венным благом, хотя это абдеритское благо, несмотря на все его проекты, планы, толкования ни на грош не улучшилось.

— Верно, — заметил другой. — Вся его наука — просто детская игра. Ничего основательного! *In minimis maximus!**

— А какая при этом несносная гордость, упрямство, вечное умничанье, критиканство и насмешки!

— А его дурной вкус!

— В музыке он не смыслит ни черта! — сказал номофилак.

— А в театре еще менее! — воскликнул Гипербол.

— А в возвышенных одах — ровным счетом ничего! — прибавил Физигнат.

— Он шарлатан, хвастун...

— И к тому еще вольнодумец! — вскричал жрец Стробил. — Законченный вольнодумец, ни во что не верящий, для которого нет ничего святого. Его можно уличить в том, что он вырвал языки у множества живых лягушек.

— Упорно поговаривают, что некоторых из них он даже анатомировал, — заметил кто-то.

— Неужели? — воскликнул Стробил с выражением крайнего возмущения. — Латона праведная! К чему только не приводит проклятая философия. Но возможно ли это действительно доказать?

— Я только передаю то, что слышал, — ответил тот.

— Это необходимо расследовать! — кричал Стробил. — Высокочтимый господин архонт, премудрые господа! Я требую этого во имя Латоны. Дело должно быть расследовано!

— А к чему расследование? — сказал Трасилл³, один из главарей республики, близкий родственник и предполагаемый наследник имущества философа. — Дело и так ясно. И оно только доказывает то, что и я уже сам, к сожалению, долгое время замечаю у моего двоюродного брата — бедняги: *с головой у него не все благополучно*. Демокрит неплохой человек, он не богохульник, но на него порой находит такое, что он сам не свой. Если он и анатомировал лягушку, то могу поклясться, что в этот момент он считал, что это кошка.

— Тем хуже! — заметил Стробил.

— В самом деле, тем хуже... для его ума и для его родственников, — продолжал Трасилл. — Бедный человек находится в таком состоянии, что мы не можем оставить к этому равнодушными. Семья его должна будет обратиться за помощью к республике, он не способен распоряжаться своим имуществом. Ему следует назначить опекуна.

— Если это так... — произнес архонт и остановился в нерешительности.

— Я буду считать за честь познакомить вашу милость ближе с этим делом, — вставил советник Трасилл.

— Как? Демокрит не в своем уме? — воскликнул один из присутствующих. — Господа абдериты, подумайте хорошенько, что вы делаете! Над

* В мелочах велик! (*лат.*).

вами будет смеяться вся Греция! Да я скорей готов лишиться головы, если только вы найдете более разумного человека по обеим сторонам Гебра⁴, чем этого самого Демокрита! Осторожней, господа, дело это более щекотливое, чем вы думаете.

Наши читатели, наверное, изумлены... Но мы сейчас разрешим их недоумение. Тот, кто произнес эти слова, *не был абдеритом*. Он был чужестранец из Сиракуз и — что вызывало почтение советников Абдеры, — близкий родственник Дионисия Старшего⁵, ставшего недавно правителем этого государства.

— Вы можете быть уверены, — заверил архонт сиракузянина, — что мы не начнем дела, пока не найдем веских оснований.

— Я слишком близко принимаю к сердцу честь моего двоюродного брата, чтобы не подтвердить доброго мнения о нем, высказанного только что сительным сиракузянином. Действительно, у Демокрита случаются минуты просветления и в одну из таких и беседовал с ним принц. Но, к сожалению, это только минуты...

— В таком случае минуты в Абдере слишком продолжительны, — заметил сиракузянин.

— Высокочитимые и премудрые господа! — начал жрец Стробил. — Как бы ни были обстоятельства, учтите, что ведь речь идет об анатомировании лягушек! Дело серьезное, и я настаиваю на расследовании. Да сохранит нас Юпитер и Лагона, я боюсь, чтобы...

— Успокойтесь, господин верховный жрец, — прервал его архонт, которого (между нами говоря) самого подозревали в том, что он не питал к лягушкам того благоговения, какое требовалось в Абдере. — По первому донесению сенату со стороны *попечителя священного пруда* все лягушки получают полагающееся им в этом случае удовлетворение.

Сиракузянин тотчас же рассказал Демокриту все, что говорилось о нем в обществе.

— Распорядись зарезать самого жирного павлина^{1*}, пусть его насадят на вертел, и сообщи мне, когда он будет готов, — приказал своей домохозяйнице Демокрит.

В тот же вечер, когда Стробил сел ужинать, ему был подан на серебря-

^{1*} Здесь, по-видимому, в текст вкралась неточность. До завоевания Александром Персидского царства⁶ павлины в Греции были неизвестны. И впоследствии, появившись из Азии, они были первоначально настолько редки в Европе, что их показывали в Афинах за деньги. Однако очень скоро они широко распространились и, по свидетельству комедиографа *Ангифана*⁷, стали таким же обычным явлением, как и перепела. В эпоху расцвета Рима их разводили в бесчисленном количестве, и павлин был отменным блюдом за римским столом. Не знаю, откуда взяла г-н Бюффон, что греки не ели павлинов. Он мог бы убедиться в противном из одного места у поэта Алексиса⁸, приведенного Афинеем. Впрочем, если до Александра Европа не знала павлинов, то Демокрит и не мог послать жрецу Стробилу жаренного павлина. Поэтому следует предположить, что этот естественный спутатель среди прочих редкостей, привезенных им из Индии, имел также и павлинов. На худой случай, если это необходимо, мы могли бы сослаться на самосские монеты⁹, где рядом с Юноной изображен павлин.

ном блюде жареный павлин — подарок Демокрита. Когда его разрезали, то, к удивлению жреца, он был наштигован сотней золотых дариков^{1*}.

«А с умом этого человека дело обстоит вовсе не так плохо», — подумал жрец. Средство подействовало незамедлительно и именно так, как оно и должно было подействовать. Верховный жрец с наслаждением вкушал павлина, запивал его греческим вином, положил сотню дариков в свой кошелек и возблагодарил Латону за то удовольствие, которое она доставила своим лягушкам.

— У каждого из нас есть свои недостатки, — говорил на следующий день Стробил в одном большом собрании. — Демокрит, правда, философ, но я не нахожу, что он так дурно мыслит, как в этом обвиняют его враги. Люди злы, о нем рассказывали невероятные вещи, но мне хочется думать о каждом лучше. Я надеюсь, что сердце Демокрита лучше его головы! Ум ученого, быть может, и расстроен, и я даже верю в это, но следует быть снисходительным к человеку в подобных обстоятельствах. Я убежден, что он был бы, вероятно, превосходнейшим гражданином Абдеры, если бы философия не повредила его разум.

Этой речью Стробил убил двух зайцев сразу. Говоря о Демокрите как о хорошем человеке, он тем самым проявил свою признательность по отношению к нему и вместе с тем услужил советнику Трасиллу, ссылаясь на неблагополучие разума философа. Отсюда можно заключить, что жрец Стробил, при всей своей простоте или глупости (если это угодно называть так), был порядочным хитрецом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Небольшой экскурс во времена правления шаха Бахама Мудрого. Характер советника Трасилла

Существует порода людей, которых можно знать и наблюдать годами и тем не менее трудно определить, к какому сорту они относятся — к *слабоумным* людям или *злым*. Едва они только совершили какую-нибудь глупость, на которую, кажется, не способен ни один мало-мальски разумный человек, как вдруг поражают нас таким тщательно продуманным злым делом, что при всем нашем желании считать их *сердце* добрым мы уже не в состоянии обвинять лишь их *разум*. Вчера мы были уверены, что господин такой-то настолько слаб рассудком, что было бы грешно считать преступлением совершенные им нелепости; сегодня же мы убеждаемся в том, что этот человек слишком злобен, чтобы быть просто глупцом. И мы не можем оправдать его злую волю. Но едва мы утвердились в своем мнении, он тотчас ска-

^{1*} Персидская золотая монета, отчеканенная впервые после завоевания Вавилона Киаскаром II или Дарием Мидянином¹⁰.

жет или совершит такое, что вновь возвращает нас к прежнему предположению или, по крайней мере, вызывает то двойственное неприятное состояние, когда не знаешь, что и думать об этом человеке, и как к нему относиться, — особенно если, к несчастью, мы вынуждены с ним общаться.

Тайная история Агры¹ повествует, что знаменитый шах Бахам² однажды оказался в таком положении с одним из своих эмиров. Эмира обвинили в том, что он учинил несправедливость.

— Так повесить его! — приказал шах Бахам.

— Но Ваше Величество, — возразил ему, — бедный Курли настолько слабоумен, что еще неизвестно, может ли он вполне отличить правую сторону от левой. Как же в таком случае быть уверенным, поступил ли он справедливо или несправедливо?

— Ну, если так, — сказал шах Бахам, — то отправьте его в сумасшедший дом.

— Однако, государь, он обладает достаточным рассудком, чтобы миновать столкновения со встречным возом сена или обойти стороной столб, о который мог бы расшибить себе голову, ибо он отлично понимает, что столб его не обойдет.

— Так это он понимает? — воскликнул султан. — Клянусь бородой пророка, ни слова больше! Завтра же все должны увидеть, существует ли в Агре правосудие.

— Между тем, есть люди, которые будут уверять Ваше Величество в том, что эмир — за исключением его глупости, делающий его порой злым, — самый порядочный человек на свете.

— Прошу прощения, — вмешался один из присутствующих придворных. — Как раз наоборот! Всем хорошим, что есть в Курли, он обязан своей глупости. Он был бы в десять раз хуже, если бы обладал достаточным рассудком и знал, как следует браться за дело.

— Знаете ли, друзья мои, во всем том, что вы тут говорите, нет ни капли здравого смысла, — возразил шах Бахам. — Сравните, прошу вас, свои утверждения. «Курли, говорит один, злой человек, потому что он глуп». — «Нет, говорит другой, он глуп, потому что зол». — «Ошибаетесь, говорил третий, он был бы еще хуже, если бы не был глупым. .» Как же прикажете понимать эту галиматью? Пусть-ка кто-нибудь на моем месте попытается решить, что же с ним делать. Он либо слишком зол для сумасшедшего дома, либо слишком глуп для виселицы.

— В том-то и дело, — заметила султанша Дарейан, — Курли слишком глуп, чтобы быть очень злым; и все-таки Курли был бы менее злым, если бы он был менее глуп.

— Черт побери этого загадочного парня! — воскликнул шах Бахам. — Вот мы сидим тут и ломаем голову, чтобы решить, осел он или мошенник. А в конце концов вы убедитесь, что он и то, и другое. Обдумав все основательно, знаете, что я решил сделать? Я решил уволить его от должности. Его злость и его глупость в таком случае уравновесят друг друга. И поскольку он не будет уже более эмиром, то не сможет причинять значительного вреда ни своей злостью, ни своей глупостью. Мир велик. Итимадулет³, пусть он идет,

куда ему вздумается! Но прежде он должен придти сюда и поблагодарить султаншу! Еще каких-нибудь три минуты назад я бы не дал ни гроша за его шею.

Долго не могли объяснить, *почему* шах Бахам в исторических книгах Индостана получил прозвище Мудрого. Но после такого решения этот вопрос кажется вполне ясным. Семь греческих мудрецов не распутали бы этот узел удачей, чем его... разрубил шах Бахам.

Советник Трасилл имел несчастье (к счастью для других) принадлежать к таким не слишком обыкновенным людям, в голове и душе которых, по выражению султана, злость и глупость уравновешивают друг друга. Виды на имущество родственников возникли у него не вчера. Он рассчитывал, что Демокрит после долгого отсутствия вовсе не вернется. И, основываясь на этом предположении, постарался составить свой план действий, который расстроился самым неприятным образом из-за приезда философа. Трасиллу, уже привыкшему в своем воображении считать наследственное поместье Демокрита частью своего собственного имущества, не так-то легко было теперь заставить себя думать по-иному. Он видел в Демокрите разбойника, покушающегося на его кровное имущество. Но, к сожалению, законы были на стороне этого разбойника.

Бедный Трасилл мучительно рыскал по всем уголкам своей памяти, отыскивая средство против этого неблагоприятного обстоятельства и долго искал его напрасно. Наконец, он нашел основу, необходимую для выполнения его плана. Абдериты уже подготовлены, подумал Трасилл, ибо то, что Демокрит — глупец, давно признано в Абдере. Дело заключалось, следовательно, в том, чтобы теперь законным образом доказать Большому совету, что глупость философа такого рода, которая делает его неспособным распоряжаться своим имуществом. Однако это было связано с некоторыми трудностями. Своим собственным умом он вряд ли достиг бы успеха. Но в таких случаях люди, подобные ему, всегда находят пройдоху, одалживающего им за деньги свою голову. И тогда может показаться, будто у них она есть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Краткие, но исчерпывающие сведения об абдерских сикофантах. Отрывок из речи, в которой Трасилл требует учреждения опеки над своим родственником

В то время в Абдере существовала порода людей, зарабатывавших себе на жизнь искусством представлять дурные дела так, что они казались хорошими. Для этого они применяли всего лишь два основных приема: либо *искажали факты*, либо *криво толковали законы*. И поскольку подобное занятие было весьма доходным, то к нему обратилось такое огромное количество людей, что шарлатаны вытеснили мастеров дела. И профессия эта утратила

свой авторитет. Тех, кто занимался ею, называли сикофантами, ибо многие из них были так бедны, что за греш готовы были утверждать что угодно¹.

И так как сикофанты составляли, по крайней мере, двадцатую часть жителей Абдеры и не могли прожить на одни лишь гроши, то обычных поводов для судебных тяжб уже было недостаточно. Предки сикофантов еще терпеливо выжидали, пока кто-нибудь попросит их о помощи. Но при таком обычае новейшие сикофанты подошли бы с голоду или вынуждены были бы копать землю! Ибо нищенство в Абдере было запрещено, и, заметим мимоходом, за это единственно и хвалили иностранцы абдерскую полицию. Однако, чтобы копать землю, сикофанты были слишком ленивы; следовательно, большей части из них не оставалось ничего иного, как самим придумывать тяжбы, в которых они были заинтересованы. Будучи людьми весьма горячего нрава, не отличавшимися рассудительностью, абдериты находили поводы для тяжб с лихвой. Любая мелочь становилась причиной тяжбы. Каждый абдерит имел своего сикофанта. Профессия эта приобрела вес и популярность, соревнование между сикофантами способствовало появлению больших талантов и, таким образом, восстановилось своего рода равновесие.

Абдера завоевала славу города, где искусство искажать факты и криво толковать законы так высоко развилось, что даже Афины должны были уступить ей в этом первенство. И такая слава стала впоследствии весьма прибыльной для государства: каждый, кто вынужден был вести важную и трудную тяжбу, нанимал себе абдерского сикофанта. И было бы удивительно, если бы тот отстал от своего клиента прежде, чем высосет из него все соки.

Но не в этом заключалась еще самая главная выгода, которую извлекали абдериты из своих сикофантов. Более всего их привлекала в сикофантах возможность совершать любое плутовство безнаказанно и без собственных на то усилий. Обычно нужно было лишь поручить дело сикофанту и уже не беспокоиться за его исход. Я говорю «обычно», ибо, конечно, порой случалось так, что сикофант, сорвав порядочный куш со своего клиента, мог все же тайно помогать его противнику. Но этого, правда, никогда не происходило, если только противник не платил на две трети больше, чем клиент.

Впрочем, было трудно сыскать что-нибудь более трогательное, чем добрые отношения сикофантов с должностными лицами ратуши. Одни лишь *клиенты* страдали от этого единодушия.

При всех прочих предприятиях, как бы опасны и дерзки они ни были, все же остается возможность заблаговременно убраться в целости, но абдеритский клиент всегда мог быть уверен, что деньги свои он потеряет — выигрывал ли он процесс или нет. И, тем не менее, люди все же не переставали вести тяжбы. Правосудие в Абдере заслужило такую славу, которая могла оставить равнодушным только абдерита. В Греции уже вошло в поговорку желать человеку судиться в Абдере, если ему желали тяжкого зла.

Рассуждая о сикофантах, мы чуть не забыли, что ведь речь шла о видах советника Трасилла на имущество философа и о тех средствах, с помощью которых он хотел под покровительством закона совершить задуманный им грабеж.

Чтобы не занимать благосклонного читателя скучными подробностями, мы ограничимся сообщением, что Трасилл поручил свое дело сикофанту. Это был один из самых искуснейших во всей Абдере людей, презиравший примитивные уловки своих собратьев и необыкновенно гордившийся тем, что за все время его занятий этим благородным ремеслом он выиграл две сотни спорных тяжб, ни разу при этом прямо не солгал. Он придерживался только *неопровержимых фактов*, но сила его заключалась в их комбинации и распределении светотени. В хорошие руки попался Демокрит! Мы только сожалеем, что, поскольку акты процесса уже давно съедены мышами, у нас нет возможности опубликовать для пользы молодых сикофантов полностью всю речь, в которой этот мастер крючкотворства доказал Большому совету Абдеры необходимость лишить Демокрита его имущества. Все, что осталось от речи, — небольшой, но примечательный фрагмент, достойный занять несколько страниц в этой истории в качестве примера того, как сии господа умели поворачивать дело.

«Величайшие, опаснейшие и самые невыносимые из всех глупцов — это *мыслящие глупцы*. Такие же глупцы, как и прочие, они скрывают от неразумной толпы свое слабоумие за проворством языка и считаются мудрыми, потому что безумствуют более *последовательно*, чем их собратья в сумасшедшем доме. Неученый дурак тотчас же пропал, едва он начнет говорить *бесмыслицу*. У ученого дурака все обстоит как раз наоборот. Его счастье обеспечено и его слава упрочена, едва он начинает нести или писать вздор. Ибо большинство людей, хотя и сознают, что *ничего в этих бреднях не понимают*, тем не менее либо *слишком не доверяют* своему рассудку и не в состоянии заметить, что они в этом не виноваты, либо *слишком глупы*, чтобы обнаружить глупость и, следовательно, слишком тщеславны, чтобы признаться, что ничего ровным счетом не поняли. Таким образом, чем более ученый дурак несет ахиною, тем громче кричат неученые дураки о чудесах; и тем сильнее ломают они себе голову, чтобы найти смысл в громогласной бесмыслице. А тот, подобно ободренному рукоплесканиями акробату, выделяет все более рискованные фортели. И они хлопают в ладоши все энергичней, чтобы ученый фигляр удивил их еще большими чудесами. Нередко случается, что сумасбродство одного человека заражает весь народ. И до тех пор, пока господствует мода на бесмыслицу, в честь подобного человека, которого в другое время без дальних околичностей заперли бы в сумасшедший дом, сооружают алтари. К счастью для нашего славного города Абдеры, мы еще не дошли до такого состояния. Мы все единодушно признаем и утверждаем, что Демокрит — чужак, фантазер, сумасброд. Но мы удовлетворяемся только тем, что смеемся над ним — и в этом заключается наша ошибка. *Пока мы еще смеемся над ним. Но долго ли это продолжится и не начнем ли мы видеть в его глупости нечто исключительное? От изумления до восхищения только один шаг. И если мы его сделаем... О боги! Кто же нам скажет, где мы остановимся? Демокрит — фантазер, говорим мы сейчас и смеемся. Но что за фантазер Демокрит? Умник с большим самомнением, издающийся над нашими древними обычаями и учреждениями, тунейдец, занятия которого приносят столько же пользы государству, сколько занятия бездельника; человек,*

анатомирующий кошек, понимающий язык птиц и отыскивающий философский камень. Некромант², охотник за бабочками и звездочет!.. И мы еще сомневаемся, заслуживает ли он *сумасшедшего дома*? Что же будет с Абдерой, если его сумасбродство в конце концов станет заразительным? Предпочтем ли мы спокойно ожидать последствий столь великого зла или употребим средство, дабы предотвратить его? К счастью нашему, законы дают нам это средство в руки. Оно просто, легально, безошибочно. Небольшая темная камера, мудрые отцы, небольшая темная камера! И таким образом мы сразу избавимся от опасности, а Демокрит может сумасбродствовать, сколько ему угодно. «Но,— возразят его друзья,— поскольку дело дошло уже до того, что человек, которого мы считаем безумным, имеет среди нас приятелей...». — «Но,— спросят они,— где доказательства, что его глупость достигла такой степени, когда законы предусматривают камеру в сумасшедшем доме?» Поистине, если после всего, что нам уже известно, мы еще потребуем доказательств, чтобы в этом увериться, то ему остается только считать раскаленные угли за золотые монеты, а солнце искать днем с фонарем!³ Разве он не утверждал, что богиня красоты в Эфиопии черна? Разве он не уговаривал наших жен ходить нагими, как жены гимнасофистов? И разве он недавно, находясь в большом обществе, не уверял, будто солнце неподвижно, а земля проходит через Зодиак триста шестьдесят пять раз в году, и что мы только потому не падаем в пустоту, что в середине находится огромный магнит, притягивающий нас, как железные опилки, хотя мы и не состоим из железа?

Однако я готов согласиться, что все это мелочи. Можно *говорить* глупости, а *поступать* умно. И да была бы на то воля Латоны, чтобы философ находился именно в таком состоянии. Но (я сожалею, что вынужден это сказать) его действия свидетельствуют о таком сумасбродстве, что всей чемерицы⁴ на свете не хватит для прочистки его мозгов. Дабы не злоупотреблять терпением светлейшего Сената, я приведу из многочисленных случаев только два примера, подлинность которых может быть законным образом доказана в случае, если бы кто-нибудь счел их невероятными.

Некоторое время тому назад нашему философу подали к столу фиги, которые, как ему показалось, были сладки, словно мед. Дело это он счел очень важным. Он встал из-за стола, направился в сад, велел показать ему дерево, с которого сорвали фиги, исследовал его с верху до низу, приказал вырыть его с корнем, осмотрел внимательно землю, в которой оно росло, и— в чем я не сомневаюсь,— даже выяснил положение звезд при посадке дерева. Короче, в течение нескольких дней он ломал себе голову над тем, каким образом должны соединяться между собой атомы, чтобы фига обладала подобным вкусом. Он создал одну гипотезу, затем отказался от нее; придумал вторую, третью и четвертую и все их отверг, потому что они показались ему недостаточно научными и проникательными. Это дело так волновало Демокрита, что он потерял аппетит и сон. В конце концов над ним сжалилась его кухарка. «Господин,— сказала она,— если бы вы были не так учены, то вы бы давно поняли, почему у фиг вкус меда». — «Почему же?» — спросил Демокрит. — «Чтобы сохранить их свежими, я положила их в горшок, где был мед,— ответила кухарка. — Вот и весь секрет, и нечего больше ломать себе голову!» —

«Дуреха! — вскричал философ-лунатик. — Ну и объяснение! Для таких, как ты, оно может быть и достаточно. Но неужели ты думаешь, что мы, ученые люди, удовлетворяемся такими примитивными объяснениями? Допустим, что дело было так, как ты говоришь. Но что мне до этого? Твой медовый горшок не может меня удержать, чтобы исследовать, каким образом такое природное явление могло бы произойти и без *горшка с медом*. И мудрый муж вопреки рассудку и своей кухарке продолжал искать причину этого явления, находившуюся не глубже дна горшка, *в неизмеримой глубине колодца*, где, по его мнению, *скрывалась истина*. И делал это до тех пор, пока какая-то новая вздорная мысль не взбрела ему в голову и не побудила его к другим, еще более нелепым изысканиям.

Как ни смешна эта история, но она еще ничто по сравнению с тем благоразумием, которое он проявил в прошлом году, когда во Фракии и во всех соседних с ней областях случился неурожай на оливы. За год до этого (я уже не знаю, вероятно, благодаря пунктации⁵ или какому-нибудь иному волшебству) Демокрит предсказал, что на оливы, которые были тогда очень дешевы, в следующем году будет страшный неурожай. Подобное предвидение могло бы обеспечить *разумному человеку* счастье на всю жизнь. И вначале действительно показалось, будто он не хотел упустить такую возможность, ибо закупил все оливковое масло в стране. Спустя год цены на масло возросли вчетверо, отчасти из-за недорода, отчасти же потому, что весь запас масла находился в его руках. А теперь я прошу каждого, кто знает, что четырежды четыре — больше одного, угадать, для чего он это сделал. Можете себе представить, он был настолько безумен, что возвратил своим продавцам масло за ту же цену, за которую он его купил у них^{1*}. Нам известно, насколько может простираться великодушие человека, обладающего здравым рассудком. Но этот поступок настолько далеко выходит за пределы всякой вероятности, что даже люди, выигравшие от этого, качали недоуменно головами и начали сомневаться в разуме человека, который к куче золота относится, как к куче ореховой скорлупы. И, к несчастью для его наследников, эти сомнения были слишком справедливы».

^{1*} Как по-разному можно осветить один и тот же факт! Об этом же поступке, который наш сикофант считает неоспоримым доказательством помешательства, *Плиний* говорит⁶ как о в высшей степени благородном деянии, делающем честь философии. Демокрит был настолько добр, что не желал обогащаться за счет других, не способных, как он, к отречению от земных благ. Их ужасное беспокойство и отчаяние при мысли, что они лишатся такой большой прибыли, тронуло его. Он отдал им их масло или же полученные за него деньги и удовлетворился этим, показав абдеритам, что и он мог бы добиться богатства, если бы только считал это нужным. Так расценивает Плиний этот случай. И в самом деле, нужно быть абдеритом, сикофантом и мошенником одновременно, чтобы судить о нем, как наш сикофант.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Дело передается на медицинскую экспертизу. Сенат посылает письмо Гиппократу. Врач прибывает в Абдери, появляется в совете; он приглашен городским советником Трасиллом на званый обед и... скучает. Доказательство, что кошелек, наполненный дариками, оказывает действие не на всех людей

Здесь оканчивается фрагмент. И, насколько возможно судить о целом по этой небольшой части, сикофант, конечно, заслужил от советника Трасилла больше, чем корзину фиг¹. Во всяком случае, не его вина была в том, что высокий сенат Абдеры не приговорил нашего философа к темной камере. У Трасилла были недоброжелатели в сенате. И мастер Пфрим, ставший между тем цеховым старшиной, рьяно утверждал, что объявить какого-нибудь гражданина безумным до того, как это признает беспристрастный врач,— противоречит свободе Абдеры.

— Хорошо,— воскликнул Трасилл,— не возражаю, пусть *сам Гиппократ*² рассудит дело! Я согласен.

Разве мы не упоминали выше, что глупость советника уравновешивала его злобный нрав? С его стороны это была непростительная глупость — ссылаться на *Гиппократа* в таком сомнительном деле. Но ему, разумеется, не пришло и в голову, что его поймают на слове.

— Гиппократ,— заявил архонт,— несомненно человек, способный лучшим образом помочь нам выпутаться из этой затруднительной истории. К счастью, он как раз находится на Тасосе³. Быть может, удастся убедить его приехать к нам, если мы пригласим его от имени республики.

Трасилл несколько изменился в лице, услышав, что дело принимает серьезный оборот. Но большинство присоединилось к архонту. Незамедлительно был послан депутат с пригласительным письмом врачу^{1*}, и остальное время заседания сената было посвящено обсуждению того, с какими почестями следует принять Гиппократа. *«Тут они поступили не вполне по-абдеритски»*,— подумают врачи, которые, возможно, окажутся среди наших читателей. Но где же было сказано, что абдериты никогда ничего не совершали, что было бы достойно и разумного народа? Тем не менее, истинная причина их желания оказать почести Гиппократу объяснялась вовсе не высоким уважением к нему, а исключительно тщеславным стремлением слыть людьми, умеющими ценить выдающегося человека. И к тому же, разве мы не имели уже случая заметить, что они были издавна большими любителями всяких торжеств?

Посланникам было приказано ничего не говорить Гиппократу за исключением того, что сенат нуждается в его присутствии и в его мнении по одному

^{1*} В этом отношении кое-что еще имеется в изданиях «Сочинений» Гиппократа. Но это, по-видимому, подлог, работа какого-нибудь пошлого грека позднейших времен; таков же и рассказ о встрече врача с Демокритом, имеющийся в одном из поддельных писем, которые якобы написал Гиппократ.

важному делу. При всей своей философии Гиппократ не мог себе и представить, что это за важное дело. К чему же, подумал он, делать из него тайну? Неужели всех членов сената постигла такая болезнь, которую нежелательно предавать гласности?

Однако он согласился на это путешествие весьма охотно, потому что давно стремился лично познакомиться с нашим философом. Но как велико было его удивление, когда после пышной встречи и после того, как он был представлен всему совету, архонт в превосходно составленной речи сообщил, что его пригласили в Абдери исключительно для того, чтобы установить, безумен ли их согражданин Демокрит, и дать свое заключение о том, возможно ли еще помочь ему или дело уже зашло так далеко, что без дальних околичностей следует объявить о его гражданской смерти.

«Это, наверно, другой Демокрит», — подумал сначала врач. Но господа из Абдеры скоро рассеяли его сомнения. «Хорошо, хорошо, — говорил он себе, — разве я не в Абдере? И как можно забыть об этом?» Гиппократ не подавал виду, что удивлен. Он ограничился лишь тем, что похвалил сенат и народ Абдеры за то, что они высоко ценят такого гражданина, как Демокрит, и так близко принимают к сердцу состояние его здоровья.

— Сумасшествие, — заметил он с большой серьезностью, — пункт, в котором иногда сходятся и величайшие умы, и величайшие болваны. Но посмотрим!..

Трасилл пригласил врача к столу и учтиво окружил его обществом умнейших господ и прекраснейших дам города. Но Гиппократ, будучи близоруким и не имея лорнета^{1*}, не заметил, что дамы были прекрасны. И таким образом (без вины добрых созданий, стремившихся перешеголять друг друга в нарядах) они произвели на него не совсем то впечатление, на которое рассчитывали. Действительно, было жалко, что он не очень хорошо видел. Для разумного человека лицемерие прекрасной женщины всегда содержит в себе нечто весьма занимательное. И когда красивая женщина произносит глупость (что случается порой с красивыми женщинами так же, как и с уродливыми), то большая разница состоит в том, слышишь ли ты только женщину или же одновременно и видишь ее. Ибо в последнем случае все, что она говорит, склонно всегда находить разумным и учтивым или, во всяком случае, свосным. И так как абдеритки теряли это свое преимущество в глазах близорукого чужеземца, а он вынужден был судить об их красоте по тому впечатлению, которое они производили на его слух, то более естественно, что его представление о красавицах напоминало примерно то, какое составляет *глупой о концерте* с помощью своего нормального зрения.

— Кто эта дама, только что беседовавшая с остроумным господином? — тихо спросил он Трасилла.

Ему назвали супругу важной персоны в республике. Теперь он начал ее рассматривать с повышенным любопытством. «Ужасно, — подумал он про себя, — что я никак не могу выкинуть из головы проклятую *торговку устри-*

^{1*} Тем, кто удивится этому, сообщаем, что лорнеты в то время еще не были изобретены.

цами, шутливую недавно с молосским погонщиком ослов⁴ возле моего дома в Лариссе»⁵.

Трасилл имел тайные виды на нашего эскулапа. Его обед был хорош, его вино — и того лучше и вдобавок он пригласил милетских танцовщиц⁶. Но Гиппократ ел мало, пил воду и видал в Афинах, в доме Аспасии, гораздо более красивых танцовщиц. Ничего на него не действовало. Мудрец столкнулся с тем, с чем, по-видимому, не встречался долгие годы, *со скукой*, и он не считал нужным скрывать ее от абдеритов.

Абдеритки без особых усилий заметили то, что он им достаточно ясно давал понять, и, естественно, замечания, которые они начали отпускать, были не в его пользу.

— Он чересчур учен, — шептались они между собой.

— Жаль, что он недостаточно светский человек!.. В чем я уверена, так это в том, что мне никогда не грозит опасность заболеть от любви к нему, — сказала прекрасная Триаллида.

Между тем Трасилл сделал наблюдения другого рода. «Каким бы великим человеком ни был этот Гиппократ, — думал он, — он все-таки должен иметь свои слабости. На почести, оказанные ему сенатом, он, кажется, не обратил никакого внимания. Наслаждений он тоже не любит. Но бьюсь об заклад, что кошелек, полный новых блестящих дариков, прогонит кислую мину с его лица!»

Едва обед закончился, Трасилл приступил к делу. Он отвел врача в сторону и старался (под предлогом большого участия, которое он принимает в здоровье своего несчастного родственника) уверить Гиппократа, что умственное расстройство Демокрита настолько общеизвестно и неоспоримо, что только обязанность соблюдения все формальности закона побудила сенат подтвердить несомненный факт еще и мнением приезжего врача.

— И так как вас обеспокоили путешествием к нам, которое вы, вероятно, без этого повода не предприняли бы, то справедливость требует, чтобы тот, кого это дело касается ближе всех, вознаградил бы вас несколько за ущерб, который вы понесли из-за пренебрежения собственными делами. Примите же эту безделицу как знак благодарности, которую я надеюсь выразить еще больше...

Увесистый кошелек, вложенный при этих словах Трасиллом в руку врача, вывел того из состояния рассеянности, с какой он слушал речь советника.

— И что же вы прикажете делать мне с этим кошельком? — спросил Гиппократ с таким хладнокровием, которое совершенно сбilo абдерита с толку. — Вероятно, вы хотели отдать его своему домоправителю? И часто случается у вас такая рассеянность? Если это так, рекомендую вам обратиться к своему врачу. Но вы сейчас напомнили мне о причине моего приезда. Благодарю вас за это. Мое пребывание здесь может быть очень кратким, и мне не следует откладывать визит, который, как вы знаете, я обязан нанести Демокриту.

И, закончив свою речь, эскулап отвесил поклон и удалился. Никогда в жизни советник не выглядел глупей, чем в эту минуту... Ну, разве приходило ему когда-нибудь в голову, что он может столкнуться с чем-то подобным?.. Ведь такой случай никак нельзя было предвидеть!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Гиппократ наносит визит Демокриту. Тайные сведения
о древнейшем ордене космополитов*

Как говорят историки, Гиппократ застал нашего естествоиспытателя за анатомированием различных животных, у которых он стремился исследовать внутренние органы и их природную целесообразность, чтобы выяснить, возможно, причины определенных различий в свойствах и повадках животных. Занятие это доставило им богатый материал для беседы, во время которой Демокрит очень скоро понял, с кем он имеет дело. Их взаимное удовольствие от этой неожиданной встречи было достойно величия их обоих, и Демокрит выражал его тем более оживленно, что в своем уединении он уже давно был лишен возможности общения с человеком, близким ему по духу.

Существует род людей, которых уже в древности называли порой *космополитами*¹ и которые без всякого договора между собой, без орденских отличий не будут связанными ни ложей, ни клятвами, составляют своеобразное братство, объединенное прочней, чем какой-нибудь орден во всем мире. Встречаются два космополита, один — с Востока, другой — с Запада, впервые видят друг друга и сразу становятся друзьями. И не благодаря какой-нибудь тайной симпатии, существующей, вероятно, лишь в романах, и не потому, что их связывают принесенные ими обеты, а просто потому, что они — *космополиты*. В любом другом ордене можно встретить лицемерных или недостойных собратьев; в ордене космополитов это невозможно, и, как нам кажется, в этом и состоит немалое преимущество космополитов перед всеми другими обществами, объединениями, союзами, орденами и братствами. Ибо какой союз может похвалиться тем, что в его среде никогда не найдется ни одного честолюбца, завистника, скупца, ростовщика, клеветника, хвастуна, лицемера, фискала, двуличного, неблагодарного, сводника, льстеца, блюдолиза, раба, бессердечного или безмозглого человека, педанта, труса, мстителя, лжепророка, фигляра, взяточника и придворного шута. Космополиты — единственные, кто может этим похвалиться. Их сообщество не нуждается в том, чтобы отделять себя от непосвященных всякими таинственными церемониями и устрашающими обрядами, как это делали некогда египетские жрецы. Непосвященные сами собой отделяются от космополитов, и столь же трудно сойти за космополита, как, не имея таланта, выдать себя за хорошего певца или скрипача. Обман тотчас же обнаруживается, едва только кто-нибудь тебя услышит. Под образ мышления космополитов, под их принципы, их убеждения, их язык, их сдержанность, их волнение, даже под их настроение, слабости и ошибки невозможно подделаться, ибо это остается истинной тайной для всех, кто не принадлежит к их ордену; тайной, которая определяется не молчаливостью или предосторожностью членов ордена, а тайной, над которой простерла завесу сама природа. Ибо космополиты могли бы, не колеблясь, громогласно возвестить ее при звуках фанфар, и все же при этом быть твер-

до уверенными, что, кроме них одних, ни один человек ее не поймет. При таком положении вещей совершенно естественно, что между двумя космополитами устанавливается внутреннее взаимопонимание и обоюдное доверие тотчас же, как только они познакомятся. *Пилад* и *Орест*² после двадцатилетней дружбы, проверенной испытаниями и жертвами, были, наверное, меньшими друзьями, чем космополиты с момента, когда они узнают друг друга. Их дружба не требует времени, чтобы укрепиться, она не нуждается в испытаниях. Она основывается на самом необходимом из всех законов природы — на необходимости любить себя в том человеке, который духовно ближе всего нам самим. Было бы невозможно и даже нелепо ожидать от нас, чтобы мы более внятно объяснили тайну космополитов. Ибо (как мы достаточно дали понять) все, что можно сказать о ней — *загадка*, ключом к которой владеют только члены ордена. Единственное, что возможно еще прибавить, так это то, что количество космополитов во все времена было очень невелико и что, несмотря на *незаметность* их сообщества, они оказывают влияние на ход вещей во всем мире, и следствия этого влияния прочны и устойчивы, потому что совершаются без всякого шума и достигаются средствами, внешнее проявление которых вводит в заблуждение профанов. Того же, для кого их влияние является новой загадкой, мы просили бы... читать лучше дальше и не ломать себе без нужды голову над вещами, которые его не касаются.

Демокрит и Гиппократ относились оба к этому удивительному и редкому роду людей. Итак, еще не знакомые друг с другом, они уже были близкими друзьями. И их встреча скорей походила на свидание после длительной разлуки, нежели на первое знакомство. Их разговоры, о которых, вероятно, жаждет услышать читатель, стоят, по-видимому, того, чтобы о них сообщить. Но это увело бы нас далеко от абдеритов — предмета нашей истории. Все, что мы можем сказать, это то, что наши космополиты провели весь вечер и большую часть ночи в беседе, и время пролетело для них настолько незаметно, что они совершенно забыли о своих антиподах — абдеритах и их сенате, и о том, почему они пригласили Гиппократа, — словно никогда не существовало на свете ни подобного города, ни подобных людей.

И только на следующее утро, когда после легкого сна они встретились вновь, чтобы насладиться утренней прохладой на одном из холмов, примыкавшем к саду Демокрита, вид раскинувшегося под лучами солнца города напомнил Гиппократу, что у него есть дело в Абдере.

— Угадай, — обратился он к своему другу, — зачем меня пригласили абдериты?

— Тебя пригласили абдериты? — воскликнул Демокрит. — В последнее время я что-то не слышал, чтобы среди них свирепствовала какая-нибудь эпидемия. Правда, с древнейших времен все они, за исключением очень немногих, поражены одной наследственной болезнью...

— Угадал, угадал, милый Демокрит, дело как раз в этом!

— Ты шутишь? — возразил Демокрит. — Неужели абдериты поняли, чего им недостает? Я слишком хорошо знаю абдеритов. В том-то и заключается их болезнь, что они ее сами не осознают.

— И однако же, — сказал другой, — ничего нет верней того факта, что я

вряд ли находился бы сейчас в Абдере, если бы абдериты не страдали от той напасти, о которой ты говоришь. Бедняги!

— О, теперь я понимаю тебя! — ответил философ. — Твое приглашение сюда можно понять как следствие их болезни, о которой они не догадываются. Разберемся же... Ах, вот в чем дело! Бьюсь об заклад, что они пригласили тебя, чтобы прописать доброму Демокриту столько кровопусканий и чемерицы, сколько необходимо, чтобы он стал подобным им. Не так ли?

— Я вижу, что ты знаешь своих земляков великолепно, Демокрит. И, истине, нужно, как ты, привыкнуть к их глупости, чтобы говорить об этом столь хладнокровно.

— Разве абдериты не встречаются повсюду? — заметил философ.

— Но абдериты до такой степени! Прости, если я не могу судить так снисходительно о твоей родине, как ты. Однако ты убедишься, что пригласили они меня не напрасно!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Гиппократ сообщает абдеритам свое мнение. Великое и опасное смятение, возникшее из-за этого в сенате, и как, к счастью для абдеритского общественного блага, городской сторож внезапно приводит все в порядок

Настало время, когда эскулап должен был изложить свое мнение сенату. Он явился в совет, предстал перед отцами города и начал говорить так красноречиво, что поверг всех присутствующих в изумление.

— Мир Абдере! Благородные, стойкие, проникательные и мудрые отцы города и граждане Абдеры! Вчера я хвалил вас за заботу о рассудке вашего согражданина, а сегодня искренне советую вам распространить эту заботу на весь город и республику. Здоровье духа и тела — вот высшее благо, которое вы можете доставить себе, вашим детям и гражданам. И на деле способствовать этому — первая из ваших обязанностей. Как ни кратковременно мое пребывание у вас, оно было все же достаточно, чтобы убедиться, что абдериты находятся не вполне в добром здравии, как того можно было бы желать. Я, правда, родился на острове Косе¹, живу то в Афинах, то в Лариссе, то еще в каком-нибудь ином месте; сегодня — в Абдере, а завтра, возможно, буду уже на пути в Византию². Но я не житель Коса, не афинянин, не ларисец, не абдерит. Я — врач. И покуда на земле есть больные, моя обязанность лечить их, насколько я могу. Самые опасные больные те, что *не осознают* своей болезни. И абдериты, как я вижу, — именно такой случай. Болезнь слишком сложна для моего врачебного искусства. Но вот что я в состоянии посоветовать, дабы начать исцеление. Снарядите с первым попутным ветром шесть больших кораблей в Антикиру³. Вы можете послать их с любыми товарами. Но в Антикире нагрузите все шесть кораблей таким количеством чемерицы,

какое они только выдержат, чтобы не пойти ко дну. Более дешевую чемерицу можно приобрести и в Галатии ⁴, но антикирская — лучше. По прибытии кораблей соберите весь народ на главной рыночной площади. Устройте во главе с вашими жрецами торжественное шествие по всем храмам Абдеры и умоляйте богов, чтобы они ниспослали сенату и народу Абдеры то, чего *недостает* сенату и народу Абдеры. Затем вернитесь обратно на рынок и раздайте этот запас чемерицы всем гражданам бесплатно, за счет города, по семи фунтов на каждого, не забыв притом дать городским советникам двойную порцию, так как они должны ведь думать еще и за многих других. Доза велика, признаю. Но застарелые болезни можно вылечить лишь продолжительным употреблением лекарств. После того как вы, по моему предписанию, примете в положенный срок это предварительное лекарство, я передам вас другому врачу. Ибо, как я уже сказал: болезнь абдеритов слишком сложна для моего искусства. На пространстве в пятьдесят миль вокруг Абдеры мне известен лишь один человек, способный помочь вам радикально, если только вы терпеливо и смиренно доверитесь его лечению. Имя этого человека — Демокрит, сын Дамасиппа. Пусть вас не смущает то обстоятельство, что он родился в Абдере. Тем не менее он не абдерит, поверьте мне. А если вы мне не верите, то спросите Аполлона Дельфийского ⁵. Демокрит — добросердечный человек, и ему приятно будет оказать вам свои услуги. Засим, господа мои и граждане Абдеры, я препоручаю вас и город ваш воле богов. Не презирайте моего совета, хоть я вам его и даю бесплатно. Это лучший совет, который я когда-либо давал больному, считавшему себя здоровым!

Произнеся это, Гиппократ поклонился сенату и пошел своей дорогой. Никогда, говорит историк Гекатей ⁶, тем более достоверный свидетель, что он и сам был абдеритом ^{1*}, — никогда еще никто не видел двести человек, всех одновременно, в таком странном положении, в каком оказался в этот момент сенат Абдеры. Разве что их можно было сравнить с двумястами финикийцев, превращенными Персеем в каменные изваяния, когда он, показав им голову Медузы, сумел отстоять свою любимую и дорого доставшуюся ему Андромеду ^{2*} от предводителя финикийцев Финея. И в самом деле, им было от чего окаменеть на несколько минут. Невозможно описать, что же происходило в их душах! *Ничего* там не происходило, души их так же окаменели, как и их тела. С тупым и немым удивлением смотрели они на дверь, через которую удалился врач. И на каждом лице было выражено напряженное усилие и полная невозможность понять происходящее.

Наконец, постепенно они начали приходить в себя, одни — раньше, другие позже. Они глядели друг на друга широко раскрытыми глазами. Пятьдесят ртов открылись одновременно, чтобы задать было один и тот же вопрос, и опять закрылись, потому что не ведали, о чем же они, собственно, желали спросить.

^{1*} К несчастью, все его сочинения утрачены. См. Recherches sur Hecaté de Milet, Tom IX des Mém. de Litterat. [Разыскания о Гекатее Милетском. — «Записки о литературе», том IX (франц.) ⁷].

^{2*} Ovid. Metamorph., L. V, v. 218. [Овидий. Метаморфозы, кн. V, ст. 218 (лат).].

— Проклятье, господи! — воскликнул цеховой старшина Пфрим. — Мне кажется, этот шарлатан своей двойной дозой чемерицы счел нас за олухов!

— Я с самого начала не ожидал от него ничего хорошего, — сказал Трасилл.

— Мою жену он вчера совсем не убедил... — заметил советник Смилак.

— Я сразу подумал, что дело кончится плохо, когда он завел речь о шести кораблях, которые мы должны послать в Антикиру... — прибавил другой.

— А дьявольская серьезность, с которой он все это нам излагал?! — воскликнул пятый. — Признаюсь, что я не представлял, чем это все закончится.

— Ха-ха-ха, веселый случай, клянусь честью! — козлиным голосом начал короткий толстопузый советник, держась от смеха за свое брюхо. — Признаемся же, что нас неплохо провели за нос! А этого не должно было бы с нами случиться! Ха-ха-ха!

— Но кто же мог подозревать это в таком человеке? — воскликнул номофилакс.

— Наверняка он один из ваших философов, — сказал мастер Пфрим. — И точно, жрец Стробил не так уж неправ! Не будь то противно нашей свободе, я бы первым настоял, чтобы всех этих умников вышвырнули бы из страны.

— Господи, — начал архонт, — задета честь Абдеры, и вместо того, чтобы, сидя здесь, удивляться и делать замечания, мы обязаны серьезно подумать, что подобает нам предпринять в столь щекотливом деле. Прежде всего необходимо выяснить, куда удалился Гиппократ.

Служитель совета, посланный с этой целью, вернулся через некоторое время и сообщил, что Гиппократа нигде не нашли.

— Проклятая шутка! — вскричали в один голос советники. — А если он улизнул от нас?

— Надеюсь, что он не колдун, — проговорил мастер Пфрим, бросив взгляд на амулет, который он обычно носил для собственной безопасности от злых духов и дурного глаза.

Вскоре стало известно, что чужестранца видели. Он совершенно спокойно трусил на своем муле, оглябая храм Диоскуров по направлению к усадьбе Демокрита.

— Что же делать, господи? — спросил архонт.

— Да... Конечно!.. Что же делать? Что теперь делать — вот в чем вопрос! — восклицали советники, глядя друг на друга.

После некоторого молчания выяснилось, что господи не знают, что же делать.

— Этот человек пользуется большим авторитетом у македонского царя, — продолжал архонт. — Во всей Греции его почитают за второго Эскулапа! Мы наживем неприятности, если поддадимся своему чувству, пусть даже и справедливому. Прежде всего меня заботит честь Абдеры...

— Не хотелось бы вас прерывать, господин архонт! — вмешался цеховой старшина Пфрим. — Но честь и свобода Абдеры никого так не беспокоит, как именно меня. Все основательно обмозговав, я все же не могу понять, причем тут честь города? Этот Гарнократ, то бишь Гиппократ, как он прозывается, — врач. И я всегда слышал, что врачи считают весь мир огромной

больницей, а всех людей — своими больными. Каждый ведь говорит и делает по своему разумению. И когда чего-нибудь желаешь, то охотно начинаешь верить в это. Демокриту, по-моему, хотелось, чтобы мы все заболели, а он бы лечил побольше людей. Так вот, думал он, если я их уломаю принимать мои лекарства, то и больных окажется порядочно! Не будь я мастер Пфрим, если не тут собака зарыта!

— Клянусь честью, верно! — вскричал толстый коротышка-советник. — Ну в самую точку! А парень не глуп! Спорю, если бы он мог, он наградил бы нас всеми лихорадками и флюсами, чтобы только иметь удовольствие лечить нас за наши же денежки! Ха-ха-ха!

— Но четырнадцать фунтов чемерицы на каждого советника! — воскликнул один из цеховых старшин, мозг которого, судя по выражению его лица, уже совершенно высох. — Клянусь всеми лягушками Латоны, это уж слишком жестоко! Тут что-нибудь да кроется!

— Четырнадцать фунтов чемерицы на каждого советника! — повторял мастер Пфрим и смеялся во все горло...

— И для каждого цехового старшины, — уточнил Смилакс многозначительным тоном.

— Извините, — вскричал мастер Пфрим, — он ни слова не говорил о цеховых старшинах!

— Но это понятно само собой, — возразил Смилакс. — Советники и старшины, старшины и советники, и я не вижу оснований, почему господа цеховые старшины должны чем-то отличаться.

— Как? Что? — продолжал кричать мастер Пфрим яростно. — Для вас нет разницы между цеховым старшиной и советником?.. Господа, вы все слышали... Господин городской писарь, я прошу занести это в протокол.

Все цеховые старшины с великим шумом встали со своих мест.

— Разве я не говорил, — воскликнул пожилой председатель-ипохондрик, — что за этим кроется нечто большее? Тайный заговор *против аристократии*... Но господа слишком рано себя выдали.

— Против аристократии? — вскричал мастер Пфрим вдвое громче прежнего. — К дьяволу, господин председатель, с каких пор Абдера — аристократия? А мы что — привидения? Разве мы не представляем народ? Разве мы не защищаем его права и свободы? Господин городской писарь, занесите в протокол, я протестую против всего, что противоречит правам достохвальных цеховых старшин и всего города Абдеры!..

— Протестуем! Протестуем!!! — кричали цеховые старшины хором.

— И мы также протестуем!!! — кричали советники.

Шум усиливался.

— Господа, — завопил изо всей силы правящий архонт. — Что за кутерьму вы подняли? Прошу вас, вспомните, кто вы и где находитесь. И что подумают о нас там внизу торговки яйцами и овощами, если они услышат, что мы кричим, как пирульники.

Но глас мудрости потонул в оглушительном вое. Никто не слышал даже своих собственных слов. К счастью, с незапамятных времен в Абдере было принято обедать точно в двенадцать часов. И в соответствии с распоряжением

совета, как только наступала пора, в зале ратуши должен был появляться городской сторож, своего рода герольд⁸, и оглашать время.

— Милостивые государи! — вскричал герольд голосом гомеровского Стентора⁹. — Двенадцатый час минул.

— Тише! Городской сторож...

— Что прокричал он?

— Минул двенадцатый час, господа.

— Уже двенадцатый? Уже?.. Так пора расходиться!

Большинство милостивых господ было приглашено в гости. Счастлиное слово «двенадцать» вызвало в них целый ряд приятных ощущений, не имевших ни малейшего отношения к предмету их ссоры. Быстрее, чем сменяются фигуры в райке¹⁰, их взорам предстал вдруг огромный стол, уставленный множеством красивых мисок, они уже чуяли ароматы лучших яств, они слышали звон тарелок, и уже наслаждались лакомыми соусами, в изобретении которых соревновались абдерские повара. Короче, воображаемый обед наполнил все их душевные силы. И сразу восстановилось спокойствие абдерского государства.

— Где вы сегодня обедаете?

— У Полифонта.

— И я к нему приглашен.

— Рад буду вашему обществу!

— Сочту за честь!

— Что за пьесу дают сегодня вечером?

— «*Андромеду*»¹¹ *Еврипида*.

— Итак, трагедию?

— О, это моя любимая драма!

— А музыка! Между нами, некоторые хоры к ней сочинил номофилакс.

Вы услышите чудо!

Ведя также приятные разговоры, отцы города Абдеры оживленной, но мирной толпой высыпали из совета к великому удивлению торговков яйцами и овощами, совсем недавно слыхавших, как стены совета сотрясались от истинно фракийских криков.

И за все это следует благодарить тебя, благодетельный городской сторож! Если бы не твое счастливое вмешательство, возможно, ссора советников и цеховых старшин (как ни смешон был повод для нее) разгорелась бы, подобно гневу Ахилла¹², в великую распрю, которая могла бы вызвать сильное потрясение, а, быть может, даже и гибель республики Абдерской!.. И если какой-нибудь абдерит и заслуживал почетной колонны, то это был как раз городской сторож.

Правда, следует признать, что огромная услуга, оказанная им родному городу, сводится на нет тем обстоятельством, что он лишь *случайно* оказался полезным республике. Ибо этот честный человек, машинально оглашая в надлежащий момент двенадцать часов, менее всего думал о том, чтобы отвратить непредвиденное зло от государства. Однако следует учитывать и то, что с незапамятных времен ни один абдерит не оказал услугу государству иным образом. Если предпринимая что-либо, абдериты по *счастливой случайности*

приносили государству пользу, то они благодарили за это богов, хорошо чувствуя, что исполняли роль *просто орудий* или же *случайных поводов* для высших сил. Тем не менее, они умели вознаграждать подобные заслуги так, словно это были их собственные заслуги. Или точнее сказать: именно потому, что они не сознавали при этом своих собственных заслуг, они вознаграждали себя за все то доброе, что приносила им судьба, точно так же, как погонщик ослов берет себе дневную выручку за работу своего осла.

Разумеется, речь здесь идет лишь об архонтах, господах советниках, цеховых старшинах. А честный городской сторож мог оказывать государству столько услуг, сколько ему вздумается. Он получал ежедневно свои шесть пфеннигов в доброй абдерской монете и... с богом!





Книга третья

ЕВРИПИД СРЕДИ АБДЕРИТОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Абдериты собираются в театр

У советников Абдеры существовала одна старая привычка: обсуждать за обедом (в компании знакомых или в кругу семьи) разбиравшиеся в совете дела. Они становились для них обильным источником всяких остроумных мыслей и шуточных замечаний или же патриотических сетований, желаний, мечтаний и прочее, особенно в том случае, когда специальным решением совета настоятельным образом предписывалось сохранять тайну.

Но на этот раз — хотя приключение абдеритов с величайшим из врачей и было достаточно удивительным, чтобы оставить след в анналах республики, за всеми обеденными столами, где первое место занимал какой-нибудь советник или цеховой старшина, о Гиппократе и Демокрите совершенно не вспоминали, словно таких людей и не существовало на свете. В этом отношении абдериты обладали особым Public Spirit * и более тонким чувством, чем можно было ожидать при их обычном самомнении. И действительно, история с Гиппократом, как бы ее ни истолковывать и ни освещать, делала им мало чести. Безопасней всего было бы помалкивать о ней.

Главным предметом беседы являлось, как обычно, сегодняшнее театральное представление. Ибо с тех пор, как абдериты, по примеру их великого образца — афиняв, обзавелись собственным театром и по своему обыкновению отдались и этой своей страсти настолько рьяно, что в течение всего года у них шли театральные постановки, то в любом обществе, едва исчерпывались разговоры на общую тему — о погоде, модах и городских новостях, — непременно начинались беседы либо о сыгранной вчера пьесе, либо о предстоящем сегодня спектакле. И отцы города немало хвалились, особенно перед иностранцами, тем, что драматические зрелища доставляют их согражданам отличную возможность усовершенствовать свое остроумие и вкус, дают неистощимый материал для невинных разговоров в обществе, а прекрасному полу — столь великолепное средство против *скуки*, губительной для тела и души.

Мы говорим обо всем этом, вовсе не желая упрекнуть абдеритов, а, напротив, воздать им заслуженную хвалу за то, что они считали театральные представления достаточно важными и надзор за ними поручили особому ко-

* Духом общественности (англ.).

митету ратуши, председателем которого всегда являлся *номофилакс*, следовательно, одно из высших должностных лиц в государстве. Бесспорно, в высшей степени похвальный обычай. Единственный недостаток сего мудрого установления заключался лишь в том, что абдеритский театр от него ни на волос не стал лучше, разумеется, насколько это можно было бы ожидать вообще в Абдере. Так как выбор драматических произведений зависел от комитета, а изобретение театральных афиш принадлежит к тем бесчисленным открытиям, которые составляют безусловное преимущество *Нового времени* перед *древним*, то публика редко была осведомлена о том, что собирались представлять в театре, за исключением новых пьес в оригинальном абдеритском вкусе. Ибо, хотя господа члены комитета и не делали из этого никакой тайны, тем не менее еще до постановки сюжет пьесы искажался настолько, что возникало какое-то *qui pro quo* *. И если зрители ожидали, например, *«Антигону Софокла»*, то они должны были довольствоваться *«Эригоной» Физигната*. И такое случалось весьма часто. «Что же будут сегодня представлять в театре? — вот вопрос, который был у всех на устах в Абдере, вопрос сам по себе невинный, но благодаря одному небольшому обстоятельству — *архиабдеритский*, потому что ответ на него *не имел никакого отношения к практической пользе*. Люди шли в театр, что бы там ни ставили — старую или новую, плохую или хорошую пьесу. Ведь для абдеритов и не существовало плохих пьес, все они были для них хорошими. И естественным следствием такого безграничного добродушия было то, что хороших пьес они не знали вовсе. Все, что развлекало их, — плохое или хорошее, — вполне их устраивало, а развлекало их все, что походило на пьесу. И поэтому любая пьеса, какой бы скверной она ни была и как бы скверно ни разыгрывали ее артисты, постоянно завершалась неумолкающими аплодисментами. А затем повсюду в партере раздавался один и тот же вопрос: «Ну, как вам понравилось сегодняшнее представление?» И на него следовал один и тот же ответ: *«Необыкновенно хорошее!»*

Хотя наших дражайших и благосклонных читателей уже ничем и не удивишь, рассказывая об идиотизме этих фракийских Афиин, мы все же опасаемся, что упомянутая сейчас характерная для них черта покажется необычайной и маловероятной, если мы не объясним, каким же образом абдериты при столь большой любви к драматическим представлениям дошли до такой безграничной *драматургической апатии* или даже *гедипатии* ¹. Всякая жалкая пьеса не только не вызывала у них отвращения, а, напротив, именно потому, что она плохая или же почти плохая, считалась у них хорошей.

Да позволено будет нам, разрешая загадку, сделать небольшое отступление по поводу абдерских театральных дел. Однако мы заранее вынуждены просить благосклонных и здравомыслящих читателей об одной небольшой милости, которая, впрочем, впоследствии понадобится им больше, чем нам. То есть, мы просили бы читателей, чтобы, вопреки всем внушениям злого духа, они не воображали, будто за чужими именами здесь идет речь об акте-

* Путаница (лат.).

рах и зрителях их *любезного отечества*. Мы, правда, не отрицаем, что вся история абдеритов в определенном отношении обладает двойным смыслом. Но без ключа к разгадке *скрытого* смысла, который наши читатели получают от нас же, они подвергаются постоянной опасности делать ложные истолкования. А до той поры мы просим их

Per genium, dextramque, deosque penates*

воздержаться от всяких посторонних и недружелюбных замечаний и все, что следует далее, читать с таким же расположением духа, с каким бы они читали старое или новое беспристрастное историческое повествование.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Более подробные сведения об абдерском национальном театре. Вкус абдеритов. Характер номофилакса Грилла

Решив создать постоянный театр, абдериты из патриотических целей постановили, что он должен быть *национальным театром*¹. А так как нация в своем большинстве состояла из абдеритов, то театр неизбежно должен был сделаться *абдеритским*. И в этом, конечно, была первая неискоренимая причина всего зла.

Глубокое почтение, оказываемое ими священному городу Минервы² как своей предполагаемой прародине, привело к тому, что пьесы всех афинских поэтов пользовались у них большим авторитетом, и не потому, что они были хороши (это было не всегда так), а просто потому, что они *были афинскими*. И поначалу из-за недостатка в отечественных пьесах почти ничего другого и не ставилось в театрах. Но тогда абдериты ради вящей славы города и республики Абдерской, а также для прочей многообразной пользы сочли нужным завести свою собственную *фабрику комедий и трагедий* и, как подобает добрым и мудрым правителям, поощрять развитие этой поэтической мануфактуры, в которой в драматической форме могли бы быть обработаны для собственного домашнего употребления абдеритское остроумие, абдеритские чувства, абдеритские нравы и глупости, равно как и многие другие *национальные продукты*. Осуществить это за счет общественной казны было невозможно по двум причинам: во-первых, потому, что она была тощая, а, во-вторых, потому, что в те времена еще не стало модой заставлять платить зрителя за посещение театра, а напротив, казна и без этого нововведения не-сла уже достаточные расходы по содержанию театрального дела. Обложить бюргерство новым налогом — об этом нельзя было и думать, пока не выяснится, придется ли абдеритам по праву новое увеселение. Итак, не оставалось никакого иного средства, как *поощрять абдерских поэтов за счет общественного вкуса города*, то есть все товары, получаемые от них даром, принимать

* Гением, правой рукой заклиная, пенатами всеми (лат.)².

с благодарностью по старой поговорке — «Дареному коню в зубы не смотрят»; или, как говорили абдериты, — «Бесплатная еда — всегда вкусна». Слова Горация о Риме его эпохи — *Scribimus indocti doctique poemata passim*^{1*} в высшей степени подходили и к Абдере. И так как написать пьесу считалось для всякого человека заслугой, и притом не связанной решительно ни с каким риском, то трагедии писал каждый, кто обладал достаточной силой легких и мог пробубнить в высокопарнейших стихах десяток кое-как связанных мыслей. Каждый пошлый шутник, обычно веселивший абдеритов грубыми шутками на пирушках и в трактирах, стремился теперь со сцены заставить их надрывать от смеха животики.

Подобная патриотическая снисходительность к продуктам национальной музыки вызвала естественные следствия, углубившие и затянувшие это зло. Хотя молодые абдерские патриции-щеголи были пустоголовыми, ветреными, спесивыми, невоспитанными, невежественными, не способными ни к какому делу людишками, тем не менее очень скоро нашелся среди них один, кто, быть может, подстрекаемый своей возлюбленной, прихлебателями или самомнением, вообразил, что только от него зависит сравняться в драматической славе с прочими поэтами. Эта первая попытка увенчалась таким блестящим успехом, что у Блеммия, племянника архонта Онолая⁴, юноши семнадцати лет и известного олуха (нередкое явление в семье архонта!) неодолимо зачесались руки сострять *козлиное действие*⁵, как в те времена именовалось зрелище, которое мы теперь прозвали трагедией. Никогда еще со времен основания Абдеры на фракийской земле не появлялось более глупого произведения национальной музыки. Но автор был племянником архонта и, следовательно, его произведение — безупречным. Амфитеатр ломился от зрителей настолько, что молодые люди вынуждены были сидеть на коленях у прекрасных абдериток, а простолоудины взбирались на плечи друг другу. Все пять актов абдериты не сводили глаз со сцены в полной тишине, вслушиваясь в текст с выражением глупого ожидания; зевали, вздыхали и... все же слушали. А когда, наконец, наступил долгожданный финал, раздались такие оглушительные аплодисменты, что некоторые маменькины сынки, обладавшие нежными нервами, даже потеряли слух.

Теперь стало ясно, что написать трагедию совсем нетрудно, ведь даже юный Блеммий преуспел в этом. Отныне каждый был уверен в себе. И делом чести любой семьи, любого порядочного дома считалось иметь сына, племянника, зятя или двоюродного брата, который осчастливил бы национальный театр каким-нибудь «козлиным действием» или же, по крайней мере, небольшим зингшпилем⁶. А что стоила такая заслуга на самом деле — это никого не интересовало. Хорошее, посредственное и убогое — все принималось без разбору. Для поддержки плохой пьесы не требовалось никаких хитростей. Все рассыпались друг перед другом во взаимных любезностях. И так как сии господа все равно уже обладали ослиными ушами, то никому не приходило в голову тихо шепнуть соседу: *Auriculas asini Mida rex habet*^{**}.

* Мы же, учен, пеучен — безразлично поэмы все пишем (лат.)³.

** У царя Мидаса ослиные уши⁷.

Легко себе представить, что при такой терпимости *подобное искусство* не могло похвалиться большими успехами. Да и что было за дело абдеритам до искусства? Гораздо полезней для спокойствия города и всеобщего удовольствия сохрывать в таких делах тишь да гладь.

— Вот где можно убедиться, как важно правильно взяться за дело! — говаривал обычно архонт Онолай. — Театральные зрелища, постоянно вызывающие в Афинах самые гнусные раздоры, в Абдере соединяют всех для совместного наслаждения и самого невинного досуга. Люди идут в театр и развлекаются, кто как может, смотря пьесу, или разговором с соседкой, или же мечтая и видя сны, — что кому нравится. А затем аплодируют, каждый идет довольный домой и... спокойной ночи!

Мы уже говорили выше, что абдериты так носились со своим театром, что в обществе почти ни о чем ином и не говорили. Но, рассуждая о пьесах, спектаклях и актерах, они вовсе не стремились выяснить, что в них было достойно одобрения или упрека. Ибо, нравилась им пьеса или нет, это, по их мнению, всецело зависело от их *доброй воли*, и, как было сказано, они словно однажды заключили между собой молчаливый уговор — *поощрять* продукты своей отечественной драматической мануфактуры.

— Вот что значит поощрять искусства! — утверждали они. — Еще двадцать лет назад у нас было всего два-три поэта, на которых никто не обращал внимания, разве что только в дни рождения и бракосочетания знатных особ. А теперь уже десять или двенадцать лет мы имеем собственный театр, располагаем в общем шестьюстами пьесами разных размеров, возникшими на абдерской почве.

Болтовня об актерах нужна им была лишь для того, чтобы взаимно осведомиться, была ли вчерашняя пьеса хорошей, и ответить друг другу — «Да, необыкновенно хороша!»; и чтобы узнать, в каком платье выступала актриса, игравшая Ифигению или Андромаху⁸ (ибо в Абдере женские роли исполнялись актрисами⁹, что было не так уж плохо). И все это давало затем повод для множества небольших любопытных замечаний, суждений и возражений о нарядах актеров и актрис, их голосе, осанке, походке, манере держать голову и жестиковать и для множества других высказываний подобного же рода. Иногда, разумеется, говорили и о самой пьесе, о ее музыке и ее *речах* (как они называли поэзию), то есть каждый говорил о том, что ему более всего понравилось; предпочитали преимущественно *чувствительные и возвышенные* места; критиковали то или иное *выражение, слишком низменное слово*, находили преувеличенным или же непристойным какое-нибудь движение души. Но критика заканчивалась вечным абдеритским припевом: «Тем не менее, это все-таки необыкновенно хорошая пьеса... и весьма поучительная!» — «Прекрасная мораль!», — говорил обычно толстый коротышка-советник. И всегда оказывалось, что пьесы, которые он, сияя блаженством, восхвалял, были как раз самые дрянные.

Вероятно, читатели подумают: поскольку особые абдеритские правила о поощрении всех отечественных пьес без разбору, вне зависимости от их значения и достоинства, не распространялись на пьесы иностранные, то несравненные достоинства афинских драматургов и разница между каким-ни-

будь Астидамом¹⁰ и Софоклом уже сами по себе должны были бы в какой-то мере содействовать воспитанию вкуса абдеритов и наглядно показать им различия между хорошим и плохим, превосходным и посредственным, и особенно между природным талантом и пустой претенциозностью, между бодрой, размеренной и сдержанной поступью истинного мастера и ковыляньем на ходулях или же вприпрыжку, прихрамыванием и жалким ползанием подражателей. Однако для этого нужно прежде всего обладать вкусом, который невозможно выработать в себе никаким искусством и образованием, если не имеешь природных задатков, *определенной тонкости души, способной ощущать прекрасное*. И в начале этой истории мы сразу же заметили, что природа, по-видимому, начисто лишила абдеритов этой способности. Им было все одинаково по вкусу. На их столах можно было встретить мастерские создания гения и остроумия рядом с жалкими поделками пошлейших умов, ремесленной работой самых убогих неучей. Различия в таких вещах объяснить было им бесполезно. И ничего не было легче, как возвышенную оду Пиндара выдать абдериту за первый опыт какого-нибудь новичка в поэзии и, наоборот, самую бессмысленную пачкотню, если она только имела форму песни в строфах и антистрофах¹¹, за произведение Пиндара. Поэтому при каждом новом произведении, с которым им приходилось сталкиваться, они прежде всего всегда задавали вопрос: «Кто автор?» И можно привести сотни примеров, когда превосходнейшие произведения они воспринимали равнодушно, пока не узнавали, что они принадлежат знаменитым мастерам.

Ко всему этому прибавлялось еще одно обстоятельство. Номофилакс Грилл, сын Киниска, принимавший самое деятельное участие в учреждении национального театра, и оберинспектор всего их театрального дела, притязал на славу великого музыканта и первого композитора своего времени — притязание, не оспаривавшееся услужливыми абдеритами потому, что он был *весьма популярным человеком*, и потому, что все его композиционное искусство заключалось в небольшом количестве сочиненных им мелодий, пригодных для любого текста и легко запоминавшихся.

Предметом особой гордости Грилла была его *быстрота*, с которой он сочинял.

— Ну, как вы находите мою «Ифигению», «Гекубу», «Алкесту»¹² (или еще что-нибудь в этом роде), а?

— О, потрясающе, господин номофилакс!

— Не правда ли? Какое законченное музыкальное произведение! Какая певучая мелодия! Хе-хе-хе! И как вы думаете, сколько времени я это сочинял? Посчитайте-ка. Сегодня у нас 13-е... 4-го утром, в 5 часов... Вы знаете, я встаю рано, сажусь за пульт и начинаю... А вчера ровно в 10 часов поутру я закончил. Ну вот и посчитайте-ка: 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го — как видите, неполных девять дней, и из них два дня заседаний, а два или три такие, когда я был в гостях, не считая прочих дел... Гм! Что вы скажете? Это ли не проворная работа? Я говорю это совсем не из тщеславия. Но поверьте, бьюсь об заклад, ни один композитор во всей европейской и азиатской Греции не сочинит мелодию быстрее, чем я. Мелочь! Но таким дарованием обладаю только я! Хе-хе-хе!

Мы надеемся, что наши читатели теперь живо представляют себе этого человека, и если у них есть некоторая склонность к музыке, то они могут вообразить, что он уже им прокрутил на шарманке всю свою «Ифигению», «Гекубу» и «Алжесту».

Кроме того великий человек имел еще одну небольшую слабость: хорошей музыкой он считал только свою. Ни один из лучших композиторов Афин, Фив, Коринфа не приходился ему по вкусу. Даже знаменитого Дамона, чья приятная, оригинальная музыка очаровывала всех и за пределами Абдеры, он называл в кругу своих знакомых *сочинителем площадных песенок*. При таком образе мыслей и необыкновенной легкости, с какой он метал свою музыкальную икру, Грилл всего за несколько лет написал музыку к более чем шестидесяти пьесам знаменитых и не знаменитых афинских драматургов, — ибо национальные продукты абдеритской музы он отдавал на откуп большей частью своим ученикам и подражателям, и ограничивался лишь просмотром их работ. Как можно предполагать, его выбор падал не на лучшие пьесы. По крайней мере, половина из них были выпрепными подражаниями Эсхилу или же безвкусными фарсами, балаганными пьесами, написанными специально для развлечения черни. Но как бы то ни было, раз *номофилакс*, глава города, *сочинил* к ним музыку, то они, следовательно, встречались бурными аплодисментами. И несмотря на то, что зрителей от частого повторения одолевала такая зевота, что можно было вывихнуть челюсти, тем не менее по выходе из театра они для взаимного утешения уверяли друг друга: «А ведь пьеса необыкновенна хороша и музыка к ней просто великолепна!»

И таким образом у *этих грецизирующих фракийцев* все было направлено не только против всех видов и степеней прекрасного, но и против коренного различия между хорошим и дурным. Все вело к возникновению того *механического безразличия*, которым они похвалялись как *ярко выраженной национальной чертой* перед другими цивилизованными народами; безразличия тем более странного, что оно, вопреки всему, оставляло им способность рассуждать порой о действительно прекрасном весьма причудливым образом, как в этом можно будет скоро убедиться на одном удивительном примере.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

К истории абдерской литературы. Сведения о первых драматических поэтах — Гиперболе, Параспазме, Антифиле и Флапсе

При всем очевидном равнодушии, снисходительности, апатии и гедипатии, — называйте как хотите, — абдеритов все же не нужно представлять себе людьми, лишенными *всякого вкуса*. Ибо и они имели свои пять чувств и притом в полном комплекте. И хотя в силу указанных обстоятельств они находили *необыкновенно хорошим* решительно все, однако было и такое, что нравилось

им больше другого. Таким образом, у них были свои любимые пьесы и любимые поэты, как и у прочих людей.

Во времена, когда у них приключилась маленькая неприятность с врачом Гиппократом, среди множества профессиональных драматургов в Абдере двое пользовались особенно большой благосклонностью публики. Один сочинял трагедии и пьесы, называемые теперь *комическими операми*; второй, по имени Флапс,— род пьес некоего среднего жанра, от которых зрителю было и не весело и не грустно. Он был изобретателем этих драм, и по его имени они назывались *флапседиями*.

Первый из них был тот самый Гипербол, о котором уже упоминалось в начале этой истинной и правдоподобной истории как о знаменитейшем абдерском поэте. Он, правда, отличался также и в прочих жанрах. Чрезвычайная любовь к нему земляков обеспечила ему во всем первенство. И именно благодаря такому преимуществу он заслужил высокопарное прозвище *Гипербол*, настоящее же его имя было Гегесий. Причина, почему этот человек пользовался таким особенным счастьем у абдеритов, была самая естественная на свете, то есть та же самая, по которой он и его творения во всяком другом месте, кроме Абдеры, были бы непременно освистаны. Среди всех поэтов именно в нем наиболее живо проявлялся дух Абдеры с ее глупостями и отклонениями от прекрасных форм, пропорций и линий; именно с ним более всего чувствовали свое духовное родство все прочие; он всегда делал все точно так, как это сделали бы другие, постоянно угадывал их мысли, точно знал, когда и где нужно пощекотать нервы зрителей, короче, поэт в их вкусе! И не потому, чтобы он был чрезвычайно умен или же обладал какими-нибудь специальными знаниями, а исключительно по той причине, что среди всех своих собратьев по Марсию¹ он более прочих был... абдерит! Можно было с уверенностью ожидать, что он всегда истолкует любую вещь самым превратным образом; что он обнаружит сходство между двумя предметами как раз в том, в чем состоит их различие; будет сохранять торжественное выражение лица там, где разумный человек смеется, а засмеется там, где это могло бы прийти в голову только абдериту и так далее. Человек, являвшийся столь совершенным воплощением абдеритского гения, мог, естественно, стать в Абдере всем, чем угодно. Он был также ее Анакреонтом и ее Алкеем, ее Пиндаром, ее Эсхилом, ее Аристофаном, а с недавнего времени он трудился над *национальной героической эпопеей* в сорока восьми песнях, названной «*Абдериада*», к великой радости всех абдеритов. «Ибо,— говорили они,— единственное, чего нам не хватает, так это только собственного Гомера. И если Гипербол напишет свою «Абдериаду», то мы будем иметь сразу в одном произведении и «Илиаду» и «Одиссею»². И пусть тогда прочие греки осмелятся смотреть на нас с презрением, если только у них есть чувства! Какой из наших поэтов не смог бы сравниться с греками?»

Однако главным призванием Гипербола была трагедия. Он изготовил их сто двадцать штук, больших и малых — достоинство уже само по себе выдающееся в глазах народа, который ценил во всем лишь количество и объем. Ибо никто из его соперников не мог похвастать даже и третьей частью этого числа. Несмотря на то, что абдериты из-за выспренности его стиля называли

Гипербола своим Эсхилом, он немало кичился собственной оригинальностью.

— Найдите в моих произведениях, — говорил он, — хоть один характер, хоть одну идею, одно чувство, выражение, которые я позаимствовал бы у другого поэта!

— Или у природы, — добавил Демокрит.

— О, — воскликнул Гипербол. — В этом я могу с вами согласиться без особого ущерба для себя. Природа! Природа! Люди постоянно болтают о природе, а в конце концов не знают, чего и хотят. Низменная природа — а ведь ее вы и имеете в виду, — относится к комедии, к фарсу, флапседии, если вам угодно. Но трагедия должна быть выше природы, или в противном случае я и гроша за нее не дам.

Его трагедии отвечали этому идеалу в полной мере. Ни один реальный человек не выглядел, не думал, не чувствовал и не поступал так, как действующие лица Гипербола. Но именно это и нравилось абдеритам, и поэтам из иностранных поэтов они меньше всего любили Софокла.

— Сказать откровенно, — признался как-то Гипербол в одном благородном обществе, где рассуждали на эту тему, — я никогда не мог понять, что находят выдающегося в «Эдипе» или «Электре» Софокла и особенно в его «Филокете»³? Последователь такого возвышенного поэта, как Эсхил, он неизмеримо уступает ему! *Аттическая светскость*, да, пожалуй, этого я у него не оспариваю. Светскости сколько хотите! Но огненная лава страсти, мысли, озаряющие, подобно молниям, раскаты грома, смерть, сметающий все на своем пути, короче, титаническая сила, орлиный полет, львиный рык, буря и натиск, свойственные истинно трагическому поэту, где они у него?

— Вот что значит рассуждать о деле как мастер! — заметил один из присутствовавших.

— О, в таких делах вы можете вполне положиться на суждение Гипербола! — воскликнул другой. — Ему ли не понимать!

— Он сочинил сто двадцать трагедий! — прошептала одна абдеритка на ухо иностранцу. — Это первый драматург Абдеры!

Тем не менее двум его соперникам, ученикам, посчастливилось поколебать трон царя трагедий, на который возвело Гипербола всеобщее одобрение.

Одному — при помощи пьесы, в которой герой сразу же в первой сцене первого акта *убивает своего отца*, во втором — *женится на своей родной сестре*, в третьем — *узнает, что сестру родила от него его мать*, в четвертом — *он сам отрезает себе уши и нос*, а в пятом — героя, *отравившего мать и удавившего сестру, увлекают фурии в ад при раскатах грома и блеске молний*⁴.

Второму поэту удалось превзойти Гипербола посредством «Ниобы»⁵. Кроме множества «Ай-ай! Ой-ой! Увы, увыв!» и нескольких богохульств, от которых у зрителей становились волосы дыбом, вся пьеса состояла из чисто *внешнего действия и пантомимы*. Обе драмы произвели ошеломляющий эффект. Никогда еще со времен основания Абдеры носовые платки не утирали столько слез.

— Нет, это невыносимо, — говорили, рыдая, прекрасные абдеритки.

— Бедный принц! Как он вопил, как он катался по полу!

— А его монолог, когда он отрезал нос!

— А фурии! — вскричала третья. — Я четыре недели подряд не могла заснуть.

— Действительно, это было ужасно! — соглашалась четвертая. — Но бедная Ниоба! Как стояла она, одинокая, посреди нагроможденных друг на друга трупов ее детей, вала на себе волосы и посыпала ими еще теплые тела. А затем несчастная бросается на них, словно хочет оживить детей и в отчаянии подымается вновь, вращая очами, подобно пламенным колесам, разрывает себе ногтями грудь и с ужасными проклятиями воздевает окровавленные руки к небу... Нет, такого *трогательного* зрелища еще не видел свет! Что за человек этот Параспазм⁶, и какой талант надо иметь, чтобы создать такую сцену!

— Ну, что касается таланта, — возразила прекрасная Салабанда, — то мы еще посмотрим. Сомневаюсь, оправдает ли Параспазм надежды, которые на него возлагают. Большие хвастуны — плохие бойцы.

Прекрасную Салабанду считали женщиной, которая ничего не говорила без достаточного основания. И это обстоятельство привело к тому, что «Ниоба» Параспазма на втором представлении и наполовину не произвела прежнего впечатления. Даже впоследствии поэт не мог оправиться от удара, нанесенного ему Салабандой одним только словом.

Несмотря на это, Параспазму и его другу Антифилу⁷ всегда будет принадлежать честь нового подъема трагедии в Абдере, а также изобретения двух новых жанров — *мрачной и пантомимической драмы*, открывших более надежный путь к славе для абдеритских поэтов. Ибо, действительно, ничего нет легче, чем... пугать детей и заставлять своих героев от сильных переживаний совсем лишаться языка.

Но поскольку людское непостоянство слишком быстро пресыщается даже и самым приятным новшеством и абдеритам наскучило ежедневно находить прекрасным то, что уже давно им приелось, молодой поэт *Флапс* пришел к мысли ввести в театральный обиход пьесы, которые не были бы ни комедиями, ни трагедиями, ни фарсами, а своего рода живыми картинами абдеритских *семейных нравов*; пьесами, где выступали бы не герои, не глупцы, а просто честные и заурядные абдериты, занимающиеся своими повседневными городскими, рыночными, домашними и семейными делами и действовали и говорили бы на сцене перед почтенной публикой так, словно они дома и никого на свете, кроме них, и не существует. Легко заметить, что это был примерно тот же самый жанр, в котором впоследствии стяжал себе немалую славу Менандр⁸. Различие заключалось лишь в том, что последний выводил на сцене *афинян*, а первый — *абдеритов*, а также в том, что грек был *Менандром*, а тот — *Флапсом*. Но так как подобное различие для абдеритов ничего не значило или, верней, даже послужило на пользу Флапсу, то его первая пьеса^{1*} в этом жанре была принята зрителями с беспрецедентным восхищением. Честные абдериты впервые увидели сами себя на сцене *in puris naturalibus*.

^{1*} Она называлась «Евгамия⁹, или Четырехкратная невеста». Евгамия была обещана в жены отцом одному человеку, матерью — другому, теткой, заинтересованной в ее последствие, — третьему. В конце концов девушка сама себе втихомолку нашла четвертого жениха.

bus^{1*}, изображенными не карикатурно, без ходуль, без львиных шкур и геркулесовых палиц, без скипетров и диадем, в своей обычной домашней одежде, разговаривающими на обиходном языке, живущими по своему природному своеобразному абдеритскому обычаю, едящими и пьющими, женящими и женящимися, и как раз это и доставило им великое удовольствие. Подобно молодой девушке, впервые увидевшей себя в зеркале, они не могли достаточно налюбоваться собой. «Четырехкратная невеста» была сыграна двадцать четыре раза подряд, и длительное время абдериты не желали смотреть в театре ничего, кроме *флапседий*. Флапс, сочинявший не так быстро, как Гипербол и номофилакс Грилл, не мог вполне удовлетворить публику. Но так как он уже задал тон своим собратьям по перу, то в подражателях не было недостатка. Все кинулись на новый жанр и менее чем за три года все возможные сюжеты и заглавия флапседий были настолько исчерпаны, что и в самом деле было жалко смотреть на *муки бедных поэтов*, на то, как они тужились и пыжились, чтобы, исходя потом, выжать из губки, уже выжатой многими до них, еще одну каплю мутноватой водички.

Естественным следствием такого положения было то, что равновесие восстановилось. Абдериты, испытавшие вначале по довольно распространенному человеческому обыкновению невероятное влечение к новому жанру, пришли, наконец, к выводу, что противодействовать однообразию и скуке лучше всего переменной и многообразим пьес. Трагедии обычные, мрачные и пантомимические, комедии, оперетты и фарсы опять пошли в ход. Номофилакс сочинил музыку к трагедиям Еврипида; а Гиперболу (особенно потому, что в голову его засело желание стать *абдерским Гомером*) не оставалось ничего лучшего, как разделять благосклонность абдерского партера с Флапсом, тем более что тот женился на племяннице одного главного цехового старшины и с недавнего времени стал важной особой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Достопримечательный пример хорошего национального хозяйства абдеритов. Заключение рассказа об их театре

Прежде чем покончить с этим отступлением и вернуться к нашей истории, необходимо рассеять небольшое сомнение благосклонного читателя, быть может, возникшее у него при знакомстве с очерком абдерских театральных дел.

Непонятно, могут сказать, каким образом общественная казна Абдеры, поступления в которую не могли быть значительными, позволяла себе длительное время такой ощутимый побочный расход, как ежедневные театральные представления со всеми их статьями. Допустим даже, что поэты служи-

* В натуральном виде (лат.).

ли государству из чистого патриотизма, не получая вознаграждения. Но если предположить и это обстоятельство, то покажется почти невероятным, чтобы в Абдере имелось столько профессиональных драматургов и чтобы великий Гипербол при всем своем патриотизме и самохвальстве мог сочинить до 120 пьес.

Чтобы не держать читателя в недоумении, мы откровенно признаемся, что абдеритские драматические поэты трудились не бесплатно (ибо справедливость великого закона природы — «Если вол молотит, то и есть просит» — чувствовали даже абдериты). Благодаря особой финансовой операции государственная казна собственно не несла никаких новых расходов по театру, а издержки эти большей частью покрывались за счет прочих более *важных и нужных финансовых статей*.

Дело обстояло следующим образом. Едва покровители театра заметили, что абдериты загорелись и театральные зрелища стали для них необходимой потребностью, они не замедлили объявить народу через цеховых старшин, что казна не в состоянии вынести такое огромное увеличение расходов без новых источников обложений или взысканий. Это и вызвало учреждение комиссии, которая после шестидесяти платных заседаний представила, наконец, совету общий проект театрального дела в Абдере. Его нашли столь основательным и обдуманным, что он тотчас же был принят народным собранием граждан как один из *основных законов города*.

Мы сочли бы за удовольствие представить нашим читателям это мастерское абдеритское произведение, будь мы достаточно уверены в их терпении. Если же какая-нибудь община или государство в Священной Римской империи¹ или вне ее пределов заинтересуется сим документом, то мы готовы переслать его по первому требованию бесплатно с возмещением лишь расходов по его переписке. Все, что возможно в данном случае сообщить, это следующее. Благодаря такой мере были изысканы sine aggravio Publici * достаточные суммы для того, чтобы «обслуживать абдеритов четыре раза в неделю театральными представлениями, вознаграждать достойным образом поэтов, актеров и оркестр, а также господ членов комиссии и номофилакса. Сверх того довольствоваться оба низших класса зрителей при каждом представлении фунтом хлеба и двумя сушеными фигами». Единственный недостаток этого прекрасного установления заключался в том, что господа из комиссии, бухгалтерские способности которых были общепризнанными, тем не менее ошиблись в подсчете доходов и расходов на 18 000 драхм (примерно 2500 талеров нашими деньгами). И они должны были быть оплачены казной свыше предназначенного для данной цели капитала. Да, это была, конечно, не мелочь! Однако отцы города наострились так гладко и bona fide ** управлять государственными финансами, что только по истечении нескольких лет выяснилась причина дефицита казны в 2500 талеров. Обнаружив его с великим трудом, отцы города сочли необходимым сообщить об этом народу и для вида взыскать недостачу с театра. Но абдериты так ополчились против предло-

* Без ущерба для публики (лат.).

** Со спокойной совестью (лат.).

жения, словно их собрались лишить огня и воды. Короче, был устроен *плебисцит*, решивший, чтобы в пользу театра отчислять два с половиной таланта², ежегодно поступавших на хранение в национальную сокровищницу при храме Латоны. И того, кто в будущем осмелится требовать упразднения театральных зрелищ, считать отныне врагом города Абдеры.

Абдериты полагали, что разрешили дело весьма мудро и очень гордились перед иностранцами тем, что содержание театра стоит им ежегодно 80 талантов (80 000 талеров), а гражданам — ни гроша.

— Все дело в умелом распоряжительстве, — говорили они. — Зато у нас и национальный театр — лучший в мире!

— Великая правда! — соглашался Демокрит. — Такие поэты, такие актеры, такая музыка четыре раза в неделю и все это за 80 талантов! Мне, по крайней мере, нигде не приходилось этого видеть!

Следует им отдать должное, их театр мог считаться одним из великоленнейших в Греции. Правда, для того, чтобы его построить, они вынуждены были уступить македонскому царю лучшую должность в городе. Но так как царь обещал, что лицо, исполнявшее обязанности писаря и казначея, будет всегда назначаться из числа абдеритов, то ни у кого это и не вызвало возражений.

Мы просим извинения у читателя за пространные сведения об абдерском театре. Между тем время театрального представления уже наступило, и мы без промедления переносимся в амфитеатр сей достославной республики, где благосклонный читатель может занять место по своему желанию: либо рядом с толстым коротышкой-советником, либо около жреца Стробила или же болтуна Антистрепсиада, или же по соседству с прекрасными абдеритками, с которыми мы уже его познакомили в предыдущих главах.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Представление «Андромеды» Еврипида. Огромный успех номофилакса, и как этому содействовала певица Евколпис. Несколько замечаний о прочих актерях, хорах и декорациях

В этот вечер играли «Андрому» Еврипида, одну из 60 или 70 драм поэта, от которых уцелели лишь небольшие отрывки¹. Абдериты, сами не зная почему, питали глубокое почтение к Еврипиду и всему, что было связано с его именем. Различные трагедии поэта или собственно зингшпили ставились часто, и зрители всегда находили их *необыкновенно хорошими*. «Андромеда», одна из новейших пьес, впервые представлялась на абдерской сцене. *Номофилакс* написал для нее музыку и (как довольно громко сообщил он своим друзьям по секрету) на сей раз превзошел самого себя, то есть вознамерился показать все свое искусство сразу, но при этом как-то совсем неза-

метно упустил из вида славного Еврипида. Коротко говоря, господин Грилл писал музыку *к самому себе*, вовсе не заботясь о том, делает ли его музыка бессмысленным текст, или текст — музыку, что как раз менее всего беспокоило и абдеритов. Одним словом, она произвела *большой шум*, в ней содер­жались — по уверению его братьев, свояков, зятьев, клиентов и домашних слуг (главных знатоков) — весьма *возвышенные и трогательные места* и была встречена явным и громким одобрением. Нельзя сказать, чтобы даже в Абдере не встречались люди, обладавшие несколько более тонким слухом или слыхавшие музыку и получше грилловой. С глазу на глаз они признава­лись, что номофилакс со всеми его претензиями слыть Орфеем просто шар­манщик, а лучшее из его произведений всего-навсего трескотня, *лишенная вкуса и смысла*. Эти немногие даже осмелились однажды громко возвестить публике о своем инакомыслии, но почитатели *грилловой музы* встретили их так злобно, что ради своего спасения они сочли за лучшее со временем *под­чиниться большинству*. И, увы, эти господа были как раз те, что аплодирова­ли раньше и громче всех в самых жалких местах спектакля.

Оркестр на этот раз приложил все усилия, чтобы оказаться на высоте своего музыкального руководителя.

— *Ну и задал же я им работы!* — говорил Грилл и, по-видимому, очень гордился тем, что у бедняг-оркестрантов уже во втором акте не было и су­хой нитки на теле.

Заметим мимоходом, что абдерский оркестр готов был потягаться с орке­стром любого города. Во-первых, как сообщали иностранцам, он состоит из ста двадцати человек. «Афинский же, — обыкновенно прибавляли абдериты значительным тоном, — имеет только восемьдесят человек, а со ста двадца­тью можно, конечно, кое-чего добиться!..» И, действительно, среди этого множества не было недостатка в способных людях, из которых иной руко­водитель (но такого не было и не могло быть в Абдере) сделал бы нечто вы­дающееся. Но какая польза была от них для музыкального искусства Абде­ры? Ведь на совете богов уже раз и навсегда было решено, чтобы во фракий­ских Афинах ни одна вещь не соответствовала своему назначению и не су­ществовало бы ничего *правильного и совершенного*. Поскольку люди мало получали за свои труды, то от них многого и не требовали; и раз уж доволь­ствовались тем, что каждый делал свое дело, *как мог, то никто и не делал его так хорошо, как мог*. Наиболее искусные становились ленивыми, а находив­шиеся на полпути к искусству теряли желание и возможность продвигаться дальше. И к чему добиваться совершенства ради абдеритских ушей? Разуме­ется, и *ненавистные иностранцы* имели уши, но они не пользовались ника­ким влиянием. К тому же иностранцы не находили нужным вмешиваться в музыкальные дела или были слишком вежливы и политичны, чтобы восста­вать против абдеритского вкуса. Номофилакс при всей своей глупости все же и сам видел, как, впрочем, и другие, что дело обстоит не так, как следовало бы. Однако кроме того, что у него отсутствовал вкус или (что то же самое), находя не по вкусу все, что не изготовил он сам, номофилакс постоянно ошибался в средствах улучшения, был слишком ленив и не обладал достаточ­ной гибкостью, чтобы относиться к людям должным образом. И когда порой

случалось, что его музыкальная дребедень не нравилась даже абдеритскому слуху, он, вероятно, и сам, страдая, сваливал всю вину на оркестр и заверял господ и дам, из приличия рассыпавшихся перед ним в комплиментах, что ни одна нота не была сыграна оркестром так, как он ее задумал и написал. Но все это был, так сказать, запасный выход на случай пожара. Ибо из высокомерного тона, с каким он говорил о любом другом оркестре и о своих заслугах перед оркестром абдерским, можно было заключить, что он настолько удовлетворен им, насколько мог быть удовлетворен вообще абдерский патриот-номофилакс.

Но как бы ни обстояло дело с музыкой и постановкой «Андромеды», очевидно, что уже давно ни одна пьеса так не нравилась публике. Певцу, исполнившему роль Персея, аплодировали так бешено, что на половине самой прекрасной сцены он сбился с тона и запел вдруг арию из «Киклопа»². *Андромеда* вынуждена была трижды повторить свой монолог в сцене, где она, покинутая всеми своими друзьями и отданная на произвол ярости nereид, лежит скованная и ожидает появления чудовища. Номофилакс не мог скрыть радости по поводу столь блистательного успеха. Он начал обходить ряды зрителей, принимая дань похвал, раздававшихся изо всех уст. И, благодаря за оказанную ему великую честь, признавался, что ни одной из своих вещей (как он скромно называл свои оперы) он не был так удовлетворен, как этой.

Однако справедливости ради он должен был бы приписать, по крайней мере, половину успеха певице Евколипс³, которая, правда, и прежде умела нравиться публике, но в роли Андромеды нашла возможность показать себя в таком выгодном свете, что молодые и пожилые господа Абдеры не могли наглядеться на нее... досыта. Ибо здесь можно было увидеть столько, что слушать уже было необязательно. Евколипс обладала крупной стройной фигурой, правда, несколько более полной, чем требовала афинская красота. Но в этом отношении (как и во многих прочих) абдериты были истинными фракийцами, и девушка, из которой сикионский ваятель сделал бы две статуи, считалась у них идеалом стройной нимфы. Так как Андромеда должна была быть одета в прозрачные одежды, то Евколипс, отлично зная, в чем заключается сила ее очарования, придумала облечься в одежды из *розовой косской материи*, которая, не очень оскорбляя чувство приличия, позволяла зрителям видеть почти все ее прелестные формы. Так почему же в таком случае не считать ее и хорошей певицей? Музыка могла быть и в десять раз более пошлой, а пение артистки таким же фальшивым — ее все равно вызывали бы и она повторяла бы монолог, потому что это был приличный повод, чтобы как можно дольше... оцупывать ее похотливыми взорами.

— Поистине, клянусь Юпитером, великолепная пьеса! — проговорил один из зрителей, прищуриив глаза. — Несравненная пьеса! Не находите ли вы, что Евколипс поет сегодня как богиня?

— Неотразимо! Клянусь *Анубисом*, Еврипид словно специально для нее написал пьесу.

Молодой человек, произнесший эти слова, имел обыкновение клясться *Анубисом*, чтобы показать, что он был в Египте.

Дамы, легко догадаться, не находили Андромеду такой чудесной, как мужчины.

— Неплохо! Весьма мило! — говорили они. — Но почему так неудачно распределили роли? Пьеса многое потеряла. Роли следовало переменить и толстой *Евколлис* дать роль матери. Она великолепно подошла бы для *Кассиопей*⁴.

В ее одежде, прическе и во всем прочем тоже находили немало недостатков. «Пояс к невыгоде своей она прицепила слишком высоко и очень его затянула». И особенно противной находили ее жеманную привычку — постоянно показывать «слишком маленькую ножку, которой она уж чересчур гордится», говорили абдеритки, скрывая свои ноги по противоположной причине. Тем не менее, все дамы и господа сходились на том, что она необыкновенно хорошо поет, и нет ничего милей, чем ария, в которой она оплакивает свою судьбу. *Евколлис*, хотя ее исполнение и никуда не годилось, обладала хорошим, звучным, гибким голосом. Но любимой певицей абдеритов она стала потому, что старалась довольно успешно подражать соловьиным рудам и трелям, которые настолько нравились ей самой и публике, что она их вставляла повсюду к месту и не к месту. В каком бы состоянии она ни находилась — смеялась или плакала, жаловалась или негодовала, — она все-таки всегда находила случай приспособлять свои соловьиные руды и была уверена в одобрении, хотя портила тем самым лучшие места арий.

Что касается прочих действующих лиц, представлявших Персея, первого любовника, Агенора, прежнего любовника Андромеды, отца, мать и жреца Нептуна, то их можно было бы критиковать за отдельные недостатки, но в целом они всем очень понравились. Персей был мужчина хорошего роста и обладал большим талантом для абдеритского... Петрушки. Его лучшей ролью был *Киклоп* в одноименной сатировой драме Еврипида.

— Он играет Персея прекрасно, — говорили абдеритки, — жаль только, что в нем все время неволью проглядывает *Киклоп*. *Кассиопей*, маленькая кривляка с фальшивыми ужимками, пела совершенно неестественным тоном; но с ней очень считалась супруга второго архонта — актриса умела петь в весьма забавной манере разные песенки и... следовательно, исполняла свою роль насколько могла хорошо. *Жрец Нептуна* ревел ужасным матросским басом, а *Агенор* пел так жалостно, как это и подобает второму любовнику. Впрочем, он пел не лучше, когда выступал в роли первого любовника. Но так как он хорошо танцевал, то пользовался своего рода привилегией — петь хуже. «Он прекрасно танцует», — всегда отвечали абдериты, когда кто-либо замечал, что его карканье невыносимо. Однако Агенор танцевал редко, а пел во всех зингшпилях и опереттах.

Чтобы полностью насладиться красотой этой «Андромеды», нужно вообразить себе еще два хора, один — *неренд*, а второй *подруг Андромеды*; оба хора состояли из *переодетых школьничков*, настолько неудачно изображавших женщин, что абдеритам (к их большому утешению) пришлось досыта посмеяться. Хор *неренд* производил особенно комичное впечатление благодаря всяким сценическим и музыкальным изобретениям номофилакса. *Неренды* с фальшивыми желтыми волосами и огромными бутафорскими грудями, напо-

минавшими издали туго набитые мячи, наполовину высывывались из воды. Симфония, под звуки которой выплывали эти морские чудища, была подражанием знаменитого «Брекек, коакс, коакс» в «Лягушках» Аристофана. Для полноты иллюзии господин Грилл использовал различные *коровьи рога*, время от времени звучавшие в оркестре, чтобы передать звуки трубящих в раковины тритонов.

О декорациях мы ради краткости скажем только, что абдериты нашли их *необыкновенно хорошими*. Особенно удивителен был закат солнца, который осуществили, поджигая длинные спички, расположенные в форме мельничного колеса. Эффект был бы сильней, если бы колесо вращалось более быстро. Когда Персей в своих сандалиях Меркурия взлетел над сценой, то *знатоки* выразили пожелание, чтобы тонкие веревки, на которых он висел, по цвету сливались бы с воздухом и не были бы так заметны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Странный эпилог, сыгранный абдеритами с одним чужестранцем, и в высшей степени неожиданное развитие событий

Едва представление закончилось и оглушительные аплодисменты немного смолкли, послышались обычные вопросы: «Ну, как вам понравилась пьеса?» А затем следовал обычный ответ. Один из молодых людей, слывший превосходным знатоком, обратился с этим великим вопросом к пожилому чужестранцу, сидевшему в средних рядах, и, судя по внешнему виду, человеку не простому. Чужестранец, вероятно, уже приметивший, как обычно отвечают в Абдере на такой вопрос, довольно быстро произнес свое «*Необыкновенно хорошо!*» Но поскольку выражение его лица заставляло несколько сомневаться в одобрении и при этом он невольно слегка пожал плечами, то молодой абдерит не позволил ему так легко отделаться.

— Кажется, вам пьеса не понравилась? А она ведь считается одной из лучших драм Еврипида.

— Пьеса неплоха, — ответил чужестранец.

— Так может быть вас что-то не устраивает в музыке?

— В музыке?.. О, что касается музыки, то такую музыку можно услышать только в Абдере.

— Вы очень учтивы! Действительно, наш номофилак великий мастер своего дела...

— Совершенно верно.

— Так, вероятно, вы недовольны актерами?

— Я доволен всем на свете.

— Мне кажется, что Андромеда сыграла свою роль прелестно.

- О, необыкновенно прелестно!
- И произвела большой эффект, не правда ли?
- Вам лучше знать. Я для этого уже недостаточно молод.
- Но, по крайней мере, согласитесь с тем, что Персей — великий актер?
- Действительно, хорошего роста мужчина!
- А хоры? Не делают ли они чести маэстро? Не находите ли вы, что он удивительно удачно ввел нереид?

Абдерит, кажется, начинал надоедать иностранцу.

— Я нахожу, — ответил тот с некоторой нетерпеливостью, — что счастливы абдериты, которым доставляют столько удовольствия подобные вещи.

— Сударь мой, — обратился молокосос насмешливо, — признайтесь же, что пьеса не имела ни чести, ни счастья заслужить ваше одобрение?

— Что вам до моего одобрения? *Решает большинство.*

— Вы правы. Но мне хотелось бы, исключительно удовлетворения ради, услышать, что именно вы могли бы возразить против нашей музыки или наших актеров?

— *Мог бы возразить?* — произнес чужестранец несколько поспешно, но тотчас же сдержался. — Простите, мне ни у кого не хотелось бы оспаривать его личного удовольствия. Сыгранная пьеса всем понравилась в Абдере. Чего же вы еще хотите?

— Видимо, не всем, если она не понравилась вам.

— Я чужестранец...

— Чужестранец вы или нет, но ваши доводы хотелось бы слышать. Хи-хи-хи! Ваши доводы, доводы ваши, сударь! Уж они-то не будут чужими и странными.

Чужестранец начинал терять терпение.

— Молодой человек, — сказал он, — я заплатил за свое присутствие в театре, ибо аплодировал так же, как и другие. Удовлетворитесь этим! Мне нужно уезжать, у меня дела.

— Ай-ай-ай! — вмешался в разговор другой молодой абдерит, прислушавшийся к беседе. — Неужели вы нас так скоро покинете? Вы кажетесь великим знатоком. Вы возбудили наше любопытство, нашу жажду познаний, — он произнес это с глупой и наглой усмешкой. — Мы и вправду вас не отпустим, пока вы нам не скажете, что вы нашли достойным порицания в сегодняшнем музыкальном представлении. *О речах я говорить не буду, я не знаток.* А вот музыка, по-моему, была несравненной!

— В конечном итоге она зависит *от речей*, как вы их называете.

— Что вы имеете в виду? Я считаю, что музыка есть музыка, и нужно иметь только уши, чтобы слышать прекрасное.

— Если уж вам так угодно видеть в этой музыке хорошие места, согласен с вами, — возразил чужестранец. — Пусть это даже ученая музыка, составленная по всем правилам искусства и определенной школы. *Я ничего против этого не имею.* Я только утверждаю, что это *не музыка к «Андромеде» Еврипида.*

— Вы полагаете, что *речи и слова* должны были быть в ней выражены лучше?

— О, слова в музыке порой выражены уж слишком! А в целом, господа мои, в целом смысл и тон поэта не схвачены. *Характер* действующих лиц, *правда* аффектов и чувств, *своеобразие* ситуаций — то, что должна и может выразить музыка, чтобы быть языком природы, языком страсти, то, чем она обязана являться, дабы поэт жил в ней, как в родной стихии, и она его *поднимала*, а не *поглощала* — все это *совершенно отсутствует*, короче, *все никуда не годится!* Вот моя исповедь в трех словах.

— Все... — вскричали оба абдерита, — *все никуда не годится?* Ну, это уж слишком. Хотелось бы услышать ваши доказательства.

Живость, с которой наши оба защитника отечественного искусства атаковали седобородого чужестранца, привлекла внимание многих других абдеритов. Каждый прислушивался к спору, касавшемуся чести национального театра. Все обступили их, и чужестранец, хотя он был человек высокий и статный, стал необходимым отступить к столбу, чтобы, по крайней мере, обеспечить себе тыл.

— Как бы я это доказал? — отвечал он весьма хладнокровно. — Я не собираюсь этого доказывать! Если вы читали пьесу, видели представление, слышали музыку и при этом еще можете требовать, чтобы я доказывал вам свое мнение, то я понапрасну потерял бы время и слова, пусть же я с вами в дальнейшие объяснения.

— Господину этому, как я понимаю, трудно угодить, — сказал один советник, желая вмешаться в разговор, и оба молодых абдерита почтительно уступили ему место. — И у нас в Абдере есть уши. Каждый свободен в своем мнении, но...

— Как? Что? Что тут происходит? — закричал толстый советник-коротышка, который тоже приблизился к толпе, переваливаясь с боку на бок. — Этот господин имеет что-нибудь против пьесы? Хотелось бы послушать! Ха-ха-ха! Клянусь честью, одна из лучших пьес, появившихся на сцене. Сколько действия! Сколько... э... э... Да что говорить! Прекрасная пьеса и весьма поучительная!

— Господа мои, — проговорил чужестранец, — у меня дела. Я пришел сюда, чтобы отдохнуть немного. Я аплодировал, как требуется по здешнему обычаю, и тихо, мирно отправился бы своей дорогой, если бы эти молодые люди самым назойливым образом не заставили меня высказать им свое мнение.

— И вы совершенно правы, — пояснил другой советник, не очень большой почитатель номофилакса и выжидавший по политическим соображениям благоприятного случая уколоть его пристойным образом. — Как видно, вы знаток музыки и...

— ...говорю то, в чем глубоко уверен, — сказал чужестранец.

Шум вокруг него все усиливался.

Наконец появился господин Грилл собственной персоной, услышавший издали, что речь идет о его музыке. Он отличался особой привычкой прищуривать глаза, задирать нос, пожимать плечами, ухмыляться и говорить козлиным голосом, если заранее хотел дать почувствовать свое презрение к тому, с кем вступил в разговор.

— Значит так? — начал он. — Моя музыка не имела чести понравиться господину? Ов, следовательно, знаток? Хе-хе-хе! И несомненно разбирается в искусстве композиции? Э?

— Это сам *номофилакс*, — шепнул кто-то на ухо чужестранцу, рассчитывая сразу же поразить его высоким рангом абдерита, о произведениях которого тот так неодобрительно высказался.

По обычаю Абдеры чужестранец поклонился номофилаксу и молчал.

— Ну, хотелось бы все-таки послушать, что же не нравится сему господину в музыке? За погрешности оркестра я не ручаюсь. Но ставлю сотню драхм за одну лишь ошибку в композиции! Хе-хе-хе! Итак, слушаем!

— Я не знаю, что вы называете ошибками, — проговорил чужестранец. — По-моему, во всей музыке, о которой идет речь, имеется лишь одна ошибка.

— И какая же? — ухмыльнулся номофилакс, задрав высокомерно нос.

— А то, что музыка совершенно не отвечает смыслу и духу поэта, — ответил чужестранец.

— Вот как? И не более? Хе-хе-хе! Стало быть, я не понял поэта? И это *вам точно известно*? Не кажется ли вам, что и мы понимаем немного греческий язык? Или, быть может, вам удалось залезть в голову поэта? Хи-хи-хи!

— Я знаю, что я говорю, — ответил чужестранец. — А если уж на то пошло, то я попрошу позволения доказать справедливость моего мнения для каждого стиха в пьесе перед всей Грецией на Олимпийских играх.

— Ну, это слишком затруднительно, — заметил политичный советник.

— Да в этом и нет нужды! — воскликнул номофилакс. — Завтра отправляется корабль в Афины. Я напишу *Еврипиду!* *Поэту!* Пошлю всю свою музыку! Ведь этот господин, вероятно, не лучше разбирается в пьесе, чем сам поэт? Все присутствующие подпишутся как свидетели спора. Пусть Еврипид сам вынесет приговор!

— Не трудитесь, пожалуйста, — сказал чужестранец, улыбаясь, — ибо положить конец спору могу только я. Я и есть Еврипид¹, к которому вы вызываете.

Из всех шуток, которые мог бы сыграть с абдерским номофилаксом Еврипид, это, бесспорно, была самая худшая: в тот момент, когда он ссылался на него как на отсутствующего, оказаться перед ним собственной персоной. Но кто же мог предположить такую шутку? И что, к черту, делать ему в Абдере? И как раз в тот момент, когда, кажется, лучше встретиться с волком, чем с ним? Находись он (по естественному предположению) в Афинах, гражданином которых он являлся, все было бы в порядке. Номофилакс сопроводил бы свою музыку учтивым письмом к нему и присовокупил бы к своему имени все свои титулы и звания. Уж это, наверное, подействовало бы! Еврипид ответил бы по-аттически, в светском тоне. Грилл дал бы возможность познакомиться с его ответом всей Абдере. И кто же тогда дерзнул бы оспаривать его победу над чужестранцем?.. Но чтобы чужестранец, этот дерзкий чужестранец-критик, сказавший ему прямо в лицо то, что в Абдере никто не осмеливался говорить номофилаксу... Чтобы он оказался *самим Еврипидом* — к такому случаю человек, подобный номофилаксу, был совершенно не подготовлен и от подобного случая можно было стореть со стыда любому человеку... кроме абдерита.

Номофилакс умел выходить сухим из воды. Тем не менее первый удар ошеломил его на мгновение.

— Еврипид! — вскричал он и отступил на три шага назад.

— Еврипид! — воскликнули тотчас же политичный советник, советник-коротышка, оба молодых человека и все, стоявшие рядом, изумленно озираясь вокруг, словно хотели увидеть, из какого же именно облака Еврипид вдруг свалился им на голову.

Менее всего человек склонен верить поразительному случаю, вероятность которого он и не мог предполагать. Как? Это Еврипид? Тот самый Еврипид, о котором шла речь? Автор «Андромеды»? Которому грозился написать номофилакс? Как это могло случиться?

Политичный советник первым очнулся от всеобщего изумления.

— Поистине, счастливый случай! — вскричал он. — Клянусь Кастором, счастливый случай, господин номофилакс! Так вам теперь незачем переписывать музыку и посылать письмо.

Номофилакс чувствовал всю значительность момента. И если действительно великим человеком является тот, кто в подобные ответственные минуты сразу принимает сторону той единственной партии, которая поможет ему выбраться из затруднения, то следует признать, что Грилл имел все задатки быть великим человеком.

— Еврипид! — воскликнул он. — Что? Господин вдруг сразу стал Еврипидом? Хе-хе-хе? Неплохо задумано! Но у нас в Абдере не так-то просто выдать черное за белое.

— Было бы забавно, — проговорил чужестранец, — если бы я еще в Абдере начал доказывать право на свое имя.

— Извините, сударь, — вмешался сикофант Трасилла, — не право на ваше имя, а право зваться Еврипидом, на которого ссылался номофилакс. Вы можете называть себя Еврипидом. Но Еврипид ли вы на самом деле, это вопрос другой.

— Господа мои, — сказал чужестранец, — я готов быть всем, чем вам угодно, если только вы оставите меня в покое. Я обещаю, что немедленно кратчайшим путем, который только отыщу, направлюсь к городским воротам. И если я когда-нибудь вернусь сюда вновь, то пусть тогда номофилакс сочиняет музыку к моим пьесам!

— Нет, нет, нет! — вскричал номофилакс. — Так скоро вам не отделаться. Сей господин выдал себя за Еврипида, а когда увидел, что дело принимает серьезный оборот, хочет уйти в кусты... Нет! На это мы не согласны! Он теперь должен доказать, что он — Еврипид, или же, не будь я Грилл, если...

— Не горячитесь, коллега, — посоветовал политичный советник. — Я, правда, не физиогномист, но чужестранец, как мне кажется, судя по его наружности, должно быть, Еврипид, и я бы, по скромному своему разумению, советовал вам действовать *поосторожней*.

— Удивляюсь, — начал один из присутствующих, — что здесь тратится так много слов, тогда как весь спор можно решить двумя словами «да» или «нет». Там над главным входом в театр находится точный бюст Еврипида. Нужно только взглянуть, похож ли чужестранец на бюст.

— Bravo, bravo! — воскликнул толстый коротышка-советник. — Вот это разумный совет. Ха-ха-ха! Без сомнения, бюст и должен вынести приговор, хоть он и безмолвный. Ха-ха-ха!

Стоявшие вокруг абдериты громко смеялись над остроумной идеей маленького круглого человечка, и все, кто был в состоянии, побежали к главному входу. Чужестранец добровольно предался своей судьбе, он вынужден был позволить изучать себя спереди и сзади и сравнивать себя до мелочей со своим бюстом, сколько им хотелось. Но, к сожалению, сравнение оказалось не в его пользу. Ибо упомянутый бюст скорее походил на любого другого человека или зверя, чем на него.

— Ну, господин, — торжествуяще вскричал номофилак, — что вы теперь скажете в свое оправдание?

— Я могу сказать, — отвечал чужестранец, — кое-что такое, о чем никто из вас не догадается, хотя это настолько же истинно, как то, что вы — абдериты, а я — Еврипид.

— Сказать, сказать! — язвительно повторял, ухмыляясь, номофилак. — Конечно, можно многое сказать, хе-хе-хе! И что же может сказать господин?

— Я утверждаю, что этот бюст совершенно не похож на Еврипида.

— Нет, сударь мой, — воскликнул толстый советник, — этого вы не должны говорить! Бюст прекрасен, он из белого мрамора, как вы видите, паросского мрамора и, накажи меня Юпитер, если я лгу, он стоял нам сотню чистых дариков, поверьте мне. Это лучшее творение нашего *городского ваятеля*... Искуснейший, знаменитый человек! Имя его Мосхион.... Может быть, слышали о нем? Знаменитый человек! И как я уже говорил, все приезжавшие к нам иностранцы дивились бюсту. Он точен, поверьте мне! Вы же сами видите, что внизу написано большими золотыми буквами: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ*.

— Господа мои, — сказал чужестранец, вооружившись всей своей прирожденной серьезностью, чтобы не рассмеяться, — можно ли задать один вопрос?

— С превеликим удовольствием! — воскликнули абдериты.

— Допустим, — продолжал чужестранец, — что между мной и моим бюстом возник спор, кто более похож на меня. Кому же вы поверите, бюсту или мне?

— Забавный вопрос! — заметил один из абдеритов, почесывая у себя за ухом.

— Тонкий вопрос, клянусь Юпитером! — воскликнул другой. — Подумайте внимательно, что вы ответите, глубокоуважаемый господин советник!

— Ах, так полный господин — советник этой знаменитой республики? — спросил чужестранец, отведя поклон. — В таком случае очень прошу извинить меня. Я признаю, что бюст — прекрасно отполированное творение из прекрасного паросского мрамора. Если он не похож на меня, то только потому, что ваш знаменитый ваятель высек бюст более красивым, чем природа — меня. А это всегда свидетельство его доброй воли, и я приношу ему свою признательность.

Подобный комплимент произвел большое впечатление, ибо абдеритам нравилось, когда с ними разговаривали вежливо.

* Еврипид (*греч.*).

— Это, должно быть, все-таки сам Еврипид...— пробормотал один из них на ухо другому.

И даже толстый советник при вторичном сравнении бюста с чужестранцем заметил, что *бороды у них совершенно схожи*.

К счастью, подошел архонт Онолай со своим племянником Онобулом, сотни раз видевшим Еврипида в Афинах и часто беседовавшим с ним. Радость юного Онобула по случаю такой неожиданной встречи и его подтверждение, что чужестранец действительно знаменитый Еврипид, моментально распутали сложный узел. И теперь все абдериты уверяли друг друга, что они это *«заметили сразу, с первого взгляда»*. Номофилакс, поняв, что Еврипид одержал над своим бюстом победу, тотчас же тихо удалился.

— Проклятая шутка! — бурчал он сквозь зубы.— Зачем ему нужно было так таиться? Если он знал, что он — Еврипид, почему он мне не представился? Тогда все приняло бы совсем другой оборот!

Архонт Онолай, на котором лежала обязанность поддерживать в подобных случаях честь Абдеры, весьма учтиво пригласил поэта к себе домой, а заодно также политичного и толстого советников, что оба и приняли с великим удовольствием.

— Ну, разве я не сразу угадал? — тараторил толстяк-советник, обращаясь к одному из присутствующих.— Вылитый Еврипид! Борода, нос, лоб, мочки ушей, брови, все — как две капли воды! Трудно встретить что-либо более похожее! И где только был ум у номофилакса? Но... Да, да, он слишком... Гм? Вы понимаете меня? *Santores amant humores* *... Ха-ха-ха! Баста! Тем лучше, что Еврипид у нас. Что и говорить, прекрасный человек, клянусь Юпитером! И немало нас позабавит. Ха-ха-ха!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Что привело Еврипида в Абдеру, а заодно и некоторые тайные сведения о дворе в Пелле

В сущности вполне возможно, что Еврипид в тот момент, когда номофилакс ссылался на него, мог оказаться в Абдере, как, впрочем, и в любом другом месте. И хотя к подобным неожиданностям привыкли в *театральных представлениях*, тем не менее мы хорошо понимаем, что явление это выглядит совсем по-иному, если оно случилось в *партере театра*. В таком случае *величие самой истории* ^{1*} обязывает нас объяснить читателю, как это произошло. Мы намерены рассказать точно все, что знаем.

* Музыканты любят вино (*лат.*).

^{1*} Выражение, недавно употребленное одним французским писателем ¹ в подобном же случае. Теперь оно уже окончательно утратило смысл и допустимо разве что только в фарсе.

И если, несмотря на это, у провицательного читателя все-таки еще останутся неясности, то они, видимо, будут связаны с тем обычным вопросом, который можно задать по поводу любого происшествия, а именно: *почему* как раз *комар* и как раз *этот* комар, в *эту* секунду, на *десятой* минуте *шестого* часа *полудни*, как раз *десятого* августа и *этого* 1778 года укусил как раз *эту* госпожу или девушку фон *** и не в *лицо*, не в *затылок*, *локоть*, *грудь*, не в *руку*, не в *пятку* и так далее, а в *место*, как раз *находящееся на четыре пальца выше коленной чашечки*? Мы откровенно сознаемся, что на этот вопрос мы ответить не в состоянии. *Вопрошайте богов!*² — могли бы мы сказать вместе с одним великим человеком. Но так как это был бы явно... *героический* ответ, то мы считаем более пристойным оставить дело так, как оно есть, не занимаясь его дальнейшими исследованиями.

Итак, то, что нам известно. Македонский царь Архелай³, большой поклонник изящных искусств и изысканных *гениев* (впрочем, тогда еще не называли так некоторых баловней природы, как называют теперь всякого, о ком трудно сказать, что он такое), этот царь Архелай задумал завести свой собственный придворный театр. И благодаря стечению разных обстоятельств, причин, средств и намерений, никому сегодня не интересных, он убедил Еврипида приехать в Пеллу на весьма выгодных условиях вместе с труппой лучших актеров, виртуозов⁴, декораторов и машинистов, короче, со всем, что необходимо для сцены и руководства новым придворным театром. Еврипид как раз и совершал это путешествие со всей своей компанией. И хотя путь через Абдеру был вовсе не единственным или кратчайшим, но он избрал его потому, что ему очень захотелось увидеть собственными глазами республику, столь известную остроумием своих граждан. Как, однако, случилось, что он прибыл именно в тот день, когда номофилак впервые давал свою «*Андромеду*», этого, как уже говорилось, мы объяснить не в состоянии. Подобные совпадения происходят чаще, чем кажется. И уж не такое великое чудо, когда, например, к молодому человеку фон ***, только что собиравшемуся натянуть свои панталоны, вдруг неожиданно вошла в комнату швея, которая как раз решила отдать юному дворянину заштопанные ею шелковые чулки — событие случайное, однако, вызвавшее, как известно, не менее великие потрясения, чем неожиданное появление Еврипида в партере абдерского театра. Кто удивляется таким явлениям, тот недостаточно понимает ΔΑΙΜΟΝΙΑ *, о которой говорил тот же самый Еврипид⁵.

Впрочем, замечание, что царь Архелай являлся большим поклонником изящных искусств и изысканных гениев, не следует понимать строго в буквальном смысле. Просто принято так выражаться. В сущности, он менее всего был поклонником изящных искусств и изысканных гениев. Истина заключалась в том, что упомянутого царя с некоторого времени охватила скука, потому что его прежние развлечения с мадам А**, Б**, В**, Г**, Д**, Ж**, З** и так далее больше не забавляли монарха. Кроме того, он был честолюбивый государь, и оберкамергер смог убедить его, что великому правителю надлежит покровительствовать наукам и искусствам.

* Сверхъестественное (*греч.*).

— Ибо,— сказал камергер,— Ваше величество, должно быть, заметили, что на любой медали с изображением статуи или бюста великого государя всегда можно видеть справа Минерву, рядом — трофейные панцири, копья и бердыши, а слева — несколько коленопреклоненных юношей или полунагих девушек с кистями и палитрой, угольником, флейтой, лирой и свитком в руках, символизирующих искусства, как бы ищущие защиты у великого государя. Вверху надо всем реет Молва с трубой, намекая, что короли и князья, покровительствуя искусствам, стяжают себе бессмертную славу и прочее.

Поэтому царь Архелай и начал покровительствовать искусствам. Историки подробнейшим образом рассказывают нам о том, сколько употребил он средств на живопись и скульптуру, шпалеры и прекрасную мебель и как все, вплоть до отхожих мест, было устроено у него на *этрусский манер*⁶; и каких, наконец, он пригласил к своему двору знаменитых художников, виртуозов, эстетов и прочее. Все это, рассказывают они, он делал особенно охотно потому, что стремился изгладить память о своих злодеяниях⁷, проложивших ему путь к трону, для которого он вовсе не был рожден. Об этом благосклонный читатель может подробно осведомиться в своем словаре *Бейля*⁸.

После этого небольшого отступления возвратимся к нашему аттическому поэту, которого мы встретим в блестящем окружении абдеритов и абдериток первого ранга в зеленом садовом павильоне архонта Онолая.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Как ведет себя Еврипид с абдеритами. Они кое-что замышляют против него, явно обнаруживая при этом свою политическую ловкость. Замысел должен удался, потому что все трудности оказались воображаемыми

Выше упоминалось, что Еврипид уже давно, хотя и неизвестно по какой причине, пользовался у абдеритов великим почтением. Теперь же, едва разнесся слух, что он находится здесь собственной персоной, весь город заволновался. Повсюду только и говорили об Еврипиде: «Видели ли вы Еврипида? Как он выглядит? Велик ли у него нос? Как держит он голову? Какие у него глаза? Вероятно, он говорит только стихами? Не горд ли он?», и сотни подобных вопросов задавались быстрее, чем на них возможно было ответить. Желание увидеть Еврипида привлекло немало и других абдеритов, кроме тех, кого пригласил архонт. Все толпились вокруг доброго лысого поэта, чтобы удостовериться, выглядит ли он именно так, как он должен был выглядеть, по их представлению. Многие, особенно дамы, удивлялись, что он точно такой же, как и все прочие смертные. Другие говорили, что у него много страсти в глазах. А прекрасная Триаллида шепнула на ухо своей приятельнице, будто в нем

сильно заметен заклятый женоненавистник^{1*}. Замечание это она сделала, предвкушая заранее свой триумф, если такой убежденный враг женского пола вынужден будет признать силу ее прелестей.

Глупость, как и ум, имеет свою утонченность, и кто способен дойти в ней до абсурда, тот достиг своего рода возвышенного совершенства, являющегося источником удовольствия для людей разумных. Абдериты имели счастье обладать таким совершенством. Их нелепости порой вызывали у чужестранцев сначала раздражение, но как только те замечали, что эти нелепости обладают определенной *последовательностью* и именно поэтому в них так много внутренней убежденности и добродушия, чужестранцы тотчас же примирались с ними и часто находили более удовольствия в глупости абдеритов, нежели в остроумии иных людей.

Никогда еще в своей жизни Еврипид не был в таком хорошем настроении, как на этом пиру у абдеритов. Он отвечал на все их вопросы с величайшей любезностью, смеялся над всеми их плоскими выдумками, льстил самолюбию каждого и даже оценил их театр столь выгодно для абдеритов, что каждый остался совершенно доволен им.

— Учтивый гость! — прошептал политичный советник на ухо Салабанде, сидевшей около него. — И так деликатно себя держит...

— И так вежлив, так скромен, словно он и не великий человек, — отвечала Салабанда.

— Самый веселый человек на свете, клянусь Юпитером! — проговорил толстый коротышка-советник, подымаясь из-за стола. — Истинно забавный субъект, никогда бы не поверил, клянусь честью!

Дамы, которых Еврипид нашел *красивыми*, были так вежливы, что в ответ на это наши драматурга моложе его возраста лет на двадцать. Одним словом, все были полностью очарованы им и сожалели только, что они не имеют *чести и удовольствия* видеть его в Абдере дольше, чем хотелось бы. Ибо Еврипид повторял, что не может долго задерживаться.

Наконец госпожа Салабанда отвела политичного советника и молодого Онобула в сторону.

— Как вы думаете, — сказала она, — не попросить ли его, чтобы он представил для нас свою «Андромеду»? Ведь с ним его труппа и, должно быть, совершенно исключительные виртуозы.

Онобул нашел эту идею *божественной*.

— Я как раз сам об этом думал, — заявил политичный советник, — и собирался вам это предложить. Но тут могут встретиться трудности. Номофилакс...

— Об этом уж я позабочусь, — прервала его Салабанда, — и постараюсь склонить номофилакса на свою сторону.

— За своего дядю я ручаюсь, — заверил Онобул. — Сегодня же ночью я соберу компанию молодых людей, которые устроят порядочный шум в городе.

^{1*} Общеизвестно, что этот отвратительный порок несправедливо приписывался Еврипиду¹.

— Только не слишком горячитесь,— шептал политичный советник, покачивая головой,— чтобы ничего не было заметно! Сначала разведка, а потом ловко и тихо выступить. Я всегда так говорю.

— Но нельзя терять времени, господин попечитель лягушек! ^{1*} Еврипид уезжает...

— Уж мы постараемся его задержать,— успокаивала Салабанда.— Завтра он будет у меня. В саду соберется общество наших лучших граждан... Пойдите на меня, все уладится.

Госпожа Салабанда считалась в Абдере мудрой женщиной. Она разбиралась в политике и имела большое влияние на архонта Онолая. Верховный жрец приходился ей дядюшкой, а пять или шесть советников, числившихся ее друзьями, почти всегда высказывали в Совете то мнение, которое она накануне вечером вдолбила им. Кроме того, обожатели прекрасной Триаллиды и ее лучшей приятельницы были полностью в ее власти, не говоря уже о ее собственных любовниках, среди которых были и такие, что служили ей, постоянно питая надежду, и, следовательно, были податливы, как замшевые перчатки. Ее дом принадлежал к лучшим домам города и являлся местом, где подготавливались все дела, примирялись все ссоры и решался исход выборов. Короче, госпожа Салабанда творила в Абдере все, что хотела.

Еврипид, не имея ни малейшего намерения использовать влияние этой женщины, настолько сумел расположить ее к себе, словно он, по крайней мере, задался целью добиться должности попечителя лягушек. Если она изрекала политические банальности, скудные мыслью, то он находил их весьма остроумными замечаниями. Если она цитировала Симонида ² или Гомера, он восхищался ее талантом декламировать стихи. Она позволила себе подтрунивать над некоторыми местами из его произведений, создавшими ему в Афинах злую славу женоненавистника. И он, поклонившись ей и прекрасной Триаллиде, заверил дам, что его несчастье состоит в том, что он раньше не прибыв в Абдере. Одним словом, он вел себя так, что госпожа Салабанда готова была вызвать восстание в городе, если только план, затеянный ею совместно с политичным советником, не удастся претворить в действие более доступными средствами.

Заговорщики не преминули прежде всего убедить архонта, согласия которого обычно можно было добиться, если только уверить его в том, что данное дело послужит к великой славе республики Абдеры и будет весьма приятно ее народу. Но так как он был человеком, ценящим свой покой, то объявил, что предоставляет им возможность направить все в должное русло. Со своей стороны, архонт ни с кем из-за этого дела не намерен ссориться и менее всего с номофилаксом, грубияном, имеющим сильную поддержку в народе.

— О народе, ваша милость, не беспокойтесь,— шепнул ему советник,— его я настрою по нашему желанию через третьих лиц.

— А я,— прибавила Салабанда,— беру на себя советников.

— Посмотрим,— заключил архонт и направился к обществу.

^{1*} Городской советник был одним из попечителей лягушачьего пруда, что являлось весьма почетной должностью. Их называли батрахотрофами, и по-немецки удобней всего перевести это слово как «попечители лягушек».

— Будьте спокойны,— заверила дама политичного советника, отведа его в сторону.— Я знаю архонта. Чтобы добиться его согласия, достаточно только вечером сказать ему о деле, и, если он ответит «нет», прийти утром вновь и, нисколько не смущаясь, говорить с ним так, словно он сказал «да» и при этом показывать ему, что успех обеспечен. Тогда на него можно положиться, как на чистое золото. Я уже не в первый раз ловлю его таким образом.

— Хитрая вы женщина,— сказал господин попечитель лягушек, потрепав ее по полному плечу.— Как осторожно вы действуете!.. Но все-таки могут заметить, что мы что-то замышляем, а это будет иметь плохие последствия. Необходимо действовать без шума!

В этот момент мимо просеменили две абдеритки, а за ними проследовало и все общество, желая услышать, о чем идет речь. Политичный советник поспешно отошел в сторону.

— Ну, как вам нравится Еврипид? — спросила госпожа Салабанда.— Вот это мужчина, не правда ли?

— Восхитительный! — воскликнули абдеритки.

— Жаль только, что он такой лысый,— прибавила одна из них.

— ...и что у него нет нескольких зубов,— закончила другая.

— Глупышка, зато он меньше будет тебя кусать,— сказала третья.

И так как это показалось остроумной мыслью, то все от души рассмеялись.

— Женат ли он? — спросила молоденькая девушка, выглядевшая, словно гриб, который вырос после дождя за одну ночь.

— А тебе хотелось бы выйти за него замуж? — с насмешкой задала ей вопрос другая барышня.— По-моему, он уже должен женить правнуков.

— О, *их* я оставляю тебе,— презрительно ответила первая. Укол оказался чувствительным, как жало осы, потому что барышне, разыгравшей из себя восемнадцатилетнюю девушку, было, по меньшей мере, все тридцать пять.

— Дети,— прервала их госпожа Салабанда,— не об этом сейчас речь. Мы заняты совсем другим. Как бы вы отнеслись, если бы я уговорила чужестранца задержаться на пару дней и труппа его представила бы нам одну из его драм?

— Великолпно! — воскликнули абдеритки, подпрыгнув от радости.— О, если бы вам это удалось!

— Уж с этим я справлюсь,— ответила Салабанда,— но вы все должны мне помочь.

— Конечно, конечно! — затрещали абдеритки и, побежав тотчас всей толпой к Еврипиду, закричали в один голос:

— Мы просим вас, господин Еврипид, вы должны сыграть нам комедию! Мы не отпустим вас, пока вы ее нам не представите. Ведь вы обещаете, не правда ли?

Бедный мученик, пораженный этим навязчивым требованием, отступил на два шага назад, словно на него вылили ушат холодной воды, и начал уверять абдериток, что ему никогда не приходила в голову мысль давать представления в Абдере, что он торопится с отъездом и прочее. Но все это нисколько не помогло.

— О, вы должны...— продолжали пицать абдеритки.— Мы не оставим вас в покое. Ведь вы же достаточно воспитанны и не сможете отказать дамам. Мы так просим вас...

— В самом деле,— вмешалась госпожа Салабанда,— мы все сговорились насчет вас.

— И не будь я Онобулом, наш план не должен расстроиться,— сказал сын архонта.

— В чем дело? В чем дело? — начал расспрашивать, тихо подкравшись, политичный советник, делая вид, будто он ничего не знает. Взор его беспокойно блуждал.— Что вы хотите от этого господина?

И толстый коротышка-советник появился тоже, переваливаясь с боку на бок.

— Трудно поверить, разрази меня гром! Да вы все разом хотите взять его сердце в плен, ха-ха-ха! — орал и смеялся он, держась за бока.

Ему объяснили, о чем идет речь.

— Ха-ха-ха! Прекрасная мысль! Порази меня Юпитер, и я приду, обязательно, обещаю вам. Еще бы, сам мастер! Стоит посмотреть. Большая честь для Абдеры, господин Еврипид, большая честь! Да мы должны считать за счастье поучиться у такого великого мужа!

Несколько значительных господ высказали Еврипиду примерно такие же комплименты.

Хотя Еврипиду мысль устроить потеху над абдеритами и показалась недурной, он все еще разыгрывал перед ними изумление и извинялся, говоря, что обещал царю Архелаю ускорить свой приезд.

— Пустяки! — сказала Онобул.— Вы — республиканец, и республика имеет больше прав на вас.

— Вы только скажите царю,— заужжала прекрасная Мирида,— что мы вас сильно упрашивали. Он ведь, должно быть, галантный мужчина и не рассердится за то, что вы не смогли отказать сразу шести женщинам.

— О ты, *Амур, владыка смертных и богов!* — воскликнул трагическим тоном Еврипид, взглянув на прекрасную Триаллиду.

— Если вы не шутите,— сказала Триаллида с миной женщины, не привыкшей ни отказывать, ни получать отказы,— если вы не шутите, то докажите справедливость этих слов тем, что позволите мне упросить вас.

Выражение «мне упросить вас» вызвало досаду у прочих абдериток.

— Не будем навязчивыми,— произнесла одна из них, закусив губу и метнув взгляд в сторону.

— Нельзя требовать от человека невозможного,— прибавила другая.

— Чтобы доставить вам удовольствие, мои прекрасные дамы,— сказал поэт,— я готов сделать невозможное возможным.

И так как это была *бессмыслица*, то она всем понравилась. Онобул мгновенно вытащил свою записную книжку, дабы записать эту *мысль*. Женщины и девушки поглядели на Триаллиду, словно желая сказать: Ах! Ведь он и нас назвал прекрасными! Мадам не следует слишком кичиться своей фигурой Аталанты³. Он остается не только ради мадам, но и ради нас.

Дело закончилось тем, что Салабанда попросила Еврипида о любезности пожертвовать только одним завтрашним днем для нее и ее друзей — больших почитателей его таланта.

Так как Еврипиду в сущности не было нужды торопиться, а в Абдере он развлекался отлично, то он не заставил себя долго упрашивать и принял приглашение, сулившее ему хороший материал для фарсов в Пелле. Итак, около полуночи компания разошлась, взаимно вполне удовлетворенная, с надеждой увидеться завтра у госпожи Салабанды.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Еврипид осматривает город, знакомится со жрецом Стробилом и узнает от него историю лягушек Латоны. Примечательный разговор, произошедший при этом между Демокритом, жрецом и поэтом

Тем временем Онобул вместе с несколькими молодыми людьми такого же сорта, как и он, водил гостя по городу, чтобы показать ему все достопримечательности. По пути им встретился Демокрит, с которым Еврипид был знаком уже давно. Они пошли вместе. И так как город Абдера был довольно обширный, то молодые люди имели немало возможности поучать двух пожилых людей, болтая без умолку и с решительностью судя обо всем. Им даже не приходило в голову, что в присутствии таких мужей было бы уместней помолчать и побольше внимать их речам. Итак, Еврипид вынужден был в то утро достаточно послушаться о многом и многое перевидать. Молодые абдериты, не бывавшие нигде дальше заставы своего родного города, рассказывали обо всем, что они ему показывали, как о великих чудесах. Онобул же, напротив, совершивший однажды большое путешествие, сравнивал все с подобными же вещами, какие он видел в Афинах, Коринфе и Сиракузах и, глупо извиняясь, находил каждый раз массу нелепых причин, почему то или иное было в Афинах, Коринфе и Сиракузах красивей и великоленней, чем в Абдере.

— Молодой человек, — обратился к нему Демокрит, — это прекрасно, что вы стремитесь воздать хвалу родному городу. Но если вы хотите рассказать нам о нем, то оставим в покое Афины, Коринф и Сиракузы. Будем приписывать вещи такими, каковы они есть, без всякого сравнения, тогда и не будет нужды извиняться!

Еврипид находил все, что ему показывали, весьма примечательным. И это было действительно так! Ибо ему показали библиотеку со множеством бесполезных и ни разу не читанных книг; коллекцию монет, среди которых было немало стертых и утративших всякую ценность; большой госпиталь, полный бедняков, которых плохо лечили; арсенал, где было мало оружия, и фоптаи, где еще меньше было воды. Ему показали также городской совет, отлично правивший Абдерой; храм Ясона и позолоченную баранью шкуру, выдаваемую ими за знаменитое *золотое руно*, хотя там золотом почти и не пахло. Они ос-

мотрели старый законченный храм Латоны и гробницу *Абдера*, основателя города, картинную галерею, где находились портреты всех архонтов Абдеры в натуральную величину, настолько похожие друг на друга, что последующий архонт казался лишь копией предыдущего. Наконец, когда они со всем познакомились, их повели также и к *священному пруду*, где за счет казны города откармливались самые большие и самые жирные лягушки на свете. Как со всей важностью заверил их жрец *Стробил*, лягушки эти происходят по прямой линии от ликийских крестьян, которые не хотели дать напиться из пруда, принадлежавшего им, томимой жаждой Латоне, не находившей нигде покоя в своих скитаниях. За это Юпитер и превратил их в лягушек¹.

— О, господин верховный жрец,— сказал Демокрит,— расскажите же, пожалуйста, чужестранцу историю этих лягушек, и как случилось, что священный пруд из Ликии перенесся через Ионическое море сюда, в Абдеру, что, как известно, составляет немалый путь по воде и по суше. Это, вероятно, еще большее чудо, чем лягушачья метаморфоза ликийских крестьян.

Стробил взглянул подозрительно в глаза Демокриту и чужестранцу. Но не найдя в них ничего, что позволило бы счесть их за насмешников, не заслуживающих быть посвященными в столь почтенные таинства, он пригласил их сесть под большим фиговым деревом, осенявшим одну из сторон храма Латоны, и рассказал им со всей искренностью, с какой повествуют обычно о самом повседневном событии, все то, что ему было известно.

— История культа Латоны в Абдере,— начал он,— теряется в туманной дали седой древности. Наши предки, теосцы, овладевшие почти за 140 лет до этого Абдерой, уже застали его укоренившимся с незапамятных времен. И наш храм, по-видимому, один из стариннейших в мире, как вы это можете заключить по типу его постройки и по другим древним признакам. Общеизвестно, что под страхом сурового наказания не положево из любопытства приподымать священную завесу, сброшенную временем, над происхождением богов и их культов. Все теряется в той туманной дали веков, когда искусство письма было еще не ведомо людям. Однако устная традиция, передаваемая от отца к сыну столетиями, восполняет более чем достаточно письменные свидетельства и создает, так сказать, живое свидетельство, которое даже следует предпочесть мертвой букве письменного документа. Предание рассказывает следующее. Когда ликийские крестьяне превратились в лягушек, их соседи, свидетели произошедшего чуда, и некоторые из ликийских же крестьян, непричастные к жестокости своих земляков, признали Латону и ее близнецов Аполлона и Диану, покоившихся у груди матери, за божества и поставили им у пруда, где произошло превращение, алтарь, а местность и кустарник, окружавшие пруд, объявили священной рощей. Страна называлась тогда еще *Милией*, а превращенные в лягушек крестьяне собственно были *милийцы*. Но когда, спустя много времени после того, Ликий², второй сын Пандиона, завоевал страну вместе с выходцами из Аттики, она стала называться по его имени *Ликией*, а старое ее название совсем забылось. Обитатели этой области, где находились алтарь и роща Латоны, не желая подчиниться Ликию, покинули свою родину, сели на корабли и после некоторого странствия по Эгейскому морю обосновались в Абдере, почти опустошенной незадолго до

этого чумой. Ни о чем они так не скорбели при отплытии, как о том, что вынуждены покинуть священную рошу и пруд Латоны. Они всячески раздумывали об этом и решили, в конце концов, что самое лучшее — взять с собой из священной роши несколько молодых деревьев с корнями и землей, а в бочке со святой водой из пруда некоторое количество лягушек. Прибыв в Абдеру, они первым делом вырыли новый пруд. Он и есть тот, который вы перед собой видите. В пруд они отвели один из рукавов реки Неста³ и заселили его потомками превращенных в лягушек ликийцев или милийцев, привезенных ими в святой воде. Вокруг пруда, которому ликийцы тщательным образом придали форму и величину древнего, посадили они привезенные ими священные деревья, заново осветили рошу Латоны, построили ей этот храм и учредили должность жреца. На нем лежит обязанность исполнять службу и наблюдать за рошей и прудом, вот таким-то образом они без особого чуда, как полагал господин Демокрит, и были перенесены из Ликии в Абдеру. Храм, вода и пруд сохранились благодаря благоговению, которое питали к ним даже соседние дикие фракийцы, несмотря на все перевороты и бедствия, пережитые впоследствии Абдерой. Наконец город был восстановлен теосцами, нашими предками, во времена великого Кира и достиг такой славы, что — можно сказать без хвастовства — у него нет никаких причин завидовать какому-либо другому городу в мире.

— Вы говорите как истинный патриот, господин верховный жрец, — сказал Еврипид. — Но разрешите задать один скромный вопрос...

— Спрашивайте, что вам угодно, — прервал его Стробил. — Хвала богам, я думаю, что не затруднюсь в ответе...

— Итак, с разрешения вашего преподабия! — продолжал Еврипид. — Все му миру известны благородный образ мыслей и любовь к великолепию и изящным искусствам, свойственные теосским абдеритам. Примечательнейшие доказательства этого видны повсюду в нашем городе. И если теосцы еще в древние времена славились особым благочестием по отношению к Латоне, то как объяснить, что абдериты до сих пор не пришли к мысли построить в ее честь храм?

— Я ожидал этого упрека, — отвечал Стробил, улыбаясь и, приподняв брови, старался выглядеть как можно более мудрым.

— Это не упрек, — возразил Еврипид, — а всего лишь скромный вопрос.

— Я вам отвечу на него, — сказал жрец. — Без сомнения, республике было бы нетрудно построить Латоне, высшей богине, такой же великолепный храм, как построили его Ясону, который все же был только героем. Но республика справедливо полагала, что приличнее из должного почтения к матери Аполлона и Дианы оставить ее древний храм таким, каким он был издавна. И, несмотря на свой вид, он есть и будет первейшим и самым священным храмом Абдеры, что бы там ни говорил жрец храма Ясона.

Последние слова Стробил произнес с такой горячностью и *crescendo* *il Forte**, что Демокрит счел нужным заверить его в том, что все здравомыслящие люди думают так же.

* Правильней: *crescendo al forte* (итал.) усиление звука до большой громкости.

— Тем не менее, — продолжал верховный жрец, — республика неоднократно представляла такие доказательства своего особого благоговения к храму Латоны и его собственности, что ни малейших сомнений относительно чистоты ее намерений быть не может. Для отправления службы она учредила не только коллегия из шести жрецов, настоятелем которой я, недостойный, имею честь быть, но и выделила из среды сената трех блюстителей священного пруда, и первый из них является также одним из старейшин города. Более того, по причинам, справедливость коих никому не дозволено оспаривать, она распространила закон о неприкосновенности лягушек пруда Латоны на всех животных этого вида во всей округе и изгнала прочь из своих границ всех врагов лягушачьего рода — аистов, журавлей и прочих.

— Если бы мой язык не был связан страхом нарушить обычай и усомниться в справедливости этих узаконений, — сказал Демокрит, — то я бы осмелился напомнить, что причина их заключается скорей в похвальной, но чрезмерной *деизидемонии*^{1*}, чем в природе самих вещей, или же в благоговении, которое мы обязаны оказывать Латоне. Ибо совершенно очевидно, что со временем лягушки, представляющие уже и сейчас большую тягость для жителей Абдеры и окружающей местности, настолько расплодятся благодаря подобному покровительству, что нашим потомкам некуда будет от них деться. Впрочем, я говорю в данном случае с *человеческой точки зрения* и подчиняюсь суждению старейшин, как и подобает благонамеренному абдериту.

— Вы поступаете похвально, — сказал Стробил, — если не шутите. И не обижайтесь, поступили бы еще лучше, если бы воздержались высказывать подобные мнения вслух. Между прочим, нет ничего смешней, чем опасаться лягушек. А под покровительством Латоны, думается мне, мы можем презирать и более опасных врагов, чем эти добрые, невинные существа, если они вообще когда-нибудь станут нашими врагами.

— И я так думаю, — сказал Еврипид. — Удивляюсь, почему такому великому естествоиспытателю, как Демокрит, неизвестно, что лягушки, питающиеся насекомыми и маленькими улитками, скорей полезны человеку, чем вредны.

Жрецу Стробилу очень понравилось его замечание, и с этого момента он стал большим покровителем и доброжелателем нашего поэта. Едва расставшись с двумя господами, он тотчас же посетил некоторые лучшие дома в городе и заверил, что Еврипид — человек великих достоинств.

— Я очень хорошо заметил, — сказал жрец, — что с Демокритом он не очень ладит. Однажды или даже дважды Еврипид дал ему хороший отпор. Для поэта — это просто прекрасный и благоразумный человек!

^{1*} Апостол *Павел* использует прилагательное, образованное от этого слова, когда он иронически или, по крайней мере, двусмысленно хвалит афинян за их чрезмерную набожность. Деяния апостолов XVII, 22. Слово это можно было бы перевести как *богобязанность* или *страх перед духами*.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сенат Абдеры разрешает Еврипиду поставить одну из его пьес на абдерской сцене, хотя он этого вовсе и не добивался. Уловка, к которой обычно в подобных случаях прибегали абдерские чиновники. Хитрости номофилакса. Достопримечательный способ абдеритов оказывать всяческое содействие тому, кто чинит им препятствия

После того как Еврипид ознакомился со всеми достопамятными местами Абдеры, его повели в сад Салабанды, где он нашел ее мужа, городского советника (примечательного лишь своей супругой) и общество абдерского бомонда¹, жаждавшего узнать, что же нужно делать, чтобы быть Еврипидом.

Еврипид видел лишь одно средство выйти из этого дела с честью, а именно — в таком изысканном абдеритском обществе быть *не Еврипидом, а истинным абдеритом*, насколько это было для него возможно. Добрые люди удивлялись, видя его сходство с ними.

— Милейший человек, — говорили они. — Можно подумать, что он всю свою жизнь прожил в Абдере.

Между тем хитрые замыслы госпожи Салабанды осуществлялись, и на следующее же утро по всему городу разнеслись слухи, что иноземный поэт дает со своей труппой театральное представление, невиданное до сих пор в Абдере.

Был день заседания совета. Собравшиеся господа советники спрашивали друг друга, когда Еврипид намерен ставить свою пьесу. Никто об этом не знал, хотя каждый точно утверждал, что для спектакля сделаны все приготовления. Когда архонт вынес дело на обсуждение, друзья номофилакса выразили немалую обиду.

— К чему, — говорили они, — спрашивать нашего согласия на то, что уже решено и что каждый считает делом бесспорным?

Один из наиболее ожесточенных противников настаивал на том, что именно теперь сенат должен сказать свое — «нет» и показать, кто здесь хозяин.

— Хорошенькое во всем этом *причастие* проявил бы совет, лучшего и не придумаешь! — воскликнул цеховой мастер Пфрим. — Только потому, что весь город настроен за это дело и хочет посмотреть чужих комедиантов, сенат должен сказать — «нет»? Я настаиваю как раз наоборот. Именно потому, что народ хочет их послушать, они должны разыграть свою пьесу. Fox robulus, Fox Deus! * Это было и останется всегда моей девизой, покуда я цеховой мастер Пфрим!

Большинство приняло сторону цехового старшины. Политичный советник пожимал плечами, высказывался «за» и «против» и, наконец, заключил: если

* Глас народа — глас божий (лат. искаженное).

номофилакс не найдет нужным протестовать против представления, то можно на сей раз посмотреть сквозь пальцы на игру чужестранцев в городском театре.

Номофилакс до сих пор только морщил нос, презрительно ухмылялся, поглаживая свою бороду клинышком и бормотал какие-то невразумительные слова, примешивая к ним свое «хе-хе-хе». Ему не очень хотелось, чтобы думали, будто он склонен провалить затею. Однако чем больше он это скрывал, тем это становилось заметней. Он надулся, как индюк, которому показали красный платок, и когда, наконец, должен был либо лопнуть, либо заговорить, изрек:

— Господа могут думать, что им угодно, но я действительно из числа первых, кто желает послушать новую пьесу. Поэт сам сочинил и текст, и музыку и, несомненно, это должно быть настоящее чудо. Но так как он торопится, то я не знаю, будут ли готовы декорации. И если для хоров, как можно предположить, мы должны дать своих людей, то я сожалею о том, что раньше чем через две недели мы не управимся.

— Предоставим позаботиться об этом Еврипиду, — сказал один из отцов города, рупор госпожи Салабанды, — ведь все равно из соображений чести нужно будет все руководство постановкой поручить ему.

— Что с юридической стороны вовсе не противоречит правам номофилакса и театральной комиссии, — прибавил архонт.

— Я всем доволен, — сказал Грилл. — Господа хотят чего-то нового — прекрасно! Желаю успеха! Я и сам, как уже говорил, жажду послушать пьесу. Конечно, все зависит лишь от того, насколько верят в человека... Вы меня понимаете?.. Однако при всем том право — останется правом, а музыка — музыкой. И спорю, на что хотите, терции, квинты и октавы господ афиняин будут звучать точно так же, как и наши, хе-хе-хе!

Итак, большинством голосов было постановлено, чтобы «раз и навсегда и без всякой консеквенции² разрешать иностранным комедиантам представлять трагедии в национальном театре и оказывать им со стороны театральной комиссии всевозможную поддержку, а необходимые для этого суммы выдавать из казны». Но так как выражение «разрешать» для Еврипида, который ничего не просил, а, напротив, которому предложили выступить, могло оказаться оскорбительным, то госпожа Салабанда устроила так, что писарь рапуши, ее близкий друг и покорный слуга, заменил выражение «разрешать» на «предлагать», а «иностранным комедиантам» на «известному Еврипиду». Все прочее осталось в законной силе и *citra consequentiam* *!

После того как члены совета разошлись, номофилакс направился к Еврипиду, осыпал его комплиментами, предложил ему свои услуги и заверил его, что ему будет оказана *всяческая поддержка* для того, чтобы его пьеса была быстрее представлена. Следствием такого заверения явилось то, что Еврипиду чинились всевозможные препятствия, а виновного найти было трудно и постоянно недоставало того, в чем он как раз нуждался. И каждый клялся в своей непричастности к упущению, в своей доброй воле, сваливая вину на дру-

* Без последствий (*лат.*)³.

гого, который всего лишь четверть часа назад заверял в своей доброй воле и также усиленно клялся. Абдерский способ «оказывать всяческую поддержку» показался Еврипиду столь обременительным, что он не замедлил на третье утро объявить госпоже Салабанде: при первом попутном или непопутном ветре он намерен сесть на корабль, если она только не добьется решения совета, которое *запрещало бы* господам из театральной комиссии «оказывать *ему всяческую поддержку*». Поскольку архонт, в руках которого, собственно, находилась вся исполнительная власть, был совершенно неисполнительным человеком, то оставалось одно только средство — пустить в ход цехового старшину Пфрима и жреца Стробила, умевших добиться от народа всего. Оба дела приняла на себя Салабанда и преуспела в них так, что за одни сутки театральная комиссия обеспечила и изготовила все необходимое. Сделать это было тем более легко, что Еврипид имел свои собственные декорации и в общем нужно было только приспособить их к абдерской сцене.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

«Андромеда» Еврипида, несмотря на все препятствия, представлена его труппой. Необыкновенная чувствительность абдеритов и отступление, одно из поучительнейших во всей книге и, следовательно, совершенно бесполезное

Абдериты ожидали новой пьесы и были весьма недовольны, услышав об «Андромеде», которую, как им казалось, уже видели несколько дней назад. Еще менее понравились им поначалу чужеземные актеры. Их интонация, игра были настолько естественными, что добрые люди, привыкшие видеть своих героев и героинь беснующимися и кричащими на сцене, подобно раненому Марсу в «Илиаде»¹, не понимали, к чему все это.

— Что за странная игра актеров,— шептались они,— совсем и не замечаешь, что находишься в театре. Все настолько обыкновенно, словно они играют самих себя.

Тем не менее абдериты удивлялись декорациям, расписанным известным афинским мастером театральной перспективы. Большинство из них, никогда не видев ничего лучшего, были совершенно очарованы берегом моря, скалами с прикованной Андромедой, рощей верейд по одну сторону небольшой бухты, и дворцом царя Кефея², видневшимся вдаль, по другую сторону; все это, по их мнению, выглядело так естественно и естественно, как они себе и воображали. И если представить себе, что музыка полностью гармонировала с замыслом поэта и была противоположна музыке номофилакса Грилла; что она действовала непосредственно на чувства и, несмотря на большую простоту и мелодичность, поражала новизной — то все это, вместе с живостью и правдивостью декламации и движений, с прекрасными голосами и исполнением

вызвало в добрых абдеритах такую иллюзию реальности, которую им никогда не приходилось переживать ни в одной пьесе. Они совершенно забыли, что находились в своем национальном театре, чувствовали себя невидимо присутствующими в центре сценического действия, принимали близко к сердцу счастье и несчастье действующих лиц, словно своих близких друзей, печалились и страшились, надеялись и опасались, любили и ненавидели, плакали и смеялись по желанию чародея, в чьей власти они находились, — короче, «Андромеда» произвела на них такое необыкновенное впечатление, что Еврипид и сам признал, что никогда еще не наслаждался такой редкостной чувствительностью зрителей во время театрального представления.

Мы просим прощения у чувствительных дам и кавалеров нашего до бесчувственности чувствительного времени! ³ Мы и в самом деле не имели намерения, рассказывая о необыкновенной *чувствительности* абдеритов, уколоть их и тем самым вызвать, так сказать, их недоверие к своему *собственному рассудку* или же к рассудку других людей. Мы рассказываем совершенно серьезно о том, что произошло. И если кому-нибудь подобная чувствительность в абдеритах покажется странной, то мы покорнейше просим подумать над тем, что при всем своем *абдеритстве* они, в конце концов, были такими же людьми, как и все прочие. В некотором отношении они *были даже более людьми... поскольку являлись абдеритами*. Ибо как раз абдеритство облегчало им возможность оказываться в плену сценической иллюзии. Подобно птицам, клевавшим виноград, нарисованный Зевксисом ⁴, они обладали способностью отдаваться любому впечатлению, особенно эстетическому, более непосредственно и простодушно, чем утонченные, холодные и, следовательно, рассудочные натуры, которым не так-то легко помешать трезво рассматривать вещи сквозь любой туман очарования.

Автор этой истории вынужден заметить: менее всего он готов порицать *склонность абдеритов поддаваться эстетическим иллюзиям, связанным с воображением и подражанием*. У него есть, пожалуй, на то свои особые причины.

В самом деле, поэты, композиторы, художники находятся в опасных отношениях с просвещенной и утонченной публикой. И как раз *мнимых знатоков*, составляющих всегда многолюдную толпу, трудней всего удовлетворить. Вместо того, чтобы помолчать и отдаться эстетическому впечатлению ^{1*}, они делают все возможное, чтобы ему воспрепятствовать. Вместо того, чтобы наслаждаться произведением искусства, занимаются рассуждениями о том, что могло бы в нем быть. Вместо того, чтобы поддаваться иллюзии, — ибо разрушение чар искусства только лишает нас наслаждения, — начинают совсем некстати философствовать, видя в этом бог весть какую, прямо-таки детскую заслугу; заставляют себя смеяться там, где обычно люди, отдаваясь естественному чувству, плачут; а там, где следует смеяться, они презрительно мор-

^{1*} Само собой разумеется, поэт, со своей стороны, должен сделать все возможное, чтобы вызвать иллюзию и поддерживать ее. Ибо в противном случае он, конечно, не имеет никакого права требовать от нас, чтобы в угоду ему мы делали вид, будто видим то, чего он нам не показывает, переживаем те чувства, которые он в нас не вызвал.

щат нос, желая всем своим видом показать, что они обладают *достаточным присутствием духа или же слишком большой утонченностью или, наконец, ученостью*, чтобы нечто подобное могло бы вывести их из равновесия.

Но и истинные знатоки портят себе наслаждение от множества вещей *посвоему* хороших, прибегая к *сравнениям их* с предметами совсем иного рода, к сравнениям, большей частью *неправомерным* и всегда *противоречащим* нашей пользе. Ибо то, что *выигрывает* наше тщеславие, *презирая наслаждение*, это всегда лишь тень, за которой мы гонимся, упуская из виду реальность.

И мы поэтому считаем, что так было всегда, даже во времена диких народов, когда сыны бога искусств свершали те великие чудеса, о которых все еще говорят и сегодня, не очень хорошо представляя себе их. Фракийские леса плясали под звуки лиры Орфея, и хищные звери покорно ложились у его ног не потому, что он был *палубог*, а потому, что фракийцы были *медведями*; не потому, что он пел *божественно*, а потому что его слушатели были *обыкновенные, естественные люди*. Короче, по той же причине, по которой (согласно Форстеру⁵) шотландская волынка привела в восхищение добрые души таитян.

Как применить это не очень новое, но весьма практическое размышление, которое часто слышат и тем не менее почти всегда оставляют безо всякого внимания, благосклонный читатель, если ему будет угодно, решит для себя сам. Пусть внутреннее чувство подскажет, должны ли мы и насколько быть более или менее абдеритами и фракийцами и в других вещах. Но если бы мы являлись ими лишь в данном отношении, то это было бы лучше для нас и, разумеется... для большинства ваших литературных дударей⁶.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Как вся Абдера обезумела от удивления и восторга на представлении Еврипидовой «Андромеды». Опыт философско-критического исследования этого странного рода френезии, называвшийся у древних абдеритской болезнью. Нижайше посвящается историкам

Когда занавес опустился, абдериты все еще смотрели на сцену, широко раскрыв глаза и разинув рты от удивления. Восторг их был настолько велик, что они забыли про обычный вопрос *«Как вам понравилась пьеса?»*, но даже и об аплодисментах, если бы Салабанда и Онолай (очнувшиеся первыми при всеобщем безмолвии) не поспешили исправить оплошность и не избавили бы своих сограждан от смущения, что они не аплодируют как раз тогда, когда для этого есть все основания. Но зрители зато с лихвой возместили упущенное. Ибо едва раздались первые рукоплескания, как началась такая громкая и длительная овация, что, кажется, не было человека, не отбившего себе руки. Те, кто уже не могли хлопать, делали паузу на мгновение, а затем начинали

бить в ладоши еще сильнее, пока их не сменяли отдохнувшие от аплодисментов. Дело не ограничилось этим шумным одобрением. Славные абдериты настолько были переполнены увиденным и услышанным, что сочли необходимым выразить свой восторг еще и другим способом. Многие, выходя из театра, останавливались на улицах и во весь голос декламировали вслух места из пьесы, особенно их взволновавшие. У других страсти разгорелись до такой степени, что они ощущали потребность петь, и пели, и повторяли хорошо или плохо то, что запомнили из прекраснейших арий. Как бывает в подобных случаях, пароксизм незаметным образом стал всеобщим. Казалось, что какая-то фея взмахнула своей волшебной палочкой над Абдерой и превратила всех ее жителей в комедиантов и певцов. Все живое в городе говорило, пело, наигрывало и насвистывало в бодрствующем и сонном состоянии многие дни подряд одни только места из «Андромеды» Еврипида. Повсюду раздавалась знаменитая ария «О ты, Амур, владыка смертных и богов!» и ее распевали так долго, что от первоначальной мелодии почти ничего не осталось, а молодые ремесленники, подхватившие ее в конце концов, ревели арию по ночам на свой собственный манер¹.

Если бы наш совет (как, впрочем, и многие другие советы мудрецов) не обладал бы единственным недостатком — своей непрактичностью, — то мы самым спешным образом посоветовали бы всем: *никогда не верить ни единому слову из того, что вам рассказывают*. Ибо более чем тридцатилетний опыт убедил нас, что в подобных рассказах нет ни одного слова правды. Вполне серьезно, мы не можем вспомнить ни одного случая, когда бы событие, даже случившееся несколько часов назад, не передавалось бы каждым человеком по-разному и, следовательно, ложно, ибо ведь любая вещь обладает лишь единственным родом истинности.

Если так обстоит дело с современностью, с явлениями, происходящими почти на наших глазах и в местах, где мы сами присутствуем, то легко предположить, можно ли полагаться на историческую правду и достоверность событий, случившихся давно, и о которых мы не располагаем никакими иными свидетельствами, кроме того, что рассказывается в рукописных или печатных книгах. Один бог знает, как они обошлись с бедной честной истиной и что от нее может остаться, если она на протяжении двух тысячелетий перетрясаясь, просеивалась и прессовалась различными средствами все более умножавшейся традиции — хрониками, ежегодниками, прагматическими курсами истории, краткими ее конспектами, историческими словарями, сборниками анекдотов и прочее; если она прошла через столько чистых и нечистых рук всяких писцов и переписчиков, наборщиков и переводчиков, цензоров и корректоров!

Взвесив все эти обстоятельства, я уже давно дал себе зарок сочинять только такие истории, в которых абсолютно никого не интересует ни реальность действующих лиц, ни достоверность происходящих событий.

К этому небольшому излиянию сердца меня побудило как раз то событие в Абдере, о котором идет речь и о котором различные писатели рассказывают настолько странные вещи и так искажают его, как доброму, доверчивому читателю и не снилось.

Вот, например, взять хотя бы этого Йорика², этого изобретателя, отца, зачинателя всех сентиментальных путешествий и прототипа всех сентиментальничающих путешественников, которые без кошелька и гроша в кармане, не износив при этом и пары сношенных башмаков, совершали сентиментальные путешествия бог весть куда только для того, чтобы описанием их оплатить свой счет за пиво или табак. Так вот я и говорю, этот самый *Йорик*, желая создать из абдеритской истории хорошенькую главку в своем знаменитом *Sentimental Journeу**, так преподнес это событие, что, хотя оно и выглядит действительно чудесным и знаменитым, но зато утратило всю свою *индивидуальную правду* и даже все абдеритские характерные черты.

Послушайте только! — «Город Абдера, — пишет он, — был самым мерзким и самым безбожным городом во всей Фракии, там все дышало отравлениями, заговорами, убийствами, памфлетами, пасквилями и бунтами. Жизнь людей даже среди бела дня не была в безопасности, а ночами — и того хуже. И однажды, в пору, когда ужасы дошли до крайности, в Абдере была представлена «Андромеда» Еврипида. Она понравилась зрителям. Но из всех мест пьесы ни одно не подействовало так сильно на их воображение, как естественная нежность в трогательной речи Персея —

О ты, Амур, владыка смертных и богов!

На другой день все заговорили ямбами и ни о чем более, как о трогательном обращении Персея: «О ты, Амур, владыка смертных и богов!»^{1*} На каждой улице, в каждом доме — «О Амур, о Амур!..» Изо всех уст слышалось: «О ты, Амур, владыка смертных и богов!» Пламя разгоралось, и весь город, подобно единому человеческому сердцу, раскрылся для любви. Ни один аптекарь не мог продать и грана чемерицы, ни один оружейный мастер не мог изготовить ни одного смертоносного оружия. *Дружба и добродетель* шествовали рука об руку по улицам города, Золотой век возвратился вновь, и дух его витал над городом. Каждый абдерит принимался за свою свирель, и каждая абдеритка, отставив в сторону свою пурпуровую ткань, чинно садилась слушать пение»³.

В самом деле, прекрасная главка! Многие юноши и девушки находили ее превосходной — «О ты, Амур, владыка смертных и богов!» И один единственный стих из Еврипида, подобный которому десятками — клянусь обоими ушами Мидаса! — способен был бы сочинить в любой момент самый последний из ваших сентиментальных свирельщиков, вдруг произвел чудо, веками

* «Сентиментальном путешествии» (англ.).

^{1*} Откровенно признаться, стих этот единственный *трогательный* стих во всем фрагменте речи Персея, случайно сохранившемся. Место это звучит так, как могут судить сведущие в греческом языке читатели:

Ἄλλ' ὃ τὸρα νῦν θεῶν τε κἀνθρώπων, ἼΕρωσ, ἢ μὴ διδάσκει τε κακὰ φαίνεσθαι καλὰ, ἢ τοὺς ἔρωσιν, ὧν θεμιτοῦργός εἰ. Μόχθοισι μόχθους εὐτυχῶς συνεκπένει κ. τ. λ.

(Однако, ты, смертных и богов владыка, Амур, или научи нас, чтобы прекрасное не казалось нам прекрасным (следует читать *καλὰ* вместо *κακά*) или же помоги страдающим от любви легче переносить боль).

недостижимое для жрецов, пророков и мудрецов всего мира; чудо, превратившее такой нечестивый, безбожный город и республику, как Абдера, сразу в невинную, добрую Аркадию? Этакое чудо, разумеется, мило сердцу чувствительных молокососов, желторотых воркующих голубков и горлиц! Жаль только, что во всей этой истории нет у брата Йорика ни слова правды.

Весь секрет заключается в том, что этот чудак вообразил ее в тот момент, когда был влюблен. И поэтому он выдавал мечты за истину, как обычно и случается с каждым влюбленным и поэтом, лунатиком или человеком, у которого есть свой «конек». Нехорошо только, что, желая как можно более польстить своему идолу и фетишу — Амуру, он приписал бедным абдеритам все самое гадкое, что только можно себе представить и сказать о человеке. Но пусть вся греческая и римская древность предстанет пред нами и засвидетельствует, обвинялись ли когда-нибудь добрые люди в подобных грехах? Они, конечно, имели свои причуды и капризы, и то, что называют в собственном смысле разумом и мудростью, было им чуждо. Но превращать их город по этой причине в разбойничий вертеп, это несколько преступает границы пресловутой свободы поэтического вымысла: какое бы значительное место ей ни отводили, она должна иметь так же свои пределы, как и все прочие вещи на свете.

Лукиан из Самосаты во вступлении к своей знаменитой книжице «Как должно было бы писать историю, если бы только было возможно» рассказывает о событии совсем по-иному⁴, хотя, с его позволения, не намного правильней Йорика. Казалось, он должен был бы кое-что слышать о царе Архелае и об «Андромеде» Еврипида, и о странном экстазе, охватившем абдеритов; и о том, что, в конце концов, они вынуждены были просить помощи у Гиппократата, чтобы он восстановил в Абдере прежнее спокойствие. Но только посмотрите, как Лукиан все перепутал!

«Комедиант Архелай⁵ (что звучало тогда столь же громко, как у нас имена *Брокмана* или *Шредера*, или прозвище «*немецкий Гаррик*»⁶) прибыл во времена правления царя Лизимаха в Абдери и представил «Андромеду» Еврипида. Был необычайно жаркий летний день. Солнце нещадно палило головы абдеритов, которые и без того уже достаточно разгорячились. Всех зрителей в театре охватила страшная лихорадка. На седьмой день болезнь прекратилась после бурного кровотечения из носа или же сильного пота. Но вместо нее начались странные припадки. На абдеритов напала повальная и неодолимая страсть декламировать трагические стихи. Они говорили только ямбами, выкрикивали во все горло, стоя и на ходу, тирады из «Андромеды», пели монологи Персея и прочее».

Лукиану-насмешнику весьма забавно представлять себе, как все это выглядело: улицы Абдеры кишат бледными, отошавшими и изнуренными лихорадкой трагиками, поющими изо всех сил: «О ты, Амур, владыка смертных и богов!» И он уверяет, что эта эпидемия длилась очень долго, пока зима и начавшиеся холода не положили конец напасти.

Следует признать, что рассказ Лукиана имеет преимущество перед рассказом Йорика. Ибо как ни странно выглядит абдеритская лихорадка, тем не менее все врачи засвидетельствуют, что такое по крайней мере, *возможно*, в

все поэты — что это *характерно*. Все зависит от того, как говорят обычно итальянцы, *Se non è vero, è ben trovato* *.

И все же рассказ не соответствует истине. Уже из одного-единственного обстоятельства становится ясно, что в то время, когда происшествие должно было бы случиться в городе, Абдеры уже собственно не существовало, потому что абдериты за некоторое время до того покинули город, предоставив его лягушкам и мышам.

Короче, дело происходило так... как мы о нем сообщили. И если припадок, охвативший абдеритов после «Андромеды», угодно называть лихорадкой, то это было не что иное как театральная горячка, поражающая и до сего дня многие города нашей дражайшей немецкой отчизны. Болезнь заключалась не столько в крови, сколько в абдеритстве этих добрых людей.

Однако не следует отрицать, что с отдельными абдеритами, у которых от природы имелась для лихорадки благодатная почва и нужный запал, дело обстояло весьма серьезно и потребовалось врачебное вмешательство, что впоследствии, видимо, и вызвало заблуждение Лукиана, который счел это за своего рода горячечную лихорадку. К счастью, Гиппократ еще находился неподалеку от Абдеры. И так как натура абдеритов была ему хорошо известна, то несколько центнеров чемерицы привели все вскоре в прежнее состояние, то есть абдериты перестали петь: «О ты, Амур, владыка смертных и богов!» и стали все вместе и каждый в отдельности вновь такими же мудрыми... как и раньше.



* Если это и неправда, то хорошо придумано (итал.).



Книга четвертая

ПРОЦЕСС О ТЕНИ ОСЛА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Повод к процессу и facti species **

Казалось, наступил роковой период в существовании города Абдеры. Едва абдериты немного отдышались от странной театральной горячки, которой поразил их добрый и незлобивый Амур Еврипида, «владыка смертных и богов»; едва граждане вновь заговорили друг с другом на улицах прозой; едва аптекари *начали* торговать своей чемерицей, оружейные мастера изготовлять опять свои рапиры и бердыши, абдеритки снова привялись смиренно и прилежно ткать пурпурные ткани, а абдериты отбросили прочь жалкие свирели и обратились к своим делам, чтобы заниматься ими столь же разумно, как богини Судьбы таинственным образом спряли из самого прозрачного, тончайшего и непрочного материала, когда-либо создававшегося богами и людьми, такую паутину приключений, распрей, огорчений, подстрекательств, коварных интриг, партий и прочей дряни, что, в конце концов, в ее сетях оказалась вся Абдера. И когда эта отвратительная смесь воспламенилась из-за безрассудной горячности всяческих помощников и пособников, знаменитый город, вероятно, совсем погиб бы, если бы судьбой не было суждено ему исчезнуть по другой гораздо менее важной причине — от нашествия лягушек и мышей.

Дело началось, подобно всем мировым событиям, с самого ничтожного повода. Некий зубодер, по имени Струтион, мегарский уроженец¹, уже с давних пор проживал в Абдере. Будучи, по-видимому, единственным зубным лекарем в этой местности, он обслуживал значительную часть населения южной Фракии. Его обычный способ взимать контрибуцию заключался в том, что, объезжая ярмарки всех маленьких городов и местечек на 30 миль в округности, он, наряду со своим зубным порошком и зубными каплями, выгодно сбывал также и различные зелья против женских болезней и болей в селезенке, одышки, дурных выделений и пр. Для этих целей он держал в хлеву ослицу, на которую в подобных случаях водружал собственную толстую и корепастую персону и большую котомку, полную лекарств и съестных припа-

* Обстоятельства дела (лат.).

сов. И вот однажды, когда он собирался на ярмарку в Геранию, его ослица накануне вечером ожеребилась и, следовательно, не была в состоянии совершить путешествие. Струтион вынужден был нанять другого осла до места первого ночлега, а хозяин осла сопровождал его пешком, чтобы присматривать за навьюченным животным и затем вернуться на нем домой. Дорога шла через степь. Была середина лета, и солнце пекло немилосердно. Зной становился для зубного лекаря невыносимым, и он, оглядываясь вокруг, мучительно искал какой-нибудь тени, где можно было бы на минуту спешиться и передохнуть. В конце концов, не найдя выхода, он остановился и сел в тени осла.

— Однако, сударь, что вы делаете? — спросил погонщик. — Что это значит?

— Я немного присел в тень, — отвечал Струтион, — ибо солнце невыносимо палит мне голову.

— Э, нет, сударь мой, — возразил тот, — мы с вами так не сговаривались. Вы у меня нанимали осла, а о тени не было ни слова.

— Вы шутите, дружище, — сказал, смеясь, зубной лекарь. — Тень ведь следует за ослом, это само собой разумеется.

— Нет, клянусь Ясоном, это не само собой разумеется! — воскликнул упрямый погонщик. — Одно дело — осел, а другое — тень осла. Вы у меня наняли осла за определенную плату. Если вам хотелось нанять также и тень, то вы должны были бы это оговорить. Одним словом, подымайтесь-ка, сударь, и продолжайте ваше путешествие или же по справедливости заплатите мне и за тень осла.

— Что? — вскричал лекарь. — Я заплатил за осла, а теперь еще должен платить за его тень? Да я буду трижды ослом, если это сделаю. Осел уж на весь этот день мой, и я могу садиться в тень его, когда вздумаю и сидеть, сколько мне угодно, можете быть уверены!

— И вы серьезно так думаете? — спросил хозяин животного со всем хладнокровием фракийского погонщика ослов.

— Совершенно серьезно, — ответил Струтион.

— Тогда, сударь, тотчас же возвращайтесь в Абдеру и давайте обратимся к властям, — сказал погонщик. — Посмотрим, кто из нас прав. Клянусь Приапом², милостивым ко мне и моему ослу, я хочу посмотреть, кто осмелится оттягать у меня против воли тень моего осла!

У зубного лекаря возникло большое желание привести погонщика к повиновению силой. Он уже сжал кулаки и поднял короткую руку, однако поглядев хорошенько на своего противника, счел за лучшее... постепенно опустить ее и попытаться еще раз убедить погонщика более мягкими средствами. Но он только понапрасну терял время. Грубиян продолжал настаивать на плате за тень. И так как и Струтион был столь же упрям, то в конце концов не оставалось ничего иного, как вернуться в Абдеру и обратиться к городскому судье.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Городской судья Филиппид выслушивает тяжущихся

Городской судья Филиппид, разбиравший в первой инстанции тяжбы подобного рода, обладал многими хорошими качествами: честный, здравомыслящий человек, усердно исполнявший свои обязанности, он с большим терпением выслушивал каждого, доброжелательно выносил свои приговоры и слыл неподкупным. Кроме того, он был хорошим музыкантом, коллекционером естественнонаучных редкостей, автором нескольких пьес, которых, по абдерскому обыкновению, находили «необыкновенно хорошими». Он был почти уверен, что как только откроется вакансия, он станет номофилаксом.

При всех заслугах Филиппид страдал только одним маленьким недостатком: всякий раз, когда перед ним выступали две стороны, ему казалось, что прав тот, кто говорил последним. Абдериты не были настолько глупы, чтобы этого не заметить. Но они полагали, что человеку, обладающему столькими достоинствами, можно легко простить один-единственный недостаток. «Да, — говорили они, — не имей Филиппид этого недостатка, он был бы лучшим судьей, которого когда-либо видела Абдера».

И поскольку этот добрый человек считал всегда правыми обе стороны, то подобное обстоятельство имело и свои хорошие последствия: более всего он заботился о том, чтобы заканчивать тяжбы мирным исходом. Таким образом скудоумие доброго Филиппида могло бы явиться истинным благословением для Абдеры, если бы бдительность сикофантов, много терявших от миролюбия судьи, не нашла бы средств парализовать его влияние почти во всех случаях.

Зубодер Струтион и погонщик Антрак прибежали разгоряченные к достойному судье и оба одновременно, громко крича, начали излагать свои жалобы. Он выслушал их со своим обычным терпением. И когда они закончили или просто устали от крика, судья пожал плечами — дело показалось ему одним из самых запутанных в его практике.

— А кто, собственно, из вас двоих истец? — спросил он.

— Я обвиняю погонщика, — отвечал Струтион, — в том, что он нарушил наш контракт.

— А я, — сказал тот, — обвиняю зубного лекаря в том, что он бесплатно воспользовался вещью, которую я не сдавал ему внаймы.

— В таком случае здесь два истца, — проговорил судья. — А где же ответчик? Странная тяжба! Расскажите мне еще раз о деле и со всеми обстоятельствами... Но только по очереди, один после другого, ибо невозможно разобратся, когда двое орут одновременно.

— Высокочтимый господин городской судья, — начал зубодер, — я нанял у него осла на один день. И действительно, тень осла при этом не упоминалась. Но кто же когда-либо слышал, чтобы при подобной сделке включалась специальная оговорка о тени осла? Клянусь Геркулесом, это не первый осел, внятый в Абдере!

— Господин прав, — заметил судья.

— Осел и его тень следуют вместе, — продолжал Струтион. — И почему же тот, кто нанял осла, не может воспользоваться и его тенью?

— Тень — *акцессорий*¹, это ясно, — подтвердил судья.

— Ваша милость, г-н судья, — воскликнул погонщик, — я человек простой и ничего не смыслю в ваших *-ориях* и *-ориях*. Но чутье подсказывает мне, что я не обязан задаром разрешать находиться осла на солнцепеке, когда кто-то сидит в его тени. Я отдал господину внаймы осла, и он мне оплатил вперед половину денег, это правда. Но одно дело осел, а другое — тень осла.

— Тоже верно, — пробормотал судья.

— Если он хочет пользоваться тенью, то пусть заплатит половину того, что платит за осла. Я требую только справедливого и прошу защитить мои права.

— Лучшее, что вы могли бы оба сделать в данном случае — это пойти на мировую. Вы, добрый человек, включайте тень осла — ибо ведь это только тень — в счет платы за осла, а вы, господин Струтион, дайте ему полдрахмы за тень. И обе стороны будут удовлетворены.

— Я не дам и четверти полушки! — воскликнул зубодер. — Я настаиваю на своем праве!

— А я, — вскричал его противник, — настаиваю на своем! Ежели осел мой, стало быть и тень моя, и я могу распоряжаться ею как мне вздумается. И коли этот господин и слышать не хочет о праве и справедливости, то я требую теперь вдвое больше прежнего и хочу знать точно, есть ли правосудие в Абдере.

Судья был в великом затруднении.

— А где же осел? — спросил он наконец. В замешательстве Филиппид не нашел лучшего средства оттянуть время.

— Он стоит на улице у ворот.

— Так приведите его во двор, — приказал Филиппид.

Хозяин осла с радостью повиновался приказу, сочтя за хороший знак желание судьи увидеть главное действующее лицо спора. Осла привели. Жаль только, что он не мог высказать также и своего мнения по делу! Осел стоял совершенно равнодушный, затем он насторожил уши и поглядел сперва на обоих господ, а после уставился на хозяина, скривил морду, вновь повесил уши и... не проронил ни слова.

— Взгляните сами, милостивый господин судья, — воскликнул Антракс, — разве тень такого прекрасного, стройного осла не стоит двух драхм? Да это дешевле пареной репы! Особенно в такой жаркий день, как сегодня.

Судья попытался вновь примирить стороны, и они начали было склоняться к этому, как вдруг, к несчастью, появились Физигнат и Полифон², два известных сикофанта Абдеры и, услышав, о чем идет речь, моментально придали делу новый оборот.

— Господин Струтион абсолютно прав, — заявил Физигнат, знавший, что зубодер — человек зажиточный и притом весьма горячего нрава и упрямый. Другой сикофант, хотя и позавидовал несколько своему собрату по ремеслу,

опередившему его, бросил взгляд на осла, показавшегося ему хорошим, упитанным животным, и с большим рвением принял сторону погонщика.

Теперь обе партии не хотели и слышать о примирении, и честный Филиппид вынужден был назначить день судебного разбирательства. Оба истца отправились по домам со своими сикофантами, а осел со своей тенью до исхода дела был отведен в городскую конюшню Абдеры.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Обе стороны добиваются поддержки высоких инстанций

Согласно городскому уложению, гражданские тяжбы, связанные с собственностью, рассматривались судом из двадцати присяжных заседателей, собиравшемся в портике храма Немезиды. Все дела разбирались этим судом письменно, в чем, кстати, проявлялась справедливая забота городских властей об источниках пропитания для сикофантов. И поскольку абдеритское правосудие осуществлялось извилистыми, улиткообразными путями и по скорости не уступало улитке (тем более, что сикофанты выносили свои заключения не прежде, чем истощали весь запас своего красноречия), то письменные иски подавались до тех пор, пока, по всей вероятности, обе стороны не разорались из-за судебных расходов.

Однако на этот раз соединилось много причин, дабы дать делу более быстрый ход. И было неудивительно, что процесс о тени осла менее чем за четыре месяца созрел для окончательного решения на ближайшем заседании. Безусловно, процесс о тени осла взбудоражил бы умы в любом городе мира. Можно себе представить, что он вызвал в Абдере! Едва о нем разнесся слух, как тотчас же потеряли смысл все прочие темы светских бесед, и каждый говорил о процессе с таким живейшим участием, словно дело касалось его личного выигрыша или проигрыша. Одни приняли сторону зубодера, другие — погонщика. Даже у осла появились свои приверженцы, считавшие, что он вполне имеет право подать иск, поскольку осел более всего пострадал от несправедливой претензии врача посидеть в его тени и был вынужден находиться на солнцепеке. Одним словом, пресловутый осел бросил свою тень на всю Абдери, и делом этим занимались с такой горячностью, с таким рвением и интересом, словно на карту было поставлено, по крайней мере, общее благосостояние города и республики Абдеры.

Хотя такой образ действий и не удивит никого, кто знаком с абдеритами по предыдущим правдивым историям, мы, однако, думаем, что окажем приятную услугу тем из наших читателей, которые считают, что вполне разбираются в событиях лишь тогда, когда им открывается действие тайных пружин во всей взаимосвязи причин и следствий. Поэтому мы им обстоятельно расскажем, как случилось, что эта тяжба, захватившая сначала лишь маленьких

людей и касавшаяся в высшей степени незначительного предмета, стала затем настолько значительной, что постепенно втянула в свой водоворот всю республику.

Бюргерство Абдеры (как издавна в большинстве городов мира) было разделено на цехи, и, по старинному установлению, зубной лекарь Струтион относился к цеху сапожников. Основание для этого, как обычно у абдеритов, было весьма хитроумное. В первые времена существования республики в этот цех входили только сапожники и башмачники, потом сюда начали принимать вообще всех, кто занимался какой-либо починкой. И таким образом к этому цеху впоследствии стали относить и хирургов, ремонтирующих людей, и, следовательно, *ob paritatem rationis* * всевозможных лекарей. Итак, на стороне Струтиона оказался весь достохвальный цех сапожников (исключая лишь врачей, с которыми он постоянно находился в весьма натянутых отношениях), и особенно башмачники, составлявшие весьма значительную часть бюргерства Абдеры. Естественно, зубодер прежде всего обратился к своему главе, цеховому старшине Пфриму. И сей муж, патристическое рвение которого в защите республиканских свобод было общеизвестно, высказался тотчас же со своей обычной горячностью, что он «скорей заколется сапожным шилом, чем допустит, чтобы права и вольности Абдеры были столь грубо ущемлены в лице его собрата по цеху».

— Справедливость, — разглагольствовал он, — есть высшее право. И разве не несправедливо, что человек, посадивший дерево ради его плодов, наслаждается при этом также и его тенью? И почему то, что справедливо в отношении деревьев, нельзя применить с таким же основанием к ослу? И чего стоят, черт побери, все наши свободы, если бюргер из цеха не имеет права свободно посидеть в тени осла? Как будто тень осла благородней и значительней, чем тень от ратуши или от храма Ясона, в которых может стоять и лежать любой, кому только вздумается! Тень есть тень, от кого бы она ни исходила, от дерева или от памятника, от осла или даже от его милости архонта! Короче говоря, — прибавил мастер Пфрим, — положитесь на меня, господин Струтион. Грубиян в соответствии с вашим правом обязан будет уступить не только тень, но и самого осла или же в Абдере не бывать ни собственности, ни свободе! Но до этого, проклятье, дело не дойдет, пока я цеховой мастер Пфрим!

В то время как зубодер обеспечивал себе покровительство столь значительного человека, погонщик Антракс, со своей стороны, тоже не медлил заручиться равным по влиянию покровителем. Антракс собственно не являлся гражданином Абдеры, а вольноотпущенником, проживавшим при Ясоновом храме. И в качестве клиента¹ храма он находился под юрисдикцией архиерея этого героя, почти обожествленного в Абдере. Естественно, что прежде всего он подумал, как добиться, чтобы архиерей Агатирс принял ревностное участие в его судьбе. Но архиерей Ясона был в Абдере слишком важной персоной, и погонщик вряд ли мог надеяться получить доступ к такому высокому лицу без особых на то каналов.

* На равных основаниях (лат.).

После совещания с ближайшими друзьями он избрал, наконец, следующий план действий. Его жена Кробила была знакома с модисткой, брат которой являлся счастливым любовником горничной одной милетской балерины, находившейся, по слухам, в большой милости у архиерея. И не то, чтобы он — «как это обычно случается ...особенно потому, что жрецы не имеют права вступать в брак...»², — короче, не то, чтобы он вел себя так, как приписывали ему злые языки. Просто дело заключалось в том, что архиерей Агатирс был большим любителем пантомимических сольных танцев. И поскольку, не желая вводить в искушение своих прихожан, он не мог разрешать появляться балерине днем, то ему оставалось с предосторожностью впускать ее в свой кабинет через садовую калитку только ночью. Заметив, что из дома жреца не раз выходила на рассвете женщина под густой вуалью, некоторые люди распустили слух, будто это балерина и будто архиерей питает особое расположение к юной девице, которая, действительно, способна была и посильней разволновать любого мужчину, окажись он на месте жреца. Как бы там ни было, но погонщик переговорил со своей женой, госпожа Кробила — с модисткой, модистка — со своим братом, брат — с горничной. И так как горничная имела огромное влияние на балерину, о которой предполагали, что она имеет огромное влияние на жреца, а тот — на богачей Абдеры и... их жен, то Антракс ни минуты не сомневался в том, что передал свое дело в самые надежные руки.

Но, к несчастью, выяснилось, что фаворитка балерины была столь же мало склонна оказывать свои всемогущие услуги бесплатно, как и Антракс — давать пользоваться тенью своего осла. У нее существовала своего рода такса, согласно которой любая услуга, требовавшаяся от нее, предполагала выражение признательности, по крайней мере, в четыре драхмы. В данном случае менее всего можно было надеяться, что она уступит хотя бы полдрахмы, ибо, по ее словам, она вынуждена была совершить прямо-таки насилие над своей стыдливостью, принимаясь хлопотать о деле, где главным действующим лицом являлся осел. Одним словом, Ирида³ настаивала на четырех драхмах, а это было как раз вдвое больше того, что мог бы выиграть бедняга в случае счастливого исхода тяжбы. Итак, он опять оказался в затруднении. Разве мог надеяться бедный погонщик противостоять противнику, не имея прочной поддержки; кроме справедливости своего дела, противнику, которого поддерживал целый цех и который повсюду хвастался, что победа в его руках?

Наконец Антракс придумал средство, каким образом он смог бы без вмешательства балерины и ее горничной расположить к себе жреца. Более всего привлекало его в этом средстве то, что за ним не надо было далеко ходить. Короче, у него имелась дочь Горго, которая вполне сносно пела и играла на цитре, надеясь пристроиться в театр. Девушка не была красавицей, но стройная фигура, пара черных больших глаз и свежий цвет юности достаточно восполняли, по мнению Антракса, отсутствие красоты. И в самом деле, хорошенько умывшись, в своем праздничном наряде со смоляными кудряшками и с букетиком цветов, приколотым на груди, она почти напоминала дикую фракийскую девушку Анакреонта⁴. И когда в результате более точных спра-

вок выяснилось, что архижрец Агатирс является также любителем игры на цитре и разных песенок, известных Горго во множестве, то у Антракса и Кробилы появилась великая надежда достичь своей цели кратчайшим способом, благодаря таланту и фигуре их дочери.

Итак, Антракс обратился к камердинеру архижреца, а Кробила между тем наставляла девицу, как ей следует себя вести, чтобы вытеснить балерину и стать единственной хозяйкой садовой калитки. Дело свершилось по их желанию. Камердинер из-за склонности своего господина к переменам и разнообразию нередко оказывался в затруднительном положении и, вынужденный удовлетворять желания жреца, обеими руками ухватился за эту возможность: юная Горго для дебютантки сыграла свою роль мастерски. Агатирс нашел в ней соединение наивности, задора и дикой грации, привлекшей его своей новизной. Короче, едва она два или три раза пропела у него в кабинете, как Антракс из верных источников узнал, что Агатирс поручил вести его справедливое дело различным судьям и определенно заявил, что не намерен отдавать в жертву крючкотворству сикофанта Физигната и пристрастия цехового старшины Пфрима даже самого бедного клиента Ясонова храма.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Судебное заседание. Доклад ассессора Мильтиада. Приговор и что за ним последовало

Между тем наступил день, когда эту странную тяжбу должен был разрешить суд. Сикофанты принялись за работу, и бумаги были переданы Мильтиаду, в беспристрастности которого весьма сомневались недоброжелатели зубного лекаря. Ибо, действительно, нельзя было отрицать, что он находился в очень близких отношениях с сикофантом и кроме того ходил упорный слух, что мадам Струтион ^{1*}, считавшаяся одной из самых красивых женщин, сама лично несколько раз посвящала его в справедливое дело мужа. Но так как эти доводы не имели под собой никаких оснований, а очередность в исполнении служебной обязанности пала в этот раз на Мильтиада, то все осталось без изменений.

Мильтиад представил историю спора столь объективно и изложил все судебные мотивы и сомнения в этом деле столь подробно, что слушатели долго не могли понять, куда же он собственно гнет. Он не отрицал, что у противников есть много «за» и «против». С одной стороны, казалось бы яснее ясного, что тот, кто нанял осла в качестве основного предмета тем самым как бы молчаливо подразумевал в договоре и приложении, аксессуарий к нему,

^{1*} Нам хорошо известно, что это выражение звучит не по-гречески. Но мадам Струтион подобна госпоже Дамон в наших комедиях ¹. И не все ли равно читателю, каково было имя жены зубного врача!

то есть тень осла. Или же (если допустить иной молчаливый уговор), поскольку тень следует за телом, то значит лицу, нанявшему осла, должно быть разрешено беспрепятственно пользоваться по своему усмотрению и тенью такого, тем более, что естеству осла не было причинено ни малейшего ущерба.

С другой стороны, не менее ясно, что хотя тень и нельзя рассматривать ни в качестве существенной, ни в качестве побочной части осла, то, следовательно, от нанимателя ни в коем случае нельзя было бы и ожидать, чтобы он вместе с телом молчаливым образом желал нанять и его тень. Однако же, ввиду того, что упомянутая тень не может существовать сама по себе или же вне упомянутого осла — (ведь тень осла не что иное, как ослиная тень, и владелец осла с полным правом может считаться также и владельцем исходящей от осла тени) — то никто не может его заставить уступить нанимателю безвозмездно. Кроме того, если даже допустить, что тень — акцессорий неоднократно упомянутого осла, то это еще не дает никакого права нанимателю пользоваться ею, поскольку в контракте он выговорил для себя не любое использование осла, а лишь такое, без которого не могло бы быть выполнено условие договора, то есть задуманное им путешествие. Но так как в законодательстве города Абдеры нет ни одного закона, который бы ясно и внятно толковал данный случай и решение по нему должно быть вынесено исключительно из сущности самого дела, то все упирается в обстоятельство, оставленное без внимания сикофантами обеих сторон, или, по крайней мере, лишь слегка ими затронутое, а именно, в вопрос: можно ли относить то, что называется тенью, к вещам общего достояния или же к тем особенным вещам, на которые имеют или могут приобрести исключительное право отдельные лица? И поскольку при отсутствии положительного закона согласие и обычаи человеческого рода, являющиеся истинными оракулами самой природы, имеют, по справедливости, силу положительных законов и в соответствии с этим всеобщим обычаем, тенями предметов (принадлежащими не только отдельным лицам, но и целым сообществам и даже самим бессмертным богам) доныне разрешалось пользоваться беспрепятственно и безвозмездно, то отсюда следует, что *ex consensu et consuetudine generis humani**, упомянутую тень, подобно свежему воздуху, ветру, погоде, реке, ночи, дню, лунному свету и пр., нужно отнести к вещам общего достояния, наслаждаться коими дозволено любому человеку и на которые — если только к названному наслаждению не присоединятся некоторые исключительные обстоятельства, — право моментального владения приобретает каждый, кто первый воспользуется ими.

Итак, взяв за основу этот тезис (для его подтверждения пронизательный Мильтиад привел массу примеров, которыми мы не хотели бы обременять читателя), он стремился доказать, что тень всех ослов во Фракии, а следовательно, также и та, что послужила непосредственным поводом данной тяжбы, столь же мало может считаться собственностью отдельного лица, как тень горы Афон или же городской абдерской башни.

* Исходя из общего мнения и обыкновения человеческого рода (*лат.*).

Отсюда вытекает, что неоднократно упомянутая тень не может быть ни унаследована, ни куплена, ни преподнесена в дар *inter vivos mortis causai**, ни отдана внаймы или же каким-нибудь иным образом сделана предметом гражданского контракта. Исходя из этих и других приведенных причин в деле погонщика ослов, истца Антракса, обвиняющего зубного лекаря Струтиона в причиненном им истцу ущербе путем незаконного присвоения ослиной тени (*salvis tamen melioribus ***, суд постановил: ответчик имел полное право воспользоваться по своему усмотрению упомянутой тенью, истцу же, несмотря на все его возражения, не только отказать в его незаконных притязаниях, но и обязать его возместить все убытки, понесенные ответчиком в ходе данного процесса и предварительного судебного расследования.

Предоставляем благосклонному и искушенному в законах читателю судить о заключении мудрого Мильтиада, приведенном, правда, лишь в кратких извлечениях. Не осмеливаясь высказывать своего суждения по этому делу, а выступая лишь в роли беспристрастного историка, ограничимся следующим сообщением. С незапамятных времен в городском суде Абдеры существовал обычай утверждать заключение референта единогласно или большинством голосов. По крайней мере так происходило свыше столетия. Да иначе и не могло быть по самой сущности абдерского суда. Ибо во время доклада, длившегося обычно очень долго, господа присяжные заседатели делали все, что угодно, но только не слушали *Rationes dubitandi et decedendi**** говорившего. Большинство из них вставали, глазели в окна, выходили, чтобы закусить в соседней комнате небольшими копчеными колбасами или печеньем, или же отправлялись нанести краткий визит своей хорошенькой подруге. А некоторые оставшиеся и, казалось, принимавшие кое-какое участие в деле, шептались со своими соседями, а то и просто дремали. Короче, между ними и говорившим существовало своего рода молчаливое соглашение, и только ради проформы за несколько минут до того, как референт перешел к окончательному заключению, все вновь появлялись на своих местах, дабы подтвердить составленный им приговор с подобающей торжественностью. До сих пор так происходило всегда, даже при более важных тяжбах. Но процессу о тени осла была оказана неслыханная честь. На нем присутствовали все, за исключением трех или четырех человек, уже заранее обещавших отдать свои голоса лекарю и не желавших отказаться от своего права вздремнуть во время судебного заседания. Каждый слушал со вниманием, достойным такого удивительного процесса. И когда окончилось голосование, оказалось, что приговор был утвержден всего большинством в 12 голосов против 8.

Тотчас же после оглашения приговора Полифон, сикофант истца, не медлил поднять свой голос против приговора как несправедливого, пристрастного, полного ничтожных доводов и апеллировал к Большому совету Абдеры. Поскольку этот процесс велся по поводу вещи, оцененной самой пострадавшей стороной не выше двух драхм, а суммы этой было далеко не достаточно

* При жизни или после смерти [дарителя] (лат.).

** Допускается, однако, более точное истолкование (лат.).

*** Доводов оспоримых и доводов решающих (лат.).

для покрытия всех законных издержек и убытков, то в суде поднялся великий шум. Меньшинство утверждало, что дело в данном случае вовсе не в сумме, а в общем юридическом вопросе, касающемся собственности и пока еще не разрешенном ни одним абдерским законом. Следовательно, в сомнительных случаях подобного рода право выносить приговор, исходя из существа дела, должно быть представлено законодателю.

Как произошло, что Мильтиад при всем своем расположении к ответчику не подумал, что приверженцы противной стороны воспользуются таким предложением и обратятся с делом в Большой совет — причина этого нам неизвестна, кроме того, что он был абдерит и, по старинному обыкновению своих земляков, подходил к любому предмету односторонне и притом достаточно поверхностно. Однако извинить его может, вероятно, то обстоятельство, что часть последней ночи, накануне суда, он провел на большом пиру, а вернувшись домой, вынужден был дать довольно длительную аудиенцию мадам Струтион и, по-видимому, ...не выспался.

После долгих споров и шума городской судья Филиппид, наконец, заявил, что при таком положении дел он не преминет запросить сенат о праве истцов подавать апелляцию. Затем он встал. Члены суда расходились довольно шумно, и обе стороны спешили посоветоваться со своими друзьями, покровителями и сикофантами о том, что же предпринять дальше.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мнение сената. Добродетель прекрасной Горго и ее последствия. Жрец Стробил появляется на сцене, и дело становится серьезней

Процесс о тени осла, вначале развлекавший абдеритов лишь своей нелепостью, начинал превращаться в событие, в котором оказались замешанными привилегии, мнимая честь, всевозможные страсти и интересы разных, отчасти даже видных граждан республики.

Цеховой мастер Пфрим поклялся головой, что его собрат по цеху должен выиграть дело. Проводя большинство вечеров в компаниях простых бюргеров, он привлек уже почти половину народа на свою сторону, и число его сторонников росло день ото дня.

Архиерей, напротив, до сих пор не считал тяжбу настолько значительной, чтобы употребить весь свой авторитет на пользу тому, кому он покровительствовал. Но когда дела его с прекрасной Горго начали становиться серьезней и он вместо ожидаемого послушания натолкнулся на сопротивление, которое в ней трудно было предположить по ее воспитанию и происхождению, более того, когда она даже дала ему понять, что «не решается более подвергать свою добродетель опасности посещения через садовую калитку», то, естест-

венно, он не замедлил приобрести право на благодарность дочери ревнием, с каким он принялся поддерживать дело ее отца.

Новый шум в городе, возникший в связи с апелляцией в Большой совет, дал ему возможность переговорить со знатнейшими советниками, причастными к делу.

— Как ни смешна эта тяжба сама по себе, — сказал он, — нельзя все же не признать, что бедный человек, находящийся под покровительством Ясона, терпит притеснения со стороны явных интриганов. Дело не в поводе процесса, слишком ничтожном, а в направлении судопроизводства, в замышляемых тайных намерениях. Наглость сикофанта Физигната, главного виновника всего этого скандала, должна быть наказана, а властолюбивого, глупого демагога цехового мастера Пфрима нужно заблаговременно укротить, прежде чем ему удастся свергнуть аристократию и пр.

Справедливости ради необходимо указать, что некоторые господа из совета вначале расценивали это дело так, как и следовало бы его расценивать, и весьма осуждали городского судью Филиппида за то, что у него не хватило благоразумия погасить нелепую распрю в зародыше. Однако постепенно мнения изменились. И безумие, вскружившее головы кое-кому из бюргеров, охватило, в конце концов, подавляющее число советников. Некоторые из них начали считать дело более важным, ибо даже такая особа, как архижрец, принимает в нем ревностное участие. Других беспокоила опасность, которая могла возникнуть для аристократии в результате поисков цехового мастера Пфрима. Одни приняли сторону погонщика ослов просто из духа противоречия; другие из действительного убеждения, что по отношению к нему творится несправедливость. А прочие стали приверженцами зубодера потому, что его противниками были лица, с которыми они вообще никогда не ладили.

При всем том эта ничтожная тяжба, хотя абдериты и были... абдеритами, никогда не вызвала бы такого брожения, если бы злой демон республики не подстрекнул вмешаться в процесс также и жреца Стробила, не имевшего для этого никакой иной причины, кроме беспокойного своего духа и своей ненависти к архижрецу Агатирсу.

Чтобы это было более понятно благосклонному читателю, мы должны, подобно древнему сказителю «Илиады», начать *ab ovo* *, тем более что тогда предстанут в надлежащем свете и некоторые места в нашем рассказе об Еврипиде и некоторые высказывания жреца Стробила против Демокрита.

* С яйца (т. е. с самого начала) (лат.) ¹.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отношения между храмами Латоны и Ясона. Различия характеров верховного жреца Стробила и архиерея Агатирса. Стробил объявляет себя приверженцем противной Агатирсу стороны. Его поддерживает Салабанда, которая начинает играть важную роль в деле

Культе Латоны в Абдере (как уверял Стробил Еврипида) не уступал в своей древности ликийской колонии¹, обосновавшейся во Фракии. Простота маленького храма могла служить достаточным тому подтверждением. И так же, как неказист был храм Латоны с виду, так же малы были доходы его жрецов. Однако голя на выдумки хитра, и господа жрецы уже давно изобрели способ облагать контрибуцией суеверия абдеритов, чтобы возместить скудость своих обычных доходов. Но поскольку и этого оказалось недостаточно, они добились того, что сенат, ничего не желавший и слышать о прибавке жалованья жрецам, изыскал все-таки для содержания священного лягушачьего пруда определенные доходы, большую часть которых бескорыстные лягушки представляли своим попечителям.

Совсем по-иному обстояло дело с храмом Ясона, этого известного предводителя аргонавтов, на долю которого выпала в Абдере честь быть принятым в сонм богов и пользоваться всеобщим поклонением по единственной, видимо, причине: самые древние и самые богатые семьи Абдеры вели свой род от этого героя. Согласно преданию, один из его потомков обосновался в городе и стал общим прародителем различных родов. Некоторые из них еще весьма процветали во времена рассказываемой нами истории. В честь героя, от которого они происходили, была сооружена сначала небольшая домашняя капелла². Со временем она превратилась в большой общественный храм, которому благочестие Ясоновых потомков обеспечило немало поместий и доходов. Когда, наконец, благодаря торговле и счастливым случайностям Абдера превратилась в один из богатейших городов Фракии, то Ясониды решили выстроить своему обожествленному предку храм, красота которого принесла бы республике и им самим славу у потомства. Новый храм Ясона стал великолепным сооружением, и вместе с относящимися к нему зданиями, садами, жилыми помещениями для жрецов, чиновников, клиентов и пр. занимал квартал города. Архиерей его должен был непременно принадлежать к древнейшей линии Ясонидов. И так как помимо солидных доходов он еще выполнял и обязанности судьи для лиц и поместий, относившихся к храму, то легко понять, что жрец Латоны не мог смотреть равнодушно на все эти преимущества Ясонова храма, и между двумя предатами возникло соперничество, перешедшее к наследникам и постоянно проявлявшееся в их поведении.

Хотя верховный жрец Латоны считался главой всего абдерского жречества, но архиерей Ясона был не ниже его и составлял со своими подчиненными

особую коллегия, находившуюся под покровительством города Абдеры и свободную от всякой иной зависимости. Праздники Латонова храма были самыми большими праздниками в республике. Но скромные его доходы не позволяли чрезмерных затрат, тогда как праздник Ясона, справлявшийся с необычайной пышностью и большими церемониями, был в глазах народа если и не самым почетным, то, по крайней мере, самым веселым праздником. И все искреннее благоговение, питаемое к древнему культу Латоны, и глубокая вера простого народа в ее жреца и священных лягушек нисколько не прибавляли авторитета верховному жрецу, мнившему себя более значительной фигурой, чем служитель Ясона. Простонародье вообще-то было более расположено к жрецу Латоны, однако это преимущество опять-таки перевешивалось тем обстоятельством, что жрец Ясона был связан с аристократическими семьями и поэтому располагал таким влиянием, что честолюбивый человек на его месте легко мог бы играть роль маленького тирана.

Ко многим причинам традиционного соперничества и неприязни между двумя князьями абдерского клира у Стробила и Агатирса прибавлялась еще и личная антипатия, являвшаяся естественным следствием их противоположных характеров.

Агатирс, скорее светский человек, чем жрец, действительно напоминал жреца только своим одеянием. Любовь к наслаждениям была его главной страстью. Ибо хотя у него и не было недостатка в гордости, но никого нельзя, пожалуй, назвать честолюбивым человеком, пока рядом с честолюбием в его душе господствует другая страсть. Он любил искусства, поддерживал близкие отношения с артистами и считался одним из тех жрецов, которые мало верят в своих богов. Во всяком случае, он частенько довольно свободно шутил насчет лягушек Латоны. И кто-то даже готов был поклясться, что слышал, как Агатирс сказал: «Лягушки богини уже давным-давно должны были бы превратиться в жалких поэтов и абдерских певцов». И неплохие отношения его с Демокритом также не свидетельствовали о ревностной вере архиерея. Короче, Агатирс был человеком бодрого темперамента, живого ума и достаточно свободного образа жизни, любимый абдерским дворянством и еще более — прекрасным полом, а за свою щедрость и фигуру, напоминавшую Ясона, он пользовался симпатией даже у низших классов. Но ничего более противоположного Агатирсу, чем жрец Стробил, и не могла бы создать причудливая природа. Человек этот, как и многие ему подобные, пришел к выводу, что постное лицо и строгий вид — надежные средства прослыть у простонародья мудрым и безгрешным. Будучи по натуре довольно угрюмым, он без особого труда выработал в себе эту важность, которая большей частью является просто свидетельством тупого ума и неотесаного нрава. Не способный понимать великое и прекрасное, он презирал все таланты и искусства, предполагающие наличие особых чувств. А его ненависть к философии была лишь маской обычной злобы дурака против тех, кто умней и ученей его. Суждения Стробила были превратными и односторонними, в своих мнениях он проявлял упрямство, в спорах — раздражительность, грубость и необычайную мстительность, когда ему казалось, что оскорблен он лично или его лягушки. Тем не менее он готов был заискивать самым низким образом перед челове-

ком, которого ненавидел, если только не мог достичь своей цели без его помощи. Кроме того, о нем говорили — и не без основания, — что за определенную сумму дариков и филиппов³ из Стробила можно сделать все на свете, даже если это и не вполне отвечало внешним проявлениям его характера.

Из противоположности таких натур, из столь многочисленных поводов для жреца Стробила к зависти и соперничеству между обоими прелатами и возникла естественным образом взаимная вражда, трудно совместимая с обязанностями их звания и положения. Она отличалась лишь тем, что Агатирс слишком презирал верховного жреца, чтобы его сильно ненавидеть, а Стробил слишком завидовал жрецу Ясона, чтобы ненавидеть его, как хотелось, всей душой.

Кроме того, Агатирс по своему происхождению и положению тяготел к аристократии. Стробил же, напротив, несмотря на его связи с некоторыми советниками, был явный друг демократии⁴, и, наряду с цеховым старшиной Пфримом, оказывал самое большое влияние на престоноародье благодаря своему характеру, важности, горячему фанатизму и общедоступности своего красворечия.

Можно заранее предположить, что процесс о тени осла или об ослиной тени, безусловно, должен был стать более серьезным, едва в него оказались втянутыми два таких мужа, как оба жреца.

Пока процесс вели городские судьи, Стробил не проявлял своей сильной заинтересованности в нем и при случае только заметил, что на месте зубного лекаря он бы действовал точно так же. Но едва он узнал от госпожи Салабанды, своей племянницы, что Агатирс принялся за дело своего клиента, как за свое собственное, он вдруг почувствовал себя обязанным стать во главе партии ответчика и помочь коварству цехового старшины всем своим влиянием, которым он пользовался у советников и народа.

Салабанда, вмешиваясь по своей старой привычке во все абдеритские тяжбы, не желала отставать и на этот раз. Кроме ее родственных отношений со жрецом Стробилом, у нее имелась еще особая причина для единодушия со жрецом, причина немаловажная, хотя хранимая в тайне. Мы уже упоминали, что эта дама из чисто политических соображений, или, быть может, из кокетства — кто знает, не присоединялось ли к ее действиям иногда то, что в современном светском французском лексиконе именуется «дамским сердцем», — всегда имела под рукой несколько покорных рабов, кое-кто из которых (как полагали) желал бы точно знать, во имя чего он служит. Тайная хроника Абдеры свидетельствует, что архижрец Агатирс имел честь быть длительное время таким рабом. И, действительно, масса обстоятельств заставляла считать этот слух не только простым предположением. Одним словом, интимная дружба между ними длилась немалое время, пока в Абдере не появилась милетская балерина и не показалась вскоре легкомысленному Ясониду столь достойной внимания, что Салабанда не преминула счесть себя принесенной в жертву. Агатирс, правда, все еще бывал в ее доме на правах старого знакомого, и госпожа Салабанда, достаточно политичная, не дала заметить в своем поведении ни малейшей перемены. Но сердце ее кипело жаждой мести. Она не упускала из виду ничего, что могло бы глубже втянуть ар-

хижреца в процесс и постоянно подогревать его ярость. Тайно, однако, она следила за каждым его шагом, за всеми дверями, ведущими в его кабинет, — парадными и черными, большими и малыми входами, — и настолько тщательно, что вскоре обнаружила его интрижку с юной Горго и дала возможность жрецу Стробилу представить рвение Агатирса в деле погонщика в гнущем свете, стараясь в то же время сама сделать архиерея посмешищем.

Агатирс, которому ничего не стоило пожертвовать своими политическими и честолюбивыми выгодами ради собственного наслаждения, порой переживал такие минуты, когда малейшее затруднение в деле, совершенно, в сущности, его не интересовавшем, подстегивало всю его гордость. И когда это случалось, горячность заводила его гораздо дальше того, куда он мог бы пойти, если бы хладнокровно обдумал дело. Причина, почему он ввязался в нелепую тяжбу, теперь уже его не занимала. Ибо прекрасная Горго, возможно, не обладая способностями или же достаточной твердостью, не смогла, несмотря на наставления своей матери, успешно осуществить первоначально задуманный план обороны от такого опасного и опытного разрушителя крепостей. Однако он уже связался с этим делом, его честь была задета, ежедневно и ежечасно ему доносили о том, как цеховой старшина Пфрим и жрец Стробил со своей шайкой повосили его, как они угрожали, как нагло надеялись повернуть дело, и этого было более чем достаточно, чтобы вызвать в нем стремление употребить всю свою власть и сокрушить своих врагов, наказав их за то, что они дерзнули выступить против него. Несмотря на интриги госпожи Салабанды, не столь искусные, чтобы Агатирс их долго не замечал, большинство сената было на его стороне. И хотя его противники использовали все, что могло озлобить народ против него, тем не менее он имел приверженцев, крепких и дюжих подмастерьев, особенно в цехах кожевников, мясников и пекарей, обладавших горячим нравом и жилистыми руками и готовых, если бы потребовалось, по первому знаку кричать или драться за него и его партию.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Абдера разделяется на две партии. Дело рассматривается советом

Такое возбуждение царило в Абдере, когда повсюду в городе начали слышаться слова — «осел», «тень», ставшие вскоре наименованиями обеих партий. О происхождении этих прозвищ нет достоверных сведений. По-видимому, партии все же не могли долго обходиться без названий, и начало этому положили сторонники зубодера Струтиона из простонародья, окрестив сами себя «теньями», потому что отстаивали права лекаря на ослиную тень. Своих же противников они называли в насмешку и из презрения — «ослами», поскольку те стремились превратить тень, так сказать, в самого осла. Не имея возможности воспрепятствовать прозвищу, сторонники архиерея, как обыч-

но случается, постепенно привыкли пользоваться кличкой, сначала ради шуток, однако, с той разницей, что острие копыа они обратили против своих врагов, связав презрительный смысл прозвища — с «тенью», а положительный и почетный — с «ослом». И коли уж суждено быть одним из двух, говорили они, то каждый порядочный человек скорее предпочтет быть настоящим ослом со всем, что к нему отнесится, чем простой тенью осла.

Как бы то ни было, но в короткое время вся Абдера разделилась на две партии. И с обеих сторон страсти разгорелись так, что уже было совершенно невозможно оставаться нейтральным. «Кто ты, тень или осел?» — такой вопрос задавали друг другу простые граждане при первой встрече на улице или в трактире. И если какая-нибудь одна-единственная «тень», по несчастью оказывалась вдруг среди большого количества «ослов», то ей ничего не оставалось, как тотчас же спастись бегством или моментально совершить отступничество, или же, наконец, быть выброшенной за дверь хорошими пинками.

Возникавшие по этой причине беспорядки легко можно себе представить и без нашей помощи. В короткое время взаимное озлобление зашло так далеко, что «тень» скорее довела бы себя действительно до состояния истощенной стигийской ¹ тени, чем купила бы у пекаря противной партии хлеб за три гроша.

И женщины, как легко предположить, с немалым пылом приняли сторону партий. Ибо первая кровь, пролитая в связи с этой удивительной гражданской войной, была кровь от ногтей двух торговок, вцепившихся друг другу в физиономии на абдерском рынке. Было заметно, что подавляющее большинство абдеритов находится на стороне архиерея Агатирса. И если в какой-нибудь семье муж являлся «тенью», то можно было быть уверенным, что жена его — «ослица» и обычно такая горячая и несдержанная, что трудно себе и представить. Среди множества отчасти пагубных, отчасти комичных последствий партийных страстей, охвативших абдериток, немаловажным было и то, что из-за них порой расстраивались любовные отношения, потому что упрямый Селадон ² скорее был готов отказаться от своих притязаний на любимую, нежели от своей партии. И напротив, иному несчастному любовнику, который годами напрасно добивался благосклонности красавицы и никакими способами не мог преодолеть ее антипатии, теперь для полного счастья нужно было только убедить даму, что он — осел.

Тем временем в сенате был сделан предварительный запрос, могут ли истцы передать дело на апелляцию в Большой совет. Несмотря на то, что почтенная коллегия имела случай впервые высказаться по ослиной проблеме, сразу же обнаружилось, что каждый из сенаторов уже находится на стороне определенной партии. Архонт Онолай был единственным, кто испытывал затруднение, стремясь придать процессу более или менее приемлемый характер. Можно было заметить, что он говорил значительно тише обычного и закончил свою речь примечательными и зловещими словами о том, что опасается, как бы ослиная тень, из-за которой так горячо спорят, не омрачила бы славу республики на многие столетия. По его мнению, было бы лучше всего отклонить апелляцию как неуместную, подтвердить решение городского суда, исключая пункт об издержках (они могли бы быть взаимным образом воз-

мешены) и навсегда заставить обе партии умолкнуть. Тем не менее он все же прибавил, что поскольку большинство считает законы Абдеры недостаточными для разрешения столь незначительной тяжбы, то он желал бы, чтобы Большой совет дал по этому случаю особое определение. Он ведь уже предлагал поискать предварительно в архивах и выяснить, не бывало ли в прошлом подобных дел и как в этом случае поступали.

Умеренность архонта, которую беспристрастное потомство единодушно оценит как проявление истинной государственной мудрости, истолковали тогда как слабость и флегматичное равнодушие. Многие сенаторы из партии архиерея Агатирса обстоятельно и с большой страстью доказывали, что когда дело касается прав и вольностей абдеритов, то здесь не может быть незначительных вещей. Там, где нет закона, не может существовать и суд. И первый же случай, когда судьям было бы дозволено решить тяжбу по их произволу, явился бы концом свободы Абдеры. Если даже спор и касается незначительного предмета, то дело не в том, насколько он велик или мал, а в том, на чьей стороне право. И поскольку в данном случае отсутствует закон, который бы решил, должно ли было при найме осла подразумевать также и тень, то ни суд низшей инстанции, ни сам сенат не могли бы осмелиться присудить нанимателю то, на что сдающий внаймы имеет по меньшей мере такое же или даже несравненно большее право. Иначе это был бы очевидный тиранический произвол. Ибо из сущности их контракта ни в коем случае не вытекает, чтобы сдающий внаймы имел в виду сдать нанимателю также и тень своего осла и тому подобное. Один из этих господ договорился до того, что сгоряча выпалил: он был всегда ревностным патриотом, но скорей предпочел бы увидеть всю Абдеру в огне, нежели позволить, чтобы кто-нибудь из его сограждан произвольно оспаривал у другого гражданина хотя бы тень пустого ореха.

Тут уж лопнуло терпение у цехового старшины Пфрима.

— Огонь следует разжечь тем человеком, который столь нагло угрожает целому городу и осмеливается говорить такое. Я не ученый,— продолжал он,— но, клянусь богами, я не позволю выдавать мышиный помет за перец! Надо совсем рехнуться, чтобы заставить разумного человека поверить в то, что требуется особый закон для решения вопроса, может ли тот, кто заплатил чистыми деньгами за право садиться на осла, сесть также верхом и на его тень? Вообще стыдно и смешно видеть, как такие серьезные и разумные люди ломают голову над тяжбой, которую моментально разрешил бы ребенок. Когда же было слыхано, что тень относится к предметам, которые сдают внаймы?

— Господин цеховой старшина,— прервал его советник Буфранор³,— вы сами себя побиваете, утверждая это. Ибо если тень осла не может быть сдана внаймы, то ясно, что она и не сдавалась, потому что *a non posse ad non esse valet consequentia**. Таким образом, зубной лекарь, согласно вашему утверждению, не имел на тень никакого права, и приговор, следовательно, недействителен.

* Чего нельзя достигнуть, того, следовательно, не существует (лог.).

Цеховой старшина смутился. И так как ему сразу не пришло в голову, что следует ответить на этот тонкий довод, он начал еще больше кричать и призывал небо и землю в свидетели, что он скорее позволит выщипать свою седую бороду по волоску, чем стать на старости лет ослом. Господа из его партии поддерживали Пфрима всеми силами. Но их перекричали. И все, чего они, в конце концов, добились с помощью архонта и советника, действовавшего втайне, заключалось в том, чтобы дело оставить пока *in statu quo* * и выяснить в архивах, не было ли в прошлом судебной аналогии, которой можно было бы воспользоваться и без особых затруднений разрешить дело.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Отличный порядок в абдерской канцелярии. Судебный опыт прошлого нисколько не помогает. Народ собирается штурмовать ратушу, но его успокаивает Агатирс. Сенат решает передать дело Большому совету

Канцелярия города Абдеры, — кстати, о ней сейчас можно сказать несколько слов, — была так хорошо устроена и так хорошо работала, как этого только можно было ожидать в столь мудрой республике. Однако она, как и многие прочие канцелярии, имела два недостатка, которые вызывали в Абдере вот уже два столетия почти ежедневные жалобы.

Один из этих пороков заключался в том, что документы и судебные акты хранились в очень душных и сырых помещениях, где из-за недостатка воздуха они плесневели, гнили, были изъедены молью и постепенно становились совершенно негодными. А второй — в том, что, несмотря на все тщательные поиски, здесь нельзя было ничего отыскать. Всякий раз, когда такое случалось, какой-нибудь патриотично настроенный советник, с согласия всего сената, обычно бросал замечание: «Только канцелярский беспорядок виной всему!» И действительно, какое еще предположение могло бы удачней и более понятно объяснить подобное явление. Поэтому всегда, когда совет принимал решение разыскать что-нибудь в канцелярии, то каждый уже знал заранее, что ничего не найдется, и большинство на это рассчитывало. И именно поэтому обычное разъяснение на следующем заседании совета — «Несмотря на все поиски, в канцелярии ничего не найдено» — воспринималось с холодным равнодушием как факт давно ожидаемый и само собой разумеющийся.

Так случилось и на сей раз, когда канцелярии было предложено порыться в старых судебных актах и выяснить, не найдется ли там примерный приговор, который мог бы послужить светочем мудрому сенату в разрешении им необычайно трудной тяжбы об ослиной тени. Ничего обнаружено не было,

* Без изменений (лат.).

вопреки заверениям разных господ, что аналогичные случаи можно найти там в бесчисленном множестве.

Но все же усердному советнику из партии «ослов» удалось откопать акты двух судебных процессов, вызвавших в свое время большой шум в Абдере и имевших, казалось, некоторое сходство с нынешней тяжбой.

Первый из них касался спора между владельцами двух земельных участков в окрестностях о праве собственности на небольшой холм, пять-шесть шагов в окружности. Он был расположен между двумя участками и образовался от слияния нескольких кротовых нор. Тысячи мелких побочных обстоятельств вызвали такое яростное озлобление между двумя семьями, что каждая из них готова была скорей остаться без кола и двора, чем утратить свое законное право на этот кротовый холм. Затруднения абдеритского правосудия увеличивались еще и потому, что доказательства и опровержения зависели от такой невероятной комбинации ничтожных, сомнительных и неподдающихся выяснению обстоятельств, что после процесса, длившегося двадцать пять лет, разрешение тяжбы не только не продвинулось ни на шаг вперед, а, наоборот, она стала в двадцать пять раз более запутанной, чем была вначале. Вероятно, никогда бы она и не закончилась, если бы обе стороны не были вынуждены уступить земельные участки со спорным холмом посредине своим сикофантам в качестве возмещения за судебные издержки и как адвокатский гонорар *sum omni causa et actione* *. И так как под этим имелось в виду право на упомянутый маленький холм, то сикофанты в тот же день пошли на мировую и согласились посвятить этот холмик великой Фемиде, посадить на нем фиговое дерево и на общие средства воздвигнуть там раскрашенную деревянную статую богини. Было также решено, и сенат это гарантировал, что владельцы обоих участков обязаны в будущем сообща ухаживать за статуей и фиговым деревом. И как память об этой примечательной тяжбе они и сохранились до дней ослиного процесса, дерево еще в цветущем состоянии, а статуя — уже сильно обветшавшая и источенная червями.

Второй процесс еще более напоминал нынешний. Один абдерит, по имени Памфий, владел имением, приятное преимущество которого заключалось в том, что с юго-западной его стороны открывался великолепный вид на прекрасную долину, расстилавшуюся между двумя лесистыми горами и постепенно суживавшуюся вдаль, пока она, наконец, совсем не терялась в Эгейском море. Памфий говаривал обычно, что он не уступил бы никому этот вид и за сто аттических талантов. И он имел веские причины так высоко ценить имение, потому что само по себе оно было жалким и никто с точки зрения хозяйственной выгоды не дал бы за него и пяти талантов. К несчастью, один из зажиточных абдерских крестьян, сосед его именно с этой юго-западной стороны, решил построить амбар, лишивший доброго Памфия такой значительной части прекрасного вида, что, по его подсчету, имению стало, по меньшей мере, на восемьдесят талантов хуже. Памфий испробовал все возможное, чтобы и добром, и злом удержать крестьянина от этой роковой постройки. Но крестьянин настаивал на своем праве строиться на принадлежа-

* Со всеми правами и соглашениями (*лат.*).

шей ему земле всюду, где он пожелает. Возник судебный процесс. Памфий, правда, не смог доказать, что оспариваемый им вид является необходимым и существенным приложением имени или же что он лишился вследствие этого света и воздуха. Не мог он доказать и того, что его дед, купивший участок, заплатил за вид хотя бы на одну драхму больше, чем стоили тогда имения, или же, что его сосед — зависимый от него крестьянин, и он, господин, имеет право разрушить его строение. Однако сикофант Памфия утверждал, что аргументы для решения этого дела в действительности более глубокие и их следует искать в первоосновах всякого права собственности.

— Если бы даже Олимп и Элизиум¹ находились рядом с имением моего клиента, то, не будь воздух прозрачным веществом, он ни за что бы их не видел, словно у окна его дома поднялась стена до самого неба. Прозрачная природа воздуха — вот первая и истинная причина прекрасного вида, оживляющего имение моего клиента. Вольный прозрачный воздух, как известно каждому, является общей вещью, на которую все имеют одинаковое право. И именно поэтому всякая доля воздуха, еще никем не присвоенная, должна рассматриваться в качестве *res nullius** и, следовательно, как вещь никому не принадлежавшая, она может стать собственностью первого, кто ее присвоит. С незапамятных времен предки моего клиента пользовались видом долины, ставшим ныне предметом спора, они им владели и наслаждались беспрепятственно и неоспоримо. Они действительно охватили своим глазомером необходимую для этого долю воздуха и, благодаря этому захвату и давности владения, она стала неотъемлемой частью упомянутого имения, от которого нельзя отчуждать даже и самой малости без риска уничтожить основы гражданского порядка и безопасности.

Сенат Абдеры счел эти доводы весьма сомнительными. Начались тонкие и длительные споры «за» и «против». И так как Памфий спустя некоторое время был избран в совет, дело показалось еще более запутанным, а его доводы — еще более сомнительными. В конце концов крестьянин умер, не дождавшись исхода дела. А его наследники, убедившись в том, что такие бедные крестьяне, как они, ничего не добьются, судясь с господином советником, дали себя уговорить сикофантам пойти на мировую. Они заплатили судебные издержки и тем более охотно отказались от постройки спорного амбара, что уже не имели никаких средств для этого. Процесс поглотил такую часть их имения, что они уже не нуждались в амбаре для хранения малой толики оставшихся семян.

Было довольно ясно, что эти обе тяжбы мало что могут прояснить в решении данного процесса, в особенности потому, что они обе закончились мирными соглашениями. Но советник, вытащивший их на свет, по-видимому, хотел только доказать сенату, что обе тяжбы, имеющие много сходства с ослиным процессом и по важности предмета, и по тонкости юридических доводов, велись долгие годы абдерским Малым советом, без всякой апелляции к Большому совету и без каких-либо сомнений относительно прав Малого совета решать такие дела.

* Вещи никому не принадлежащей (лат.).

Все «ослы» с большим рвением подтвердили мнение своего соратника по партии, потому что, если бы дело слушалось в совете, они располагали бы там большинством голосов. Но тем упорнее протестовали «тени».

Целое утро прошло в криках и спорах. И господа, как это с ними часто случалось, разошлись бы к обеду, так и не закончив дела, если бы решающий оборот ему не придало вмешательство боюрой толпы бюргеров из партии «теней», собравшейся перед ратушей по призыву цехового старшины Пфрима, и поддержанной массой сбежавшегося простонародья самого низкого пошиба. Впоследствии партия архижреца обвиняла цехового старшину в том, что он нарочно подошел к окну и подал знак к восстанию народа. Но противная партия решительно отрицала это обвинение и утверждала: непристойный крик, поднятый некоторыми «ослами», навел стоявших внизу бюргеров на мысль, будто на их сторонников напали, и это заблуждение вызвало всю сумятицу.

Как бы то ни было, но вдруг раздался оглушительный рев под окнами ратуши: «Свобода! Свобода! Да здравствует цеховой старшина Пфрим! Долой ослов! Долой Ясонидов!» и пр.

Архонт подошел к окну и призвал мятежников к спокойствию. Но их крик усиливался. А некоторые из самых дерзких угрожали тотчас же поджечь ратушу, если господа не разойдутся и не предоставят дело на усмотрение совета и народа. Несколько бездельников и сеledочных торговков действительно ворвались силой в соседние дома и, выхватив горящие головни из очагов, вернулись обратно, чтобы показать милостивым господам, что они не шутят.

В ответ на это великое сборище сбежалось великое множество «ослов», которые, вооружившись чем попало — дубинками, каминными щипцами, мясницкими ножами, навозными вилами, спешили оказать помощь господам из своей партии. И хотя «тени» намного превосходили «ослов» числом, их отвага и презрение, с каким они относились ко всей партии «теней», побуждали «ослов» отвечать на ругательства такими сильными ударами и пинками, что появились раненые, и драка за несколько минут стала всеобщей.

При таких обстоятельствах господам в ратуше ничего не оставалось, как единогласно принять решение: исключительно из любви к миру и всеобщему благу допустить на этот раз и *сitra graejudicium* *, чтобы тяжба об ослиной тени была рассмотрена Большим советом, предоставив ему право окончательного приговора.

Между тем добрые советники так перепугались, что, с большим шумом приняв это решение, тотчас же обратились с мольбой к цеховому старшине и просили его сойти вниз и успокоить разъяренный народ. Цеховой старшина, которому было необычайно приятно видеть гордых патрициев, столь униженных властью шпандыря, не замедлил продемонстрировать им пример своей доброй воли и своего авторитета у народа. Но волнение усилилось уже настолько, что его голос — хотя он и являлся одним из лучших пивных басов в Абдере — был слышен точно так же, как голос корабельного юнга на марсе во время громого шторма и гула бушующих волн. При первой вспышке

* Без юридических последствий (*лат.*).

ярости народа, узнавшего Пфрима не сразу, он даже рисковал своей жизнью, если бы, к счастью, как раз в этот момент не появился архижрец Агатирс с прикрепленной к его посоху бараньей шкурой и со своей свитой, следовавшей за ним, чтобы остановить мятеж. Он считал бунт удачей для начала атаки на фланги противной партии. Агатирс заверил народ, что его требования будут удовлетворены и что он сам первый предлагает передать дело в Большой совет.

Публичное заверение архижреца, его снисходительность и приветливость, соединившиеся с благоговением, с которым абдеритский народ привык относиться к позолоченной бараньей шкуре², произвели такое благотворное действие, что за несколько минут все вновь успокоилось, и рынок уже громко оглашался кликами: «Да здравствует архижрец Агатирс!» Раненые спокойно поплелись домой перевязывать раны, а прочая толпа потащилась за возвращающимися назад архижрецом. Цеховой старшина, однако, убедился, что большая часть прежде верных ему «теней», зараженная примером толпы, увеличила торжество его противника, и в этот момент всеобщего угара была готова обрушить все свое дикое озорство, с которым она расправлялась с врагами, на своих союзников из партии «теней».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Политика обеих партий. Архижрец использует свое преимущество. «Тени» отступают. Решающий день назначен

Неожиданное преимущество, обретенное архижрецом в борьбе с «теньями», было для них тем более прискорбно, что он не только отравил им радость и славу победы, но и заметным образом ослабил саму их партию. Он вообще дал им понять, как мало они могут полагаться на легкомысленное простонародье, которое всегда склоняется в ту сторону, откуда ветер дует, и часто само не знает, чего оно хочет, и еще менее — чего хотят те, кто им управляет. Агатирс, ставший теперь явным главой «ослов», разведал через своих эмиссаров, что противная партия завоевала расположение бюргерства только благодаря тому, что вначале сторонники погонщика ослов сопротивлялись передаче дела в Большой совет.

Так как совет этот состоял из четырехсот членов, представлявших все бюргерство Абдеры, и примерно половина его действительно была лавочниками и ремесленниками, то каждый из этих простых людей чувствовал себя лично оскорбленным, полагая, что его привилегии стремятся ограничить. И поэтому каждый из них легко поверил в живую выдумку Пфрима, будто существует намерение полностью уничтожить демократию в республике.

На самом же деле то, что в абдерском государственном устройстве казались демократией, было просто ее призраком и политическим обманом¹. Ибо

Малый совет, состоявший на две трети из родовитых семейств, в сущности делал все, что хотел. В абдерской конституции случаи созыва Большого совета были определены довольно туманно и от Малого совета почти целиком зависело, когда и как часто соблаговолит он созвать четырехста человек, которые должны были дать свое согласие на то, что уже давно было решено Малым советом. Но именно потому, что для абдерского простодушья право это не много значило, оно и оберегало его так ревностно. Тем более требовалось скрывать от народа те вожжи, при помощи которых им управляли, хотя он и думал, что управляет сам.

Объявить себя вдруг сторонником дела, казавшегося очень важным для простых людей и сделать это как раз в решающий момент — было поистине мастерским ходом архиерея! И так как при этом он ничем не рисковал, а, скорей, наоборот, нанес основательный удар планам противной партии, то последняя имела все причины задуматься, каким образом она могла бы лишиться архиерея и его приверженцев преимущества и свести на нет благоприятное впечатление, произведенное им на народ.

Главари «теней» собрались в тот же вечер в доме у госпожи Салабанды и решили: вместо того, чтобы добиваться у архонта дня созыва Совета четырехсот, постараться, наоборот, отсрочить его (если это окажется необходимым), дав народу время вновь остыть. А между тем пытаться настойчиво и терпеливо убедить бюргерство в том, насколько глупо было с его стороны считать какой-то заслугой архиерея и его соратников-«ослов» то, что было вовсе не выражением доброй воли, а просто вынужденным результатом их слабости. Если бы «ослы» имели возможность вырвать процесс из рук Большого совета, они бы это сделали, не задумываясь, приятно ли это народу или нет. Перемена в их прежнем обычном поведении не что иное, как грубая уловка, чтобы расколоть народную партию, и не следует обманываться на этот счет. Напротив, нужно еще более быть настороже, ибо народ намерены, по-видимому, усыпить сладкими речами и незаметно довести до состояния, когда он, не ведая того сам, станет орудием собственного угнетения.

Верховный жрец Стробил, присутствовавший на этом совещании, одобрял все, что только могло бы ослабить авторитет его соперника у бюргерства и представлять его намерения подозрительными.

— Однако я очень сомневаюсь, — прибавил он, — чтобы мы дождались желаемых плодов. Но я ему готовлю иной и тем более сильный яд, что он будет неожиданным. Еще не настало время объясниться понятней. Дайте мне только возможность приготовить эту отраву! Пусть он льстит себя надеждой, что восторжествует над жрецом Стробилом. Радость его будет слишком солона, поверьте мне. А пока мы должны молчать о своих планах и о том, когда они свершатся, если только честно, как я надеюсь, относимся друг к другу и серьезно намерены победить своих врагов. Агатирса надо ввести в заблуждение, будто мы сражаемся только одним флангом и вся наша надежда покоится на уверенности, что мы добьемся перевеса в Большом совете.

Все пришли к выводу, что верховный жрец необычайно тонко понял дело. И общество разошлось, охваченное большим любопытством относительно тайного плана против Агатирса, убежденное в том, что если речь идет о свер-

жени архижреца храма Ясона, то дело это попало в самые надежные руки.

Между тем Агатирс не преминул извлечь всю возможную выгоду из небольшой победы, одержанной им в затруднительную минуту благодаря присутствию духа. Среди толпы, провожавшей его до двора жреческого дома, он велел раздавать хлеб и вино², убедительно увещавая ее успокоиться и разойтись. И, вернувшись домой, они не могли нахвалиться перед своими знакомыми и соседями обходительностью и щедростью архижреца. Разбираясь в духе республики достаточно хорошо, чтобы не пренебрегать благосклонностью народа, Агатирс все же понимал, что достиг пока немногого. Крайне необходимо было полностью обеспечить себе симпатии большинства четырехсот, отчасти потому, что все зависело от них, отчасти же потому, что если они будут завоеваны, то на них можно положиться больше, чем на прочий народ. Хотя он, правда, уже и располагал значительным числом сторонников среди них, но кроме определенной части и ревностных «теней», с которыми он не хотел связываться, было еще очень много в большинстве своем самых зажиточных и самых влиятельных бюргеров, либо совсем еще не примкнувших ни к какой партии, либо же склонявшихся к партии «теней» только потому, что главарей противной партии им изображали как властолюбцев и насильников. Они, дескать, затеяли смешную оноскиамахию³ исключительно для того, чтобы свергнуть город в сумятицу, а беспорядки, ими вызванные, использовать как повод и орудие своих честолюбивых замыслов.

Привлечь этих людей на свою сторону казалось ему теперь делом самым главным, ибо они обеспечили бы победу его партии. Уже в тот же вечер он пригласил их всех к себе в гости. Большинство пришло. И архижрец, обладавший талантом придавать своей политике характер особой откровенности и искренности, не скрыл от них, что он пригласил их для того, чтобы с помощью таких порядочных и благоразумных людей развеять вздорные слухи, распространяемые о нем, как он слышал, в среде бюргерства. Человека его сана считать главой партии в тяжбе между погонщиком ослов и зубодером, в тяжбе, где речь идет о тени осла,— все это, говорил он, кажется ему настолько смешным, что он даже и не считает нужным опровергать вздорное обвинение. Однако бедный Антракс является клиентом храма Ясона и он как жрец не мог отказаться принять участие в его судьбе, насколько этого требовала справедливость. Если бы не известная всем вспыльчивость цехового старшины Пфрима, совсем некстати вступившегося за лекаря,— и не потому, что тот прав, а просто потому, что он записан в цех сапожников,— то это ничтожное дело ни за что бы так не разрослось. Но огонь уже зажжен, и всегда найдутся люди, которые постараются его раздувать и поддерживать. Со своей стороны, он положил себе за правило не вмешиваться в дела, его не касающиеся. Однако то, что он осмелился своим появлением и миролюбивыми уговорами утихомирить опасный мятеж, поднятый утром перед ратушей сторонниками цехового старшины Пфрима, это, надо надеяться, никто из здравомыслящих людей не сочтет неподобающей дерзостью, скорей, напротив, поступком хорошего гражданина и патриота, особенно потому, что жрецу всегда приличествует более способствовать миру и предотвращать беспорядки, нежели подливать масла в огонь, как делают иные, называть которых

ему нет надобности. Но поскольку тяжбу об ослиной тени уже однажды загубили в первой инстанции и она теперь выросла в процесс, захвативший всю Абдеру, то он не отрицает, что всегда желал — и чем быстрее, тем лучше, — передать дело Большому совету, не столько, чтобы бедный Антракс получил должное удовлетворение (без сомнения, высокая судебная инстанция не откажет ему в нем), сколько для того, чтобы ограничить, наконец, наглость сикофантов каким-нибудь соответствующим законом и, по возможности, предотвратить в будущем подобные тяжбы, делающие мало чести Абдере.

Агатирс изложил все это с таким смирением и сдержанностью, что его гости дивились несправедливости тех, кто стремился представить этого благонамеренного господина зачинщиком беспорядков. Все они теперь держались совершенно противоположного мнения, и за несколько часов он успел сделать из этих добрых людей, продолжавших считать себя беспристрастными, таких хороших слов, которых, вероятно, трудно было сыскать в Абдере, особенно после того как великолепные вина, орошавшие трапезу, полностью истребили в них всякую тень недоверия и сделали каждое сердце восприимчивым к тем впечатлениям, которые он постарался им внушить.

Можно легко себе представить, что этот шаг Агатирса немало обеспокоил противную партию. Он вызвал вскоре очень заметные мятежные настроения среди части до сих пор равнодушных граждан. Все батареи, с удвоенным рвением направленные против мятежа, оказывали обратное действие, а злые умыслы «теней», в сравнении со сдержанностью и патриотическими убеждениями прелата, стали еще только более очевидными. Поэтому «тени» испытывали крайнюю растерянность, не зная, что же им делать, чтобы вновь придать силу своей партии, переживавшей почти полный упадок. Но жрец Стробил поддерживал их мужество и уверял, что как только будет назначен день суда, он вызовет над головой этого маленького Ясона (как он его называл) такую грозу, которую тот при всей своей хитрости и предвидеть не может, и она тотчас же придаст делу совсем другой оборот.

«Тени» теперь успокоились настолько, что Агатирс и его приверженцы приписывали кажущееся уныние противников их неверию в победу после двухкратного поражения. Они удвоили свои усилия, чтобы архонт Онолай, сын которого был близким другом архиерея Агатирса и одним из самых ярких «ослов», назначил ближайший день созыва Большого совета. Благодаря своим неотступным просьбам, они, наконец, добились, что сие торжество назначили на шестой день после последнего заседания совета. Люди, привыкшие судить о мудрости какого-либо плана или предприятия по их успехам, возможно, увидят в беспечности архиерея, не воспользовавшегося внезапным прекращением деятельности противной партии, недостаток благоразумия и осторожности, в чем, конечно, трудно полностью его оправдать. Несомненно, гораздо предусмотрительней было бы с его стороны приписать эту бездеятельность какому-нибудь тайному подвоху, подготавливаемому ими в тишине, чем упадку их духа. Но как раз в этом и заключался один из недостатков Ясониды: слишком живо ощущая собственную силу, он постоянно презирал своих врагов более, чем позволяла мудрость. Он почти никогда не счи-

тал нужным подумать, какой вред могут причинить ему враги, потому что неизменно был уверен, что у него найдутся средства парализовать любое зло. Тем не менее можно предположить, что в данном случае он думал, как и тысячи других людей, будь они на его месте, и полагал весьма целесообразным воспользоваться добрым расположением своих новых сторонников, пока оно еще не остыло, — и не дать врагам вновь опомниться.

Причиной того, что результаты превзошли его ожидания, явилась каверза жреца Латоны, последствия которой при всем своем благоразумии Стробил предвидеть не смог. И хотя она была вполне в духе этого человека, он обставил ее так, что только непосредственный опыт мог бы обнаружить, что он способен допустить просчет.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

*Жрец Стробил подкладывает мину под Агатирса.
Созыв Коллегии десяти. Архижреца вызывают в суд,
но он находит средства с пользой для себя уклониться
от него*

За день до рассмотрения Большим советом процесса об ослиной тени, потрясавшего несчастный город Абдеру уже в течение нескольких недель, верховный жрец Стробил, необычайно взволнованный, рано утром поспешно вошел к архонту Онолаю вместе с двумя другими жрецами Латоны и несколькими лицами из простого народа, чтобы сообщить его милости о чудесном знамении, которое (как были основания опасаться) угрожало республике огромным несчастьем.

По его словам, две ночи подряд некоторые люди, принадлежащие к приходу храма Латоны, слышали, как лягушки священного пруда вместо своего обычного «Брекекек, коакс, коакс», роднящего их со всеми прочими лягушками, и даже стигийскими (в чем можно убедиться у Аристофана¹) начали издавать необыкновенные и жалобные звуки, хотя свидетели, не осмеливаясь приблизиться к пруду, не могли достаточно отчетливо их разобрать. По донесениям, полученным вчера вечером, дело показалось ему настолько важным, что он решил провести всю ночь у священного пруда вместе с подчиненными ему жрецами. До полуночи царилла глубочайшая тишина. Но вдруг раздался глухой, предвещающий несчастье шум. И, подойдя ближе, они различили весьма внятные возгласы: «Увы! Увы! Фей! Эледелей!»² Вопли длились целый час, и кроме жрецов их слышали все те, которых он привел с собой в качестве свидетелей неслыханного и внушающего опасения чуда. И поскольку не приходится сомневаться, что посредством этого грозного и чудесного знамения богиня хотела предостеречь любимую свою Абдеру от надвигавшегося на нее великого несчастья или же стремилась побудить их расследовать и покарать какое-то еще не раскрытое преступление, способное

обрушить гнев богов на весь город, то он, по долгу жреца и во имя Латоны, просит его милость незамедлительно собрать Коллегию десяти, для того чтобы обсудить этот случай и в соответствии с его важностью принять необходимые меры на будущее.

Архонт, весьма склонявшийся в своих взглядах на священных лягушек к равнодушеству Демокрита, покачал головой на это предложение и некоторое время стоял молча, ничего не отвечая жрецам. Но серьезность, с какой господа излагали дело, и удивительное впечатление, уже произведенное этим случаем на присутствующих лиц, дали ему возможность легко представить себе, что через несколько часов весь город узнает о мнимом чуде и начнутся ужасные распри, которые не позволят ему остаться равнодушным. Никакого иного выхода не было, кроме как тотчас же в присутствии жрецов отдать приказание, чтобы десять членов Коллегии ввиду исключительности происшествия собрались в течение часа в храме Латоны.

Между тем, благодаря усилиям верховного жреца, весть о чудесном знамении, услышанном три ночи тому назад в роше Латоны, уже распространилась по всей Абдере. У друзей архиерея Агатирса, не столь простодушных, чтобы дать обмануть себя подобным мошенничеством, она вызвала ожесточение, ибо они не сомневались, что за чудом скрывается какой-то злой умысел против их партии. Многие знатные молодые люди и дамы из высшего общества высокомерно посмеивались над мнимым чудом и сговаривались отправиться следующей ночью на лягушачий пруд Латоны послушать концерт новомодной элегической музыки. Но на простой народ и на большинство состоятельных людей, мало чем отличавшихся в подобных вещах от простонародья, выдумка верховного жреца произвела большое впечатление. «Фей, фей, эделелей» лягушек прервало внезапно все гражданские и домашние занятия. Старые и молодые, женщины и дети собирались на улицах и с испуганными лицами выспрашивали друг у друга о подробностях чуда. И так как каждый уверял, что он слышал о нем из уст самого очевидца, и впечатление, производимое при этом на слушателя, естественно, подстегивало рассказчика прибавлять еще кое-что интересное от себя, то менее чем через час чудо обросло такими ужасными подробностями, что при одном рассказе о нем у людей волосы становились дыбом. Некоторые уверяли, что во время злосчастного пения лягушки высовывали из пруда человеческие головы. Другие, — что у них пышущие огнем глаза, величиной с грецкий орех. Третьи, — что в это же самое время они видели всякие привидения, бродившие по роше и издававшие страшные вопли; четвертые, — что при ясном небе над прудом ужасно гремел гром и сверкала молния. И, наконец, некоторые очевидцы утверждали, что они совершенно отчетливо слышали повторявшиеся слова: «Горе тебе, Абдера!» Короче, чудо, как обычно, росло, переходя из уст в уста, и чем более нелепыми, противоречивыми и невероятными становились сообщения о нем, тем больше верили в него. И когда вскоре увидели членов Коллегии десяти, спешащих в необычное время и с важным видом в храм Латоны, то уже никто из граждан не сомневался, что в урне абдерской судьбы, должно быть, находится жребий с событиями величайшей важности, и весь город с трепетом ожидал предстоящих испытаний.

Коллегия десяти состояла из архонта, четырех старейших советников, двух цеховых старшин, верховного жреца Латоны и двух попечителей священного пруда и являлась самым почтенным из всех абдерских судилищ. Все дела, касавшиеся непосредственно религии, находились в его ведении, и авторитет его был почти непререкаемым.

Давнее наблюдение свидетельствует, что разумные люди становятся и старости мудрей, а дураки — глупей. Поэтому абдерский Нестор³ не много выигрывал от того, что переживал два или три новых поколения. Без риска можно предположить, что в целом члены абдерской Коллегии десяти составляли избранный круг самых законченных дураков во всей Абдере. Эти добрые люди настолько были готовы принять рассказ верховного жреца за факт, не подлежащий никакому сомнению, что свидетельские показания они считали чистой формальностью, с которой следует разделяться как можно быстрее. Найдя этих господ уже заранее вполне убежденными в достоверности чуда, Стробил полагал, что не рискует ничем, если, не теряя времени, сразу перейдет к самому главному, ради чего он и выдумывал всю басню.

— С первого момента, — начал он, — как я собственными ушами убедился в этом чудесном знамении, не имеющем себе, позволю сказать, примера в анналах Абдеры, во мне зародилась мысль, что это, быть может, предостережение богини о ее мести, которая обрушится на наши головы за какое-то скрытое и не наказанное преступление. И это побудило меня просить его милость архонта созвать настоящее заседание почтеннейшего суда десяти. То, что являлось тогда лишь предположением, стало за несколько часов реальностью. Преступник уже обнаружен, и преступление доказано свидетелями, на правдивость которых тем более следует положиться, что выступить против преступника, пользующегося большим авторитетом, их мог бы заставить только страх простолоюдина перед гневом богов.

Могли бы вы себе представить, высокочтимые господа, что кто-то среди нас осмелится презирать нашу древнюю религию, ее обряды и святыни, унаследованные нами от первых основателей нашего города и сохранившиеся незапятнанными в течение столетий? Чтобы кто-нибудь, не питая почтения ни к законам, ни к общей вере, ни к правам нашего города, дерзко надругался бы над тем, что всем нам свято и дорого? Одним словом, могли бы вы предполагать, что в Абдере живет человек, который, вопреки закону, содержится в своем саду аистов, ежедневно откармливая их лягушками из пруда Латоны и других священных прудов?

Изумление и возмущение выразилось на всех лицах при этих словах. И архонт, чтобы не показаться единственным исключением, вынужден был притвориться таким же ошеломленным, как и его коллеги.

— Возможно ли? — вскричали одновременно трое или четверо. — И кто же этот злодей, совершающий такое преступление?

— Извините меня, — прервал Стробил, — если я попрошу смягчить вас резкое выражение. Со своей стороны, я готов скорее поверить, что источником очевидного презрения к нашим правам и порядкам является не безбожие, а просто легкомыслие, и то, что со времен посеянных среди нас Демокритом плевед зовется сегодня философией. Я хочу и должен верить в это

еще и потому, что человек, уличаемый в преступлении более чем семью надежными свидетелями, сам принадлежит к духовному сословию, сам жрец, короче, это — Ясонид Агатирс.

— Агатирс? — воскликнули в один голос все девять изумленных членов Коллегии. Трое или четверо из них побледнели и были смущены, узнав, что столь высокопоставленное лицо, с которым они всегда поддерживали хорошие отношения, замешано в таком скверном деле.

Стробил не дал им времени опомниться. Он приказал вызвать свидетелей. Их выслушали поочередно, и оказалось, что Агатирс действительно содержал в своем саду с некоторого времени двух аистов, которых часто видели летающими над священным прудом, после чего тот или иной из квакающих его обитателей, гревшийся на солнце, становился их добычей.

Хотя обвинение казалось несомненно доказанным, архонт Онолай все же полагал, что было бы благоразумнее во избежание неприятных последствий обойтись с таким человеком, как архижрец храма Ясона, осторожней. Он предложил удовлетвориться тем, чтобы Коллегия десяти доброжелательно дала понять Агатирсу: она склонна на этот раз думать, что дело, в котором его обвиняют, произошло без его ведома. Однако, зная справедливый образ его мыслей, Коллегия ожидает, что он без малейшего отлагательства выдаст преступных аистов попечителям священного пруда и тем самым докажет уважение к законам и религиозным обрядам своего города.

Трое из девяти членов Коллегии поддержали предложение архонта. Но Стробил и прочие яростно выступали против него. Они утверждали: ведь помимо того, что никоим образом нельзя одобрить такую чрезвычайную снисходительность по отношению к абдеритскому гражданину, обвиняемому в тяжком преступлении, судебный порядок требует также не выносить ему приговора до тех пор, пока он не будет допрошен и призван к ответу. Стробил предложил, чтобы архижреца вызвали в Коллегию и он дал ответ на предъявленное ему обвинение. Предложение это прошло шестью голосами против четырех. Итак, архижреца вызвали со всеми подобающими в этих случаях формальностями.

Агатирс был уже подготовлен к появлению посланцев Коллегии. После того как они прождали свыше часа, их, наконец, ввели в зал, где архижрец, восседая во всем своем облачении на кресле из слоновой кости, находившемся на возвышении, выслушал с величайшим хладнокровием заикающуюся речь оратора посланцев. Когда тот закончил, жрец дал знак рукой слуге, стоявшему позади его кресла.

— Отведи господ в сад, — приказал он ему, — и покажи им аистов, о которых идет речь, чтобы они могли сказать своим начальникам, что видели их своими собственными глазами. А затем приведи их обратно.

Посланцы удивились. Но почтение к архижрецу отняло у них речь, и они последовали за слугой, чувствуя себя не очень приятно. Когда они вернулись, Агатирс их спросил, видели ли они аистов. И так как все они ответили утвердительно, то он продолжал:

— Так идите же и засвидетельствуйте мое почтение суду десяти и передайте тем, кто вас послал, что эти аисты, как и все прочее, обитающее в окре-

ствостях храма Ясона, находится под покровительством Ясона, и я нахожу весьма смешной претензию господ вызывать меня в суд и судить жреца этого храма по абдерским законам.

Подобный ответ привел членов Коллегии в неопишное замешательство, хотя они и могли бы его предвидеть, ибо им было известно, что храм Ясона с его жрецами был не подсуден законам города Абдеры. А верховный жрец так разгневался, что в ярости и сам не знал, что говорил и, наконец, заключил, что всей республике угрожает гибель, если несносная гордость ничтожного и надутого попа, которого даже и не следует более считать общественным жрецом, не будет укрощена, а оскорбленная Латона не получит полного удовлетворения.

Но архонт и его три советника заявили, что Латона, к лягушкам которой они, впрочем, питают должное почтение, здесь ни при чем, если члены Коллегии преступили границы своего судебного ведомства.

— Я вам это предсказывал, — сказал архонт. — Но вы не хотели слушать. Будь мое предложение принято, я уверен, что архижрец ответил бы нам учтиво и вежливо, ибо доброе слово не пропадает даром. Но достопочтенный верховный жрец Латоны думал найти благоприятный случай выместить свою давнюю неприязнь к архижрецу Ясона. И вот оказалось, что верховный жрец и те, кто позволил себе увлечься его рвением, причинили суду десяти такой позор, которого не смоут и в течение столетия все воды Гебра и Неста. Я должен признаться, — прибавил он с горячностью, не свойственной ему уже много лет, — что я устал быть главой республики, позволяющей губить себя ослиным теням и лягушкам. И я твердо намерен еще до утра сложить с себя обязанности. Но пока я их исполняю, вы, господин верховный жрец, будете в ответе за все беспорядки, которые могут возникнуть с этого момента на улицах Абдеры.

Произнеся эти слова и бросив суровый взгляд на пораженного Стробила, архонт удалился с тремя своими сторонниками, оставив всех прочих в безмолвном недоумении.

— Что же теперь делать? — произнес, наконец, верховный жрец, немало обеспокоенный оборотом, какой начинала принимать его выдумка.

— Этого мы не знаем, — ответили оба цеховых старшины и четвертый советник и также удалились. Стробил остался один с двумя попечителями священного пруда. После того как они длительное время все трое говорили наперебой, не очень себе представляя, что говорят, они, наконец, решили прежде всего пообедать у одного из попечителей, а затем посоветоваться со своими друзьями и сторонниками о том, как повернуть возникшее утром народное движение, чтобы оно обеспечило победу их партии.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Агатирс собирает своих сторонников. Суть его речи, с которой он обратился к ним. Он приглашает их на торжественное жертвоприношение. Архонт Онолай хочет сложить с себя свои обязанности. Беспокойство партии архижреца по этому случаю и хитрость, расстроившая планы архонта

После ухода посланцев Коллегии десяти Агатирс тотчас же созвал знатнейших своих сторонников в совете и среди бюргерства, а также всех Ясоныдов. Он рассказал им, что произошло только что у него с Коллегией десяти из-за наущений Стробила и постарался убедить их, как необходимо теперь для укрепления авторитета их партии, для чести и даже безопасности Абдеры расстроить козни этого интригана и вновь успокоить народ, возбужденный смешной басней о жалобных столах лягушек Латоны. Любому человеку бросается в глаза, что Стробил выдумал эту убогую сказку только для того, чтобы состряпать против него, архижреца, нелепое и из-за народных предрассудков к тому же еще весьма опасное обвинение и, предъявив его в Коллегии десяти, создать тем самым дело, касающееся благосостояния всей республики. Но это в сущности лишь одно из средств, к которому он прибегнул из отчаяния, чтобы восстановить свою ослабевшую партию и использовать народное движение, вызванное его выдумкой, для выгодного решения процесса об ослиной тени. И поскольку, исходя из случившегося, легко предвидеть, что неугомонный жрец постарается извлечь для себя новый материал из утреннего происшествия в Коллегии десяти и очернить архижреца перед народом, а в крайнем случае даже вызвать вторично еще более опасное возмущение народа, то он счел необходимым дать своим друзьям и ревнителям общественного блага более правильное представление о сегодняшнем событии и его возможных последствиях. Что же касается аистов, то они прилетали без какого-либо его содействия и свили себе в саду на дереве гнездо. Он не осмеливался их изгнать оттуда, отчасти потому, что аисты с незапамятных времен пользовались у всех цивилизованных народов мира своего рода священным правом гостеприимства, а отчасти же потому, что свобода Ясонова храма и покровительство этого бога распространяется на все живое и неживое, находящееся в пределах его стен. К нему не имеет никакого отношения закон, по которому несколько лет тому назад Коллегия десяти изгнала аистов из абдерской земли, ибо судебное право этого трибунала распространяется лишь на то, что имеет отношение к культу Латоны и его обрядам. И притом, всем должно быть известно, что храм Ясона лишь постольку связан с республикой, поскольку она при основании его дала торжественный обет защищать храм от местных и внешних врагов. Он навечно и всецело освобожден от абдерских судилищ и не зависим даже от самой республики. Отклонив неправомочный вызов в суд, он сделал лишь то, что требовало его достоин-

ство жреца. Напротив, Коллегия десяти этим необдуманым шагом, к которому побудил большинство ее членов Стробил, поставила его перед необходимостью во имя Ясона и всех Ясонидов потребовать от республики самого полного и строжайшего удовлетворения за это грубое оскорбление его привилегий архижреца. Дело чревато более серьезными последствиями, чем представляют себе, возможно, сторонники цехового старшины Пфрима и Стробила с его попечителями лягушек. Золотое руно, которое Ясониды сохранили в храме как священное наследие, столетиями почиталось в качестве палладиума¹ Абдеры. И поэтому абдериты должны остерегаться предпринимать и допускать то, что могло бы лишить их святыни, с которой, по древним представлениям, ставшими религией, связаны судьба и благоденствие их республики.

В ответ на его речь архижрец получил самые горячие заверения ревностно защищать общее благосостояние республики, а также права и вольности Ясонова храма. Обсуждались различные меры, необходимые для того, чтобы укрепить граждан в их благих намерениях и вновь привлечь на свою сторону тех, кого сбило с толку мнимое чудо с лягушками Латоны, или тех, кого настроил Стробил против аистов архижреца. Затем собрание разошлось, и каждый отправился к месту своей службы, получив от Агатирса приглашение присутствовать на торжественном жертвоприношении Ясону, которое он намеревался совершить сегодня вечером в храме.

В то время как во дворце архижреца происходили эти события, архонт, весьма расстроенный не очень благовидной ролью, сыгранной им против воли, придя домой, созвал всех своих родственников, братьев, деверей, сыновей, зятьев, племянников, чтобы сообщить им о своем твердом намерении сложить с себя завтра в Большом совете обязанности архонта и удалиться в свое поместье, приобретенное им несколько лет назад на острове Тасос. Его старший сын и некоторые члены семьи не присутствовали на этом семейном собрании, ибо за полчаса до этого их пригласили к архижрецу. Один из близких архонта, убедившись, что Онолай, несмотря на все их просьбы и доводы колебим в своем решении, тихо удалился, чтобы дать знать об этом участникам совещания в храме Ясона и попросить их о помощи в таком неприятном и неожиданном случае.

Он прибыл как раз в тот момент, когда участники совещания собрались расходиться. Тем, кому образ мыслей архонта был уже давно знаком, дело показалось серьезней, чем оно представлялось многим с первого взгляда.

— За десять лет, — говорили они, — архонт впервые принял собственное решение. Безусловно, оно не вдруг родилось у него! Он уже раздумывал долгое время над этим, и сегодняшнее событие только капля, переполнившая чашу терпения. Одним словом, это решение его собственное и трудно рассчитывать отговорить архонта.

Всех охватило беспокойство. Они считали, что подобный поступок в такое смутное время, как нынешнее, может причинить большой ущерб всей партии и республике. Было единогласно решено не допускать широкого распространения в народе вести о намерении архонта, дабы держать народ в страхе и неуверенности. Но вместе с тем совещание собиралось направить наиболее видных советников и граждан обеих партий к Онолаю, чтобы они еще до

жертвоприношения в храме Ясона умолили его от имени всей Абдеры не бросать кормило правления республикой в пору, когда она более всего нуждается в мудром кормчеме.

Мысль объединить видных членов обеих партий показалась всем необходимой потому, что без этого они ясно предвидели тщетность своих усилий в отношении архонта. Ибо хотя с юных лет он и являлся ярким приверженцем аристократии, однако постоянно стремился, чтобы его не считали за такового. Простое обхождение, выработанное им для этой цели так давно, что оно стало, наконец, для него совершенно естественным, снискало ему такую любовь у народа, которой редко пользовались его предшественники. Особенно с тех пор, как город разделился на две партии — «ослов» и «теней», он считал долгом чести вести себя так, чтобы ни одной из партий не давать повода причислять его к своим сторонникам. И хотя почти все его друзья и родственники являлись сторонниками «ослов», «тени» были все же уверены, что они от этого ничего не теряют, а «ослы» ничего не выигрывают, вынужденные скрывать от него все свои дела и убежденные в том, что он ради восстановления равновесия склонится на сторону противной партии, лично не симпатизируя никому из них.

Весть о решении архонта произвела ожидаемое действие. Народ снова заволновался. Большинство говорило, что более нет необходимости доискиваться, что означали жалобные стоны священных лягушек. Уж если архонт оставляет республику в столь печальных обстоятельствах, то значит все погибло!

Жрец Стробил и цеховой старшина Пфрим одновременно узнали о великом жертвоприношении, готовящемся архиереем, и о решении архонта сложить с себя обязанности. Они сразу предусмотрели последствия этого двойного удара и поспешили ответить — на первый удар и предупредить — второй. Стробил пригласил народ принять участие в покаянном молении, которое должно было совершиться вечером с большой торжественностью в храме Латоны и, очистив город от тайного преступления, предотвратить пагубное предсказание «Элелеелей» священных лягушек. Цеховой старшина, напротив, отправился разыскивать советников, цеховых мастеров и видных граждан из своей партии, чтобы посоветоваться с ними, как отговорить архонта. Большинство уже было обработано тайными агентами противной партии, повсюду распространявшими как великую тайну слух о том, что «ослы» стараются изо всех сил через третьи руки укрепить архонта в его решении. Поэтому «тени» были убеждены, что «ослы» намерены возвести в этот высокий сан кого-то из своих и, следовательно, вполне уже рассчитывают на большинство голосов Большого совета, от которого зависели выборы архонта. Подозрение это свергло их в такую большую панику, что они в сопровождении целой толпы народа побежали опретью к дому Онолая и при неоднократных громогласных кликах народа «Виват!» поднялись к нему в покои, чтобы умолить его от имени всех граждан отказаться от своей отставки и никогда не покидать их на произвол судьбы, особенно теперь, когда его мудрость так необходима для спокойствия города.

Архонт остался весьма доволен публичным выражением любви и доверия

его дорогих сограждан. Он не скрыл от них, что всего каких-то четверть часа назад его посетило большинство советников, Ясонидов и прочих стариннейших семейств Абдеры и обратились к нему с такой же просьбой и в таких же покорнейших и настойчивых выражениях. Как ни серьезны причины того, почему он устал от тяжелого бремени правления и желал бы переложить его на более сильные, чем его, плечи, он оказался бы бессердечным человеком, если бы не пошел навстречу такому живейшему выражению доверия к нему со стороны обеих партий. В этом единодушии к его личности и достоинству он видит залог быстрого восстановления всеобщего спокойствия и, со своей стороны, предпримет с удовольствием все возможное для этого.

После окончания речи архонта, «тени», раскрыв глаза от удивления, посмотрели друг на друга и, к своей великой досаде, обнаружили, что они сразу стали гораздо умней, чем прежде. Полагая, что первыми предприняли этот шаг, они надеялись тем самым перетянуть архонта на свою сторону. И вот оказалось, что он обязан их противникам тем же, чем и им, то есть в сущности ничем не обязан. Но это было еще не самое неприятное. Коварное поведение «ослов» ясно свидетельствовало, как им важно, чтобы место архонта не пустовало. Конечно, теперь их интересовала не личность самого Онолая, ибо он никогда не сделал ничего для их партии. И если, следовательно, они желали, чтобы он сохранил за собою пост, то только потому, что были уверены в победе «теней» на выборах нового архонта. Внезапно обнаружившиеся подозрения были такого досадного свойства, что бедные «тени» прилагали все усилия, чтобы скрыть свое негодование и поэтому поспешно удалились, к большому удовольствию архонта, который и не подумал этому удивиться или заметить перемену в их лицах.

Этот день был большим днем для мудрого и довольно дородного Онолая, и он вновь был вполне доволен Абдерой. Архонт приказал запереть двери дома, отправился в своей гинекей², погрузился там в кресло, поболтал с женой и дочерьми, поужинал, лег рано в постель и спокойно проспал до утра без забот о судьбах Абдеры.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

День решения тяжбы. Меры, принятые обеими партиями. Собирается Совет четырехсот, и суд начинается. Филантропическо-патриотические грезы издателя сей достопримечательной истории

Различные средства, пущенные в ход в течение всего этого дня обеими партиями, привели абдерский государственный организм, испытывавший толчки с самых противоположных сторон, в состояние некоторого колеблющегося равновесия. Поэтому ко времени открытия Большого совета положение было примерно таким же, как и за несколько дней до того, то есть на стороне «ослов» находилась большая часть советников, патрициев и самых видных и за-

житочных бургеров, а сила «теней», напротив, заключалась в общем превосходстве голосов. Ибо после торжественного обхода лягушачьего пруда Латоны, который был устроен накануне вечером Стробилом и в котором приняли участие все «тени», возглавлявшиеся весьма благоговейно настроенными номофилаксом и цеховым старшиной Пфримом, простонародье вновь перешло на их сторону.

Пользуясь большим авторитетом у фанатично настроенной толпы, которая только выиграла бы от полного крушения республики, жрец Стробил и прочие главари «теней» могли бы при обходе, в тот же вечер, легко причинить немалые беды Абдере. Но кроме того, что верховного жреца еще раз обязали от имени архонта держать простонародье в должной узде и позаботиться, чтобы храм и все подходы к священному пруду были бы закрыты до заката солнца, они и сами были далеки от мысли доводить дело до крайности без нужды и обречь город на пожары и кровопролитие. Несмотря на их абдеритство, у них все же хватило ума предвидеть, что если черни удастся вырвать из их рук вожжи, то уже более не найдется сил вновь справиться с безумной яростью этого слепо мятущегося зверя¹. Итак, окончив обход и закрыв двери храма, цеховой старшина удовлетворился лишь тем, что обратился к расходящейся толпе, выразив надежду, что все честные абдериты завтра, при решении дела их согражданина Струтиона будут в девять часов утра на городской площади и сделают все, что в их силах, для победы справедливости.

Приглашение это, несмотря на мягкие и, по его мнению, весьма осторожные выражения, явилось по существу противозаконной попыткой мятежного цехового старшины принудить судей вынести угодный ему приговор, угрожая бунтом. И «тени» были действительно полны решимости допустить это.

Уверенные в подобных настроениях противной партии, «ослы», со своей стороны, предприняли меры, чтобы быть готовыми ко всему.

Как только начался час, множество дюжих кожевников и мясников, вооруженных дубинками и ножами, по приказанию архиерея заняли все подходы к храму Ясона. А дома благородных «ослов» были приведены в такое состояние, словно они собирались выдерживать осаду. Даже сами «ослы» явились к месту суда с кинжалами под одеждой. Некоторые из кричавших больше всех надели ради предосторожности под платье панцири, чтобы их патриотическая грудь смогла противостоять ударам врагов.

Наступил девятый час. Вся Абдера находилась в трепетном ожидании развязки этой неслыханной тяжбы. Никто не успел хорошенько позавтракать, хотя уже с зарей все были на ногах. Совет четырехсот собрался на возвышенном месте, где находились храмы Аполлона и Дианы (обычное место собраний совета под открытым небом), напротив большой городской площади, от которой вела на возвышенность широкая лестница из четырнадцати ступеней. Туда уже прибыли и тяжущиеся стороны со своими ближайшими родственниками, с обоими сикофантами и заняли места. Между тем площадь заполнилась народом, настроения которого довольно явно проявлялись шумными кликами «Виват!», едва только какой-нибудь советник или цеховой мастер из партии «теней» подымался на возвышенность.

Все ожидали номофилакса, председательствовавшего обычно в Большом совете во всех случаях, когда дело не касалось непосредственно общего блага республики. Впрочем, «ослы» испробовали все, уговаривая Онолая, чтобы он, поскольку речь идет о принятии нового закона, занял своей собственной достопочтенной особой председательское кресло из слоновой кости, стоявшее на три ступени выше скамей советников. Но он заявил, что скорей лишится жизни, нежели согласится председательствовать на процессе об ослиной тени. Поэтому «ослы» вынуждены были пощадить его чувствительность и уступить.

Номофилакс, больной бюститель эдикета, привыкший заставлять ждать себя в подобных случаях, позаботился о том, чтобы развлечь собрание музыкой и подготовить, по его словам, народ к такому торжественному событию. Эта выдумка, хотя и новая, была неплохо воспринята и произвела отличный эффект, вопреки намерению номофилакса, желавшему тем самым вселить в свою партию большее мужество и рвение. Ибо музыка дала повод сторонникам партии архиерея для множества шуточных замечаний, вызывавших время от времени громкий хохот:

— Это аллегрo звучит как воинственная песня, — утверждал один из «ослиной» партии.

— ...к бою перепелов, — подхватил другой.

— Но зато адажио напоминает погребальное пение над могилами зубодера Струтиона и мастера Пфрима, — заметил третий.

— Вся музыка, — заключил четвертый, — вполне достойна того, чтобы ее сочинили «тени», а слушали «ослы», — и так далее.

Как ни плоски были эти шутки, большего и не требовалось, чтобы незаметным образом вызвать у этого жизнерадостного и легко воспламеняющегося народа его обычное комическое расположение духа, которое незримо обезвреживало партийную ярость, еще владевшую им, и, быть может, более всего способствовало безопасности города в такой критический момент.

Наконец появился номофилакс со своей лейб-гвардией бедных старых ремесленников-инвалидов, вооруженных тупыми алебардами и давно заржавевшими мечами. Они скорей напоминали огородных пугал, чем воинов², которые должны были вызвать у народа страх и уважение к суду. Впрочем, благо республике, нуждающейся лишь в таких героях для своей безопасности!

Вид этих карикатурных воинов и то, как по-смешному нелепо вели они себя в военных доспехах, не без труда надетых на них, пробудил у зрителей новый приступ веселости. И герольду потребовалось немало усилий, чтобы кое-как успокоить народ и призвать его к уважению высокого суда.

Председатель открыл заседание краткой речью. Герольд снова потребовал тишины. И сикофантам обеих сторон предложили изложить жалобу и ответ на нее. Уже одна возможность блеснуть своим искусством в процессе об ослиной тени необыкновенно ободряла сикофантов, слывших мастерами своего дела. И можно легко себе представить, какое усердие проявили они, когда ослиная тень сделалась важным предметом для всей Абдеры и разделила город на две партии, каждая из которых рассматривала дело своего клиента как свое собственное. Со времен возникновения Абдеры не было еще ни од-

ного судебного процесса, столь смешного и столь серьезно разбиравшегося. В подобном случае сикофанту вовсе и не требовалось быть гением, чтобы превзойти самого себя.

Тем более достойно сожаления, что всеистребляющая рука Времени, которой не избегли и не смогут избежать многие великие создания гения и остроумия, не пощадила, увы, насколько нам известно, и подлинники этих двух знаменитых речей. Но кто знает, быть может, какому-нибудь будущему Фурмону или Севену³, занимающемуся поисками старых рукописей, со временем удастся разыскать их список в пыли какой-нибудь старинной греческой монастырской библиотеки? Или же, если это маловероятно, то кто знает, не станет ли с течением времени сама Фракия владением христианских государств, которые, по примеру некоторых великих королей нашего философско-героического века⁴, сочтут для себя честью быть могучими покровителями искусств, основывать академии, делать раскопки исчезнувших городов и пр. И кто знает, возможно, и настоящая история абдеритов, как бы она ни была несовершенна, будет переведена в будущем на язык этой лучшей Фракии и даст повод какому-нибудь новофракийскому Мусаету⁵ воскресить город Абдеру из пепла? И тогда, без сомнения, отыщутся переписка и архив знаменитой республики, а в нем все подлинные акты процесса об ослиной тени, об утрате которых мы сожалеем. Во всяком случае, приятно подобным образом переноситься на крыльях филантропическо-патриотических мечтаний в будущее и наслаждаться счастьем наших потомков, счастьем, верным залогом которого служит нам постоянное совершенствование наук и искусств, просвещающих и улучшающих образ мыслей, вкусы и нравы!

А пока некоторым утешением для нас служит то, что мы имеем возможность представить хотя бы отрывок из этих речей, извлеченный, как и данная история, из тех же бумаг. В подлинности его несколько не следует сомневаться, ибо любой читатель, обладающий нюхом, сразу же почувствует дух абдеритства, исходящий из речей. Такой внутренний довод, пожалуй, всегда, в конечном итоге,— лучший довод, чтобы отличить произведение любого смертного, будь это Оссиан⁶ или же фиговый абдерский вития⁷.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Речь сикофанта Физигната

Сикофант Физигнат, защитник зубодера Струтиона, получивший слово первым, был человеком среднего роста, крепкого телосложения и с могучей грудью. Он очень гордился тем, что являлся учеником знаменитого Горгия¹ и считал себя одним из величайших ораторов своего времени. Но в красноречии, как и во многих прочих областях, он был законченный абдерит. Его необыкновенное искусство заключалось в том, что, желая придать своим многословным речам больше живости и выразительности посредством разнооб-

разных модуляций голоса, он, как белка, перескакивал с одного звукового интервала на другой в пределах целой полтораоктавы и при этом так гримасничал и жестикулировал, словно слушатели могли его понять только с помощью жестов. Тем не менее нельзя отрицать его умения довольно искусно и бесцеремонно использовать всевозможные приемы, чтобы располагать к себе судей, сбивать их с толку, взывать к противной стороне и вообще представлять дело лучше, чем оно есть, а при случае рисовать трогательные картины, как это отлично увидят из его речи проникательные читатели и без нашей помощи.

Физигнат предстал перед Советом во всем бесстыдстве сикофанта, вполне уверенный, что его слушателями будут абдериты, и начал так:

Благородные, почтенные, мудрые и полномочные члены Совета четырехсот!

Если когда-нибудь и проявлялось во всем своем блеске превосходство государственного устройства нашей республики и если я когда-либо и появлялся перед вами с гордым сознанием того, что значит быть гражданином Абдеры, то это как раз случилось в сей великий торжественный день, когда перед этим достопочтенным высочайшим судилищем, перед этим полным ожиданием и живого участия множеством народа, перед огромным стечением иностранцев, привлеченных сюда молвой о необычайном зрелище, должна решиться тяжба, которая в менее свободном, менее хорошо устроенном государстве, даже в Фивах, Афинах, Спарте, не была бы сочтена столь важной, чтобы занять, хотя бы на минуту, гордых блюстителей общественного блага. Благородная, достохвальная, трижды счастливая Абдера! Лишь ты одна наслаждаешься безопасностью и свободой под охраной законов, для которых священны даже самые маловажные, самые сомнительные и самые запутанные права граждан, ты одна наслаждаешься безопасностью и свободой, лишь тень которых существует в других республиках, как бы ни кичилось их патриотическое тщеславие своими прочими преимуществами!

Скажите мне, в какой другой республике тяжба между простым гражданином и беднейшим человеком из народа, тяжба из-за каких-то двух-трех драхм, тяжба из-за предмета, столь незначительного, что законы о собственности, кажется, даже забыли его упомянуть, тяжба из-за того, что, по мнению иного тонкого диалектика², не заслуживало бы и названия вещи, короче, распря из-за тени осла могла бы стать предметом всеобщего интереса, делом каждого и, следовательно, если так можно выразиться, как бы делом всего государства? В какой другой республике законы о собственности настолько точно определены, настолько гарантируются взаимные *jura vel quasi* * граждан от произвола служебных лиц, а самые маловажные притязания или требования беднейшего человека в глазах властей столь важны и значительны, что даже высшее судилище республики не считает ниже своего достоинства торжественно собраться и вынести приговор по поводу сомнительного права на ослиную тень? Горе тому человеку, который при этих словах с неудовольствием вздернет нос и, руководствуясь глупыми детскими понятиями о вели-

* Даже сомнительные права (лат.).

ком и незначительном, с безрассудной насмешкой будет взирать на то, что составляет высшую честь нашего правосудия, славу наших властей, торжество абдеритства и каждого доброго гражданина! Горе тому человеку, — я повторяю это дважды и трижды, — который не в состоянии это почувствовать! И благо республике, для которой и ослиная тень ни в коем случае не является мелочью, коль скоро заходит речь о гражданской справедливости, о сомнительных относительно понятии «мое» и «твое», составляющих опору всякой безопасности граждан!

Но если я, с одной стороны, с пылом патриота, со всей справедливой гордостью истинного абдерита чувствую и признаю, что эта тяжба явится для грядущего потомства не только блестящим свидетельством превосходного управления нашей республикой, но равно также беспристрастного постоянства и неусыпной заботы, с которыми наше славное правительство удерживает в своей деснице весы Справедливости; то, с другой стороны, я вынужден немало скорбеть и об утрате той прямодушной простоты наших предков, об исчезновении того гражданского и доброжелательного образа мыслей, той взаимной услужливости, которая способна добровольно из любви и дружбы или, во всяком случае, из желания мира поступиться чем-то в своих безусловных личных правах! Короче, как вынужден скорбеть я об упадке наших добрых старых абдерских нравов, ибо этот упадок является единственным источником недостойной, постыдной тяжбы, завладевшей нами! Могу ли я без стыда говорить об этом? О ты, некогда столь славная честность наших добрых праотцев, куда ты исчезла? И абдерские граждане, готовые прежде в любом случае из преданности к отечеству и добрососедской дружбы делить друг с другом и радость, стали теперь такими своекорыстными, такими скупыми и недружелюбными, — да что я говорю! — бесчеловечными, что отказывают своему ближнему даже в тени!

Но простите мне, дорогие сограждане... Я ошибся в выражении... Простите мне мое неумышленное оскорбление! Тот, кто оказался способен на такой низкий, грубый, варварский образ мыслей, то не наш соотечественник! Он просто терпимый нами житель, клиент храма Ясона, человек из подонков черни, от которого нечего было ждать лучшего, судя по его рождению, воспитанию и образу жизни, короче, погонщик ослов, не имеющий ничего общего с нами, кроме того, что он дышит одним воздухом с нами и ходит по той же земле, что и мы, но ведь это роднит нас и с самыми дикими народами гиперборейской пустыни³. Его позор клеймит лишь его одного, нас он не может затронуть. Абдерского гражданина, я осмеливаюсь это утверждать, никогда бы не обвинили в таком преступлении!

Но, возможно, я называю этот поступок слишком строгим именем? Ставьте на место Струтиона, прошу вас, ...и почувствуйте!

Он путешествовал по своим делам из Абдеры в Геранию, по делам своего благородного искусства, которое стремится уменьшить страдания ближнего. Выдался один из самых душных летних дней. Жестокая солнечная жара, казалось, превратила весь горизонт в жерло пылающей печи. Ни облачка, которое могло бы прикрыть палящие лучи, ни ветерка, который мог бы освежить изнывающего путника. Солнце пекло голову, высасывало кровь из его

жил и мозг из его костей. Истомившийся, с пересохшим ртом, с печальными глазами, ослепленными жаром и солнечным сиянием, озирается он в поисках тенистого места, какого-либо сочувствующего ему дерева, под тенью которого он мог бы отдохнуть, подышать свежим воздухом и на минуту обезопасить себя от раскаленных стрел неумолимого Аполлона⁴. Напрасно! Ведь вам всем известна дорога из Абдеры в Геранию. Два часа — к стыду всей Фракии! — и ни одного дерева, ни одного кустика, которые обрадовали бы взор путника или защитили бы его от полуденного солнца — кругом одни пашни! Бедный Струтион сваливается, наконец, со своего животного. Природа более не выдержала... Он останавливает осла и садится в его тень... Слабая, жалкая возможность отдыха! Но как бы мизерна она ни была, это все же лучше, чем ничего!

И каким чудовищем должен быть тот бесчувственный человек, человек с каменным сердцем, который в подобных обстоятельствах отказывает страждущему собрату в тени осла? Разве можно было бы поверить, что такой человек существует, если бы мы только не увидали его собственными глазами? Но вот, он здесь перед вами, и — что еще хуже, чем сам его поступок, — он добровольно признается в нем, даже, кажется, гордится своим позором. И, стремясь превзойти любого из потомков в бесстыжей наглости, он зашел так далеко, что, будучи уже осужден почтенным городским судом первой инстанции, осмеливается утверждать даже перед этим высочайшим судилищем четырехсот, что он прав. «Я не отказал ему в ослиной тени, — утверждает он, — хотя по строгой справедливости я не был обязан разрешать ему сидеть там. Я только требовал законного вознаграждения за то, что отдав ему внаймы осла, предоставил ему также и тень, которую не сдавал ему». Жалкая, позорная отговорка! Что же можно подумать о человеке, который запретил бы истомленному путнику посидеть бесплатно в тени его дерева? Или, как бы мы назвали того, кто запретил бы умирающему от жажды чужестранцу насладиться водой из своего ручья?

Припомните, мужи Абдеры, что именно в этом и только в этом заключалось преступление ликийских крестьян. За подобную же бесчеловечность к Латоне и ее детям отомстил этим несчастным отец богов и людей и превратил их, для устрашения потомков, в лягушек⁵. Ужасное чудо, память о котором живо сохраняется и как бы ежедневно возобновляется среди нас в священной роще и в пруду Латоны, достопочтенной покровительницы нашего города! И ты, Антракс, житель города, в котором это ужасное свидетельство гнева богов за бесчеловечность сделалось предметом всеобщей веры и религиозного поклонения, ты не страшишься навлечь на себя месть таким же преступлением?

Однако ты настаиваешь на своем праве собственности. «Кто пользуется своим правом, — говоришь ты, — тот никому не причиняет несправедливости. Я обязан другому человеку столько же, сколько и он мне. Если осел — моя собственность, то и его тень принадлежит мне». Разве ты этого не утверждал? И ты надеешься или твоей хитроумный и красноречивый поверенный, в чьи руки ты препоручил самое гнусное дело, когда-либо рассматривавшееся судом богов или людей, надеется настолько усыпить наш рассудок волшебст-

вом своего красноречия или опутать его паутиной софистических ложных доводов, чтобы мы согласились считать тень за нечто реальное, не говоря уже о том, чтобы считать ее за вещь, на которую каждый имеет право прямого и исключительного владения?

Я бы злоупотребил вашим терпением, полномочные господа, и оскорбил бы вашу мудрость, если бы пожелал вновь привести все доводы, которыми я уже в первой инстанции доказал, сообразно с делом, несостоятельность ложных доказательств противной стороны. В настоящий момент я ограничусь упоминанием лишь немногих аргументов, поскольку это вызывается необходимостью. Строго говоря, тень не может считаться реальным предметом. Ибо то, что делает ее тенью, не является чем-то реальным или положительным, но как раз противоположностью этих понятий, а именно: это отсутствие света, который падает на все прочие предметы. В данном случае наклонное положение солнца и непроницаемость тела осла — свойство, присущее ему не как осла, а как вообще непроницаемому телу, — единственная истинная причина тени, отбрасываемой ослом, и на его месте ее отбрасывало бы любое тело, ибо форма тени не имеет здесь никакого значения. Итак, мой клиент, выражаясь точнее, сел не в тень осла, а в тень тела. А то обстоятельство, что это тело являлось ослом, а осел — домашним животным некоего Антракса из Ясонова храма, — не имеет никакого отношения к делу. Ибо, как уже сказано, не ослиность, если так можно выразиться, а телесность и непроницаемость вышеупомянутого осла — причина тени, им отбрасываемой.

Однако если мы все же допустим, что тень относится к реальным предметам, то бесчисленные примеры ясно свидетельствуют, что это предмет общего пользования, на который каждый имеет равные права, а преимущественное лишь тот, кто раньше им завладеет.

Но я готов пойти еще дальше. Я готов даже допустить, что тень осла — его неотъемлемая принадлежность, подобно его ушам. Но что от этого выиграет противная сторона? Струтион взял внаймы осла, следовательно, также и его тень. Ибо в любом контракте о найме подразумевается, что сдавший в наем сдает нанимателю вещь со всеми ее принадлежностями и удобствами, необходимыми для ее использования. В данном случае у Антракса нет и тени права требовать, чтобы Струтион еще отдельно заплатил ему за тень. Дилемма совершенно неоспоримая: либо тень — часть и принадлежность осла, либо — нет. Если — нет, то Струтион и любой другой человек имеют на нее такие же права, как и Антракс. Если же она — принадлежность осла, то, сдавая внаймы осла, Антракс сдал внаймы также и тень. И его требование столь же нелепо, как и требование того человека, который, продав мне, например, лиру и заметив, что я собираюсь на ней играть, потребовал бы еще плату и за ее звуки.

Но к чему такое множество доказательств в деле, настолько ясным для простого человеческого ума, что его стоит лишь послушать и уже понятно, на чьей стороне право. Что такое ослиная тень? Каким же бесстыдством должен обладать этот Антракс, который, не имея на нее никакого права, дерзнул все же извлечь из нее прибыль! И если бы даже тень действительно была его собственностью, какая подлость отказать человеку, соседу, другу в такой

малости, что трудно себе ее даже представить или назвать, отказать в том, что в тысяче других случаев совершенно бесполезно и без чего тот не может обойтись!

Не допустите, благородные и полномочные члены Совета четырехсот, чтобы об Абдере говорили, что ее суд, перед которым и сами боги не постыдились бы решать свои тяжбы, как некогда перед афинским ареопагом⁶, оправдал такую наглость, такой произвол!

Отклонить nepозволительную, несправедливую, смехотворную жалобу и апелляцию истца, приговорить его к возмещению всех расходов и ущерба, причиненного им несправедливо обвиненному ответчику в результате своего незаконного поведения в этом деле — вот самое малое, что я требую ныне от имени своего клиента.

Незаконный истец обязан также дать удовлетворение и поистине полное удовлетворение, которое должно соответствовать величине совершенного им произвола. Удовлетворение обвиняемому, чей покой, дела, честь и добрая слава не раз нарушались и задевались в течение этого процесса истцом и его друзьями! Удовлетворение достопочтенному городскому суду, на приговор которого он безосновательно подал апелляцию в сей высокий трибунал! Удовлетворение самому этому судилищу, которое он осмелился беспокоить столь ничтожною тяжбою! Удовлетворение, наконец, всему городу и республике Абдере, которую он этим делом довел до беспокойства, раздоров и опасности!

Разве я требую слишком многого, полномочные господа? Разве я требую чего-то несправедливого? Взгляните на всю Абдере, которая толпами теснится здесь на ступенях этого высокого судилища и во имя своего заслуженного, жестоко обиженного согражданина, более того, во имя самой республики ожидает удовлетворения, требует удовлетворения! И если почтение к суду заставляет их молчать, то это справедливое требование, в котором невозможно отказать, светится в глазах каждого абдерита. Доверие граждан, безопасность их прав, восстановление нашего внутреннего и общественного спокойствия, укрепление его в будущем, короче, благоденствие всего нашего государства зависит от приговора, который вы вынесете, зависит от выполнения всеобщего и справедливого требования. И если в незапамятные времена осел оказал миру важную услугу, пробудив своим криком спящих богов во время ночного нападения титанов и тем спас Олимп⁷ от опустошения и гибели, то пусть ныне тень осла станет залогом благоденствия, началом счастливой эпохи, когда вновь вернется покой в этот древний город и эту республику после столь многих и опаснейших потрясений, когда вновь упрочится союз между правительством и гражданами, а все прежние распри канут в бездну забвения и, благодаря справедливому осуждению одного-единственного наглого погонщика ослов, город спасется от гибели, а его цветущее благосостояние будет упрочено навеки!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ответ сикофанта Полифона

Едва Физигнат закончил свою речь, как народ, верней, чернь, заполнявшая площадь, выразила свое одобрение столь яростным и продолжительным ревом, что судьи забеспокоились, не придется ли им прервать заседание. Партия архиерея пришла в замешательство. «Тени», напротив, несмотря на меньшее количество их сторонников в Большом совете, вновь воспрянули духом и ожидали от впечатления, произведенного этой прелюдией на «ослов», благоприятных для себя последствий. Между тем цеховые старшины поспешили подать знак народу к спокойствию. И после того как трехкратное обращение герольда восстановило, наконец, всеобщую тишину, выступил Полифон, сикофант погонщиков ослов, приземистый, плотный человек с кудряшками коротких волос и густыми смолисто-черными бровями. Своим басом, перекатывавшимся по всей площади, он начал следующую речь:

Полномочные мужи Совета четырехсот!

Свет и правду узнают сразу, без всякой посторонней помощи. И в этом их достоинство перед всеми прочими в мире вещами. Я охотно уступаю своему противнику все преимущества, которые он намеревался извлечь из своего красноречия. Тот, кто неправ, вынужден пускать пыль в глаза детям и глупцам, прибегая к риторическим фигурам и оборотам, полемическим ухищрениям и ко всему прочему жонглерству школьной риторики. Разумные люди не дадут себя ослепить всем этим. Я не собираюсь определять, сколько чести и славы у потомства обретет Абдера благодаря этой тяжбе об ослиной тени. Я не стремлюсь ни подкупать судей грубой лестью, ни устрашать их скрытыми угрозами. И еще менее стремлюсь я подстрекательскими речами давать сигнал народу к возмущению. Я знаю, зачем я здесь и к кому обращаюсь. Одним словом, я вполне удовлетворюсь, если докажу, что Антрак прав. А судья уж тогда и без моего напоминания увидит, как следует поступить.

При этих словах некоторые люди из простонародья, стоявшие близ ступеней террасы, начали прерывать оратора криками, бранью и угрозами. Но так как номофилакс приподнялся со своего трона из слоновой кости, герольд дважды призвал к тишине, а городская стража, стоявшая на ступенях, ошетилилась своими длинными копьями, то внезапно опять воцарилась тишина, и оратор, которого не так-то легко было выбить из седла, продолжал: — Полномочные господа! Я нахожусь здесь перед вами не как поверенный погонщика ослов Антракса, а как уполномоченный храма Ясона и сиятельного, высокопочтенного Агатирса, теперешнего архиерея и главного настоятеля сего храма, хранителя истинного Золотого руна, верховного судии над всеми заведениями, поместьями, судами и землями храма, главы благородного рода Ясонидов и прочая, и прочая, чтобы во имя Ясона и его храма добиться от вас полного удовлетворения погонщику ослов Антраксу, потому, что, в сущности, большее право — на его стороне. И то, что это так, я надеюсь доказать столь ясно и внятно, несмотря на хваленое крючкотворство моего противни-

ка, усвоенное им от его учителя Горгия, что и слепые увидят, и глухие услышат. Итак, без дальних околичностей, к делу!

Антракс отдал своего осла внаймы на один день зубному лекарю Струтиону, и отдал его не для всяких там работ, а для того, чтобы осел доставил зубного лекаря с его котомкой в Геранию, находящуюся, как известно каждому, в восьми милях отсюда. При найме осла, естественно, никто из них двоих не думал о тении. Но когда зубной лекарь спешился среди поля и, остановив осла, страдавшего от жары еще более, чем он, уселся в его тени, то, разумеется, хозяин и собственник осла не мог остаться к этому факту равнодушным.

Я не склонен отрицать, что Антракс поступил глупо, как осел, потребовал от зубного лекаря плату за тень, которую он ему якобы не сдавал внаймы. Но ведь он всего лишь потомственный погонщик ослов, то есть человек, выросший среди одних ослов и общавшийся больше с ослами, чем с порядочными людьми, и поэтому имеющий на то право и самому быть не лучше осла. В действительности его требование было просто... шуткой погонщика ослов.

Но к каким животным следует отнести того, кто из подобной шутки делает серьезное дело? Если бы господин Струтион был разумным человеком, он бы только сказал грубияну: «Дружище, не будем ссориться из-за тени осла. Так как я взял его у тебя внаймы, чтобы добраться до Герании, а не для того, чтобы сидеть в его тени, то справедливо, если я тебе возьмешу потерю нескольких минут времени, вызванных моей остановкой, тем более что осел, находясь еще больше на жаре, не станет от этого лучше. На, брат, получай свои полдрахмы, дай мне немножко передохнуть, а затем с помощью всех священных лягушек отправимся опять в путь...»

Если бы зубной лекарь заговорил в таком духе, то это была бы речь честного и справедливого человека. Погонщик ослов сказал бы ему еще за эти полдрахмы «Спасибо!», а город Абдера был бы избавлен и от той сомнительной славы у потомства, которую ей обещал из-за этого ослиного процесса мой противник, и от тех беспорядков, которые неизбежно возникли с вмешательством в дело столь многих видных господ и дам. Вместо этого человек взбирается на осла, настаивает на своем безосновательном праве сидеть, по заключенному контракту, в тени осла, когда ему угодно и сколько ему вздумается, вызывая тем самым ожесточение у погонщика ослов; тот бежит к городскому судье и подает жалобу, столь же глупую и нелепую, как и оправдание ответчика.

Разве не было бы весьма полезно в качестве назидательного примера на вечные времена отрезать уши сикофанту Физигнату, моему дражайшему коллеге, и приставить ему пару ослиных ушей за ту услугу, которую он оказал общественному благу Абдеры, ибо исключительно его подстрекательству следует приписать тот факт, что зубодер не согласился на мировую, предложенную почтенным городским судьей Филиппидом. Равным образом, мой господин, сиятельный архиерей, предоставляет возможность решить предусмотрительному Совету четырехсот, какой публичной благодарности заслуживает почтенный цеховой старшина Пфрим и прочие господа, подливавшие масла в огонь из-за своего патриотического рвения. Со своей стороны, он как выс-

ший господин и судья погонщика Антракса не замедлит тотчас же после окончания процесса примерно наказать его за проявленное им во время тяжбы безрассудство двадцатью пятью ударами палок. Поскольку, однако, он располагает не меньшей властью требовать удовлетворения за причиненную погонщику несправедливость, за отказ возместить его потерянное время и мучения вьючного животного, то господин сиятельный архижрец желает и ожидает от высокого суда, что его подданному безотлагательно будет дано должное и полное удовлетворение.

Вам же,— прибавил он, повернувшись и обращаясь к народу,— я объявляю от имени Ясона, что до тех пор, пока все принимавшие незаконное и мятежное участие в злом деле зубодера не понесут за это должного возмездия, они будут лишены благоденний, которые ежемесячно ниспосылаются храмом Ясона бедным гражданам. Dixi *

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Впечатление, произведенное речью Полифона. Дополнение сикофанта Физигната. Замешательство судей

Эта короткая и неожиданная речь была встречена глубоким молчанием, длившемся несколько минут. Правда, сикофанту Физигнату как будто очень хотелось горячо объяснить по поводу места в речи, лично его задевшего. Но, заметив уныние, вызванное у простонародья последней частью речи его противника, он удовольствовался тем, что решил оставить за собой право на *quaevis competentia* ** по поводу отрезания ушей и прочих оскорбительных колкостей, а пока лишь пожимал плечами и молчал. То, в каком свете представил Полифон истинный *Statum controversiae****, произвело настолько хорошее впечатление, что среди четырехсот человек не нашлось и двадцати, которые, по абдеритскому обыкновению, не уверяли бы, что именно так они и рассматривали с самого начала эту тяжбу, и не судили бы в довольно резких выражениях о тех, кто виновен в том, что это простое дело стало таким хлопотным. Большинство склонялось к тому, чтобы архижрец получил не только требуемое им возмещение и удовлетворение, но и была бы создана также комиссия из членов Большого совета для строгого расследования вопроса, кто же, собственно, является первым зачинщиком и подстрекателем в сей тяжбе. Это мнение моментально привело в бешенство цехового старшину и тех, кто вместе с ним подготавливал поражение «ослов». Сикофант Физигнат, благодаря этому опять воспрянувший духом, потребовал от номофилак-

* Я высказался (лат.).

** Соответствующие шаги (лат.).

*** Состояние спорного вопроса (лат.).

са слова, ибо он хотел возразить на речь своего противника. И так как по закону ему нельзя было отказать, то он и начал свое выступление следующим образом: — Если справедливое доверие к такому почтенному суду заслужило презренное наименование лести, как не постеснялся расценить его мой противник, то я вынужден стерпеть подобный упрек, которого не могу избежать. Но я полагаю, что, высказав такое высокое мнение о вас, полномочные господа, я, пожалуй, согрешил меньше, чем мой противник, мечтающий уловить ваше правосудие и вашу прозорливость в грубые сети, которые он только что расставил здесь перед вами. Видимость здравого смысла, которую он придал своему грубому изложению сути дела, и тон, заимствованный им, по-видимому, у своего клиента, могут в лучшем случае вызвать лишь минутное удивление. Но предположить, что они в состоянии поколебать мудрость высшего совета Абдеры, было бы, с моей стороны, худой на совет, а с его — безумной надеждой.

Как? Что я слышу? Полифон вместо того, чтобы защищать правое дело своего клиента, как он это упорно делал перед почтенным городским судом и до сих пор, признается вдруг сам, что погонщик ослов действовал глупо и несправедливо, ссылаясь в жалобе против зубного лекаря Струтиона на свое сомнительное право собственника тени. Он публично признает, что истец подал незаконную, бесосновательную и пустую жалобу. И он еще осмеливается болтать о возмещении убытков и требовать удовлетворения дерзким тоном погонщика ослов? Что это еще за неслыханная новая юриспруденция, когда виновная сторона, стремясь выпутаться из беды, за неимением лучшего, в конце концов, сама признается, что она виновна и двадцатью пятью ударами палок, которые она соглашается за это получить (а такой парень, как Антракс, вполне их заслужил) хочет еще все-таки добиться возмещения убытков и удовлетворения? Допустим даже, что ошибка погонщика заключалась лишь в том, что он завел несправедливое дело. Но какое это имеет отношение к невинному противнику или судье? Первый обязан оправдываться в соответствии с обвинением, а второй — судить о деле не так, как его истолкуют с иной точки зрения, а так, как оно ему фактически изложено. Я выражаю надежду моего клиента, что, несмотря на все пустые хлопоты противной стороны, настоящая тяжба будет разобрана не в том новом смысле, который стремится придать ему Полифон, смысле, противоречащем всему судопроизводству, существовавшему до сих пор, но по самой сущности жалобы и судебных доказательств. В данном судебном споре речь идет не о потере времени и мучениях животного, а о тени осла. Истец утверждал, что его право собственности на осла распространяется также и на его тень, и не доказал этого. Ответчик доказывал, что он имеет такое же право на тень осла, как и хозяин осла, во всяком случае, право на все то, что причитается в соответствии с контрактом, и он это доказал.

Итак, находясь здесь перед вами, полномочные господа, я требую судебного решения по поводу того, что составляло до сих пор предмет спора. Только ради этого и был создан высокий суд! И только по этому делу он и обязан высказать свое мнение! И я осмеливаюсь заявить перед лицом всемогущего мне народа: или же в Абдере более нет правды, или же мое требование за-

конно и право моего клиента должно быть удовлетворено, так как оно есть право любого гражданина!

Сикофант замолчал, судьи остолбенели, народ начал опять шуметь и волноваться, и «тени» вновь подняли свои головы.

— Ну,— спросил номофилакс, обращаясь к Полифону,— что на это может сказать поверенный истца?

— Глубокоуважаемый господин верховный судья, ничего, кроме того, что мной уже сказано. Процесс об ослиной тени — дурная тяжба и, кажется, конца края ему не будет. Истец виновен, ответчик виновен, адвокаты виновны, судья первой инстанции виновен, вся Абдера виновна! Можно подумать, что на всех нас обрушилась какая-то злая сила и с нами происходит что-то неладное. Если уж мы решим и дальше сами себя позорить, то у меня хватит сил произнести речь в защиту права моего клиента на ослиную тень, и она будет длиться с восхода и до заката солнца. Но если, как уже сказано, эту комедию, разыгранную нами, и можно было извинять, пока она оставалась только комедией, то все-таки мне кажется, что никоим образом не следует разыгрывать ее дальше перед таким достопочтенным судом, как высокий суд Абдеры. Во всяком случае, я не имею никаких поручений в отношении этого и, готовый еще раз повторить все, что я требовал от имени сиятельного и весьма достопочтенного архиерея, предоставляю вам теперь решить тяжбу, как подскажут боги.

Судьи испытывали большое замешательство. И трудно сказать, к какому бы средству они в конце концов прибегли, чтобы выйти из дела с честью, если бы за них не вступился Случай, бывший всегда великим гением-покровителем абдеритов, и не закончил бы эту мешанскую драму такой развязкой, которую еще за минуту до этого никто не предвидел и не мог предвидеть.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Неожиданная развязка всей комедии и восстановление спокойствия в Абдере

Осел, с тех пор как его тень (по выражению архонта Онолая) вызвала такое странное затмение в мозгах абдеритов, был отведен до исхода дела в городскую конюшню и все это время содержался там на скудном пайке.

В это утро конюхам республики, знавшим, что сегодня должна разрешиться тяжба, вдруг пришла в голову мысль: а ведь осел, играющий главную роль в деле, также должен присутствовать на суде. Итак, они его почистили скребницей, украсили венками цветов и лентами, и под ликующие крики бесчисленных уличных мальчишек, бежавших за ним следом, торжественно повели на площадь.

Случаю было угодно, чтобы они дошли до ближайшей улицы, ведущей на площадь, в тот момент, когда Полифон только что закончил свою последнюю

речь, бедные судьбы совершенно растерялись, а народ, напротив, находился в состоянии какого-то неопределенного недовольства, вызванного страхом перед архижрецом и впечатлением от удара, нанесенного ему речью сикофанта Физигната.

Шум, поднятый уличными мальчишками вокруг осла, привлек всеобщее внимание. Все были озадачены и толпами устремились туда.

— А, — вскричал кто-то из толпы, — вот идет и сам осел!

— Он поможет судьям вынести приговор, — заметил другой.

— Проклятый осел, — воскликнул третий, — он всех нас погубил! Пусть бы его сожрали волки, прежде чем он навязал нам эту безбожную тяжбу!

— Эй, — закричал один медник, бывший всегда ревностной «тенью», — кто смелый абдерит, нападай на осла! Мы с ним расквитаемся! И чтоб ни одного волоска не осталось на его шелудивом хвосте!

В одно мгновение вся толпа ринулась на осла, и не прошло минуты, как он был растерзан на тысячу кусков. Каждый жаждал заполучить хоть частичку от него. Люди рвали, били, дергали, царапали, сдирали кожу и шипали его с невероятным ожесточением. У некоторых свирепость доходила до того, что они тут же пожирали свою кровавую добычу. Большинство же побежало со своими трофеями домой. И так как за каждым из них устремлялась толпа, пытавшаяся отнять добычу, то через несколько минут городская площадь стала пустой, как в полночь.

Четыреста членов совета в первый момент, не поняв причины этого смятения, настолько перестали соображать, что и сами не зная, что делают, вытащили кинжалы, спрятанные у них под мантиями, и уставились друг на друга с величайшим недоумением, потому что внезапно в руках у всех, начиная от номофилакса и до последнего заседателя, засверкало обнаженное оружие. Но увидев и поняв, наконец, в чем дело, они быстро спрятали свои клинки и разразились, подобно богам в первой книге «Илиады», неудержимым хохотом¹.

— Благодарение небу, — смеясь, воскликнул номофилакс, после того как достопочтенные господа пришли в себя. — При всей нашей мудрости мы не могли бы найти более достойного исхода этому делу. Зачем же мы собирались еще так долго ломать себе голову? Осел, невинный повод этой несносной тяжбы, стал, как обычно случается, жертвой ее. Народ выместил на нем свою злобу и все теперь зависит только от нашего хорошего решения. И тогда сей день, который, кажется, готов был закончиться печально, может стать днем радости и восстановления всеобщего спокойствия. И поскольку осел уже более не существует, то к чему спорить о его тени? Итак, я предлагаю: всю ослиную тяжбу официально считать совершенно законченной. Обе стороны обязать к вечному молчанию, возместив все их расходы и убытки из государственной казны. А бедному осла соорудить на государственный счет памятник, который бы всегда служил напоминанием нам и нашим потомкам, как легко может погибнуть великая и цветущая республика даже из-за тени осла.

Все одобрили предложение номофилакса как самый разумный и справедливый выход при таком положении дел. Обе партии могли быть вполне им довольны, ибо республика еще сравнительно дешево заплатила за свое спо-

койствие и за то, что избавилась от большого позора и несчастья. Итак, четыреста членов совета единодушно приняли окончательное решение, хотя склонить к нему цехового старшину Пффрима стоило некоторого труда. Большой совет, в сопровождении своей воинственной гвардии, проводил номофилакса до его дома, где он пригласил всех господ коллег вместе и каждого в отдельности на большой вечерний концерт, который собирался дать для укрепления восстановленного согласия.

Архиерей Агатирс не только отменил двадцать пять ударов, обещанные погонщику ослов, но и подарил ему сверх того трех прекрасных мулов из своей конюшни, строжайше запретив ему принимать возмещение из государственной казны. На следующий день для всех «теней» из Малого и Большого советов он дал великолепный обед. А вечером велел раздать всему цеховому простонародью по полдрахме, чтобы они выпили за здоровье его и всех добрых абдеритов. Эта щедрость привлекла к нему все сердца. И поскольку абдериты были людьми и без того бросавшимися из одной крайности в другую, то нет ничего удивительного, что при таком благородном поведении недавнего вождя сильнейшей партии, прозвища «ослов» и «теней» вскоре уже были забыты. Теперь абдериты и сами смеялись над своей глупостью, как над припадком бешеной горячки, которая — слава богу! — уже миновала. Один из многочисленных и плохих сочинителей баллад² поспешил переложить всю историю в песню, и ее сразу же начали распевать на улицах.

А драмодел Флапс не преминул даже изготовить в несколько недель комедию на эту тему, музыку к которой собственноручно написал номофилакс.

Прекрасная пьеса была всенародно представлена, пользовалась большим успехом, и обе прежние партии искренно смеялись, словно это дело не их касалось.

Демокрит, которого архиерей уговорил пойти на представление, сказал, выходя из театра:

— По крайней мере, это сходство с афинянами следует признать за абдеритами: они от всего сердца смеются над своими собственными глупостями. Правда, они не становятся от этого мудрей, но все-таки уже много значит, если народ позволяет порядочным людям осмеивать его глупости и притом сам смеется, вместо того, чтобы злиться, подобно обезьянам.

Это была последняя абдеритская комедия в жизни Демокрита. Ибо вскоре после того он ушел со всеми своими пожитками из земли абдерской³, не сказав никому, куда он направляется. И с того времени не было о нем более никаких известий.





Книга пятая

ЛЯГУШКИ ЛАТОНЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Главная причина несчастья, вызвавшая впоследствии гибель Абдерской республики. Политика архижреца Агатирса. Он приказывает вырыть лягушачий пруд. Ближайшие и отдаленные последствия этого мероприятия

После столь опасных для Абдеры и — благодарение ее доброму гению! — столь же счастливо окончившихся потрясений, вызванных процессом об ослиной тени, республика несколько лет наслаждалась полнейшим внутренним и внешним спокойствием. И если было бы возможно здравствовать абдеритам и далее, то, судя по внешним признакам, их благоденствие обещало быть продолжительным. Но, к несчастью, скрытая от всех причина — тайный неприятель, и тем более опасный, что он притаился в сердце, — незаметно подготавливала их гибель.

Как мы знаем, абдериты с незапамятных времен поклонялись Латоне, своей богине-покровительнице. Что бы там вполне справедливо ни возражали против культа Латоны, но он был их народной и государственной религией, унаследованной от предков. В этом отношении они были не хуже, чем все прочие греки. И дело не в том, кому они поклонялись — Минерве ли, как афиняне, Юноне, как самосцы, Диане, как эфесцы, Грациям, как орхоменцы¹, или же Латоне. Они должны были иметь религию, и за недостатком лучшей, любая религия была предпочтительней, нежели всякое отсутствие таковой.

Однако культ Латоны мог бы обходиться и без лягушачьего пруда. Зачем им нужно было украшать наивную веру древних теосцев такими опасными нововведениями? Зачем им нужны были лягушки Латоны, разве им было недостаточно самой Латоны?

И уж если абдеритской вере так необходима была пища в виде наглядного напоминания о чудесном превращении, пережитом ликийскими поселенцами, то разве не сослужили бы такую же службу их религиозному воображению полдюжины лягушачьих чучел²? Их можно было бы установить в капелле храма Латоны с соответствующей красивой золотой надписью, завесить парчовой тканью и показывать ежегодно народу с большой торжественностью.

Демокрит, их добрый согражданин, — к несчастью, однако, человек, которому нельзя было верить ни в чем, ибо о нем шла худая молва, будто он сам ни во что не верит, — в бытность свою в Абдере как-то однажды обронил такие слова: можно легко перестараться, особенно там, где дело касается лягушек.

Отвыкнув за время своего двадцатилетнего отсутствия в Абдере от очаровательного «Брекекек, коакс, коакс», непрерывно звеневшего теперь днем и ночью у него в ушах, более чувствительных, чем у его тугоухих земляков, он несколько раз настойчиво предупреждал их против деисбатрахи³ (как он выражался) и часто то в шутку, то всерьез предсказывал, что если они временно не предпримут мер, то их квакающие сограждане, в конце концов, «выквакают» их из Абдеры.

Знатные абдериты легко сносили шутки Демокрита на сей счет, желая показать, что они не более, чем Демокрит, верили в лягушек Латоны. Но, увы, он был не в состоянии ни шуткой, ни всерьез убедить их в необходимости внимательно отнестись к делу. Если он шутил, они поддерживали его шутку; начинал он рассуждать серьезно, они смеялись над тем, что он может говорить о таких вещах серьезно. Таким образом, несмотря на все доводы, все оставалось, как и всегда в Абдере, по-старому.

Тем не менее, уже во времена Демокрита можно было наблюдать, как среди знатной молодежи начинало распространяться некоторое равнодушие к лягушкам. Во всяком случае, жрец Стробил часто заводил жалобные песни о том, что многие известные семьи позволяют постепенно пересыхать лягушачьим рвам, издавна имевшимся в их садах, и только, пожалуй, одни простолудины еще придерживаются старых похвальных обычаев и оказывают свое почтение священному пруду также и добровольными подаяниями.

И кто же при таких обстоятельствах предположил бы, что тот, кого менее всего из абдеритов можно было заподозрить в деисбатрахи, короче, что именно жрец Агатирс станет тем человеком, который вскоре после окончания распри между «ослами» и «теньями» вновь оживит остывающее рвение абдеритов к лягушкам?

Конечно, трудно оправдать в нем это странное противоречие между внутренними убеждениями и поведением. И если бы нам был неизвестен его образ мыслей, то вряд ли можно было бы объяснить такое поведение. Но мы знаем жреца как честолюбивого человека. Во время последних беспорядков он являлся главой сильной партии и склонен был променять это удовольствие только на влияние, которое смог бы оказывать продолжительное время на дела умиротворенной республики. Отныне он имел возможность сохранять его, прибегая к верным средствам — снискивая популярность у простонародья и угождая его предрассудкам, что в сущности для него ничего не стоило, ибо по примеру многих себе подобных, он рассматривал религию просто в качестве политического орудия. Для него было в высшей степени безразлично, каким путем беспрепятственно и надежно удовлетворить свою господствующую страсть — с помощью лягушек, сов или же бараньих шкур⁴. По этой причине, а также стремясь самым дешевым образом завоевать расположение народа, он тотчас же после окончания ослиной войны изгнал из окрест-

ностей Ясонова храма не только аистов, вызывавших нарекания попечителей пруда, но и проявил такую услужливость по отношению к своим новым друзьям, что приказал вырыть посреди площади, предназначавшейся одним из его прадедов для народного гулянья, пруд и для заполнения его весьма любезно выпросил у верховного жреца Стробила несколько бочек лягушачьей икры из священного пруда. С великими церемониями она была доставлена ему в сопровождении всего народа после торжественного жертвоприношения Латоне.

С этого дня Агатирс стал народным кумиром, и лягушачьим прудом, своевременно вырытым, он достиг того, чего не смог бы добиться всей своей политикой, красноречием и щедростью. Как неограниченный монарх властвовал архижрец в Абдере, никогда даже не переступая и порога ратуши. И так как он два или три раза в неделю давал обеды для советников и цеховых старшин и внушал им свои приказы не иначе, как предварительно наполнив их бокалы хиосским вином⁵, то никто не имел ничего против такого любезного тирана. Тем не менее, господа полагали, что в ратуше они высказывают свое собственное мнение, хотя оно было только эхом решений, принятых накануне в трапезной архижреца.

В дружеском кругу Агатирс позволял себе посмеиваться над новым лягушачьим прудом. Но до народа слух об этом не доходил. И поскольку на знатных абдеритов его пример оказывал большее влияние, чем его шутки, то надо было только видеть усердие, с каким они, стремясь тоже угодить народу, воссоставляли в своих садах пересохишие лягушачьи рвы или рыли новые.

Подобно всем глупостям в Абдере, эта оказалась такой же заразительной, и ее не миновал никто. Сначала она была просто модой, свидетельствовавшей о хорошем тоне. Более или менее зажиточный гражданин считал бы для себя позором отстать от своего соседа. Но незаметно мода стала требованием, определявшим хорошего гражданина. Абдерит, не имевший хотя бы небольшой лягушачьей ямы во дворе своего дома, объявлялся врагом Латоны и предателем родины.

При таком горячем усердии со стороны частных лиц легко можно себе представить, что сенат, цехи и прочие корпорации не замедлили выразить Латоне подобные же свидетельства своего благочестия. Каждый цех имел свой лягушачий питомник. На каждой городской площади, даже перед ратушей, где и без того было шумно от зеленниц и торговки яйцами, были сооружены большие бассейны, обсаженные тростником и дерном. А полиция, на обязанности которой лежала главная забота об украшении города, вздумала даже провести по обеим сторонам всех прогулочных дорог, окружавших Абдере, узкие каналы и заселить их лягушками. Проект был представлен в совет, и его единодушно утвердили, хотя для того, чтобы снабдить эти каналы и прочие общественные лягушачьи пруды необходимым количеством воды, нужно было отвести почти все воды реки Неста. Но ни обременительные расходы городской казны из-за этих мер, ни многообразный вред, который мог бы возникнуть из-за отведения реки, совершенно не были приняты во внимание. И когда какой-то молодой советник мимоходом упомянул, что река Нест и без

того высохла, то один из лягушачьих попечителей воскликнул: «Тем лучше! Мы получим новый лягушачий пруд, не истратив на это ни гроша!»

Кому особенно пришлось по душе энтузиазм в украшении города, так это жрецам храма Латоны. Несмотря на то, что они продавали икру из священного пруда очень дешево, а именно, всего по две драхмы за абдеритский кват⁶ (примерно половина нашей кружки), однако кто-то все-таки подсчитал, что в первые два-три года, когда религиозный фанатизм особенно захватил абдеритов, они заработали свыше пяти тысяч дариков. При всем том сумма эта кажется нам слишком завышенной, хотя следует признать, что икру, поставляемую ими республике, они продавали вдвое дороже, получая за нее деньги из строительной казны.

Впрочем, никто в Абдере не думал о последствиях этих превосходных мер. Последствия, как всегда, обнаружили сами собой. Они проявились не сразу, и прошло немало времени, пока их заметили. Но когда, наконец, они стали достаточно явственными даже для абдеритов, то, несмотря на всю их общеизвестную пронидательность, абдериты не могли понять причину этих следствий. Абдерские врачи ломали себе голову, отчего насморки, флюсы, всевозможные кожные заболевания возрастают год от года и становятся такими стойкими, что против них бессильны все их врачебное искусство и антикирская чемерица. Одним словом, Абдера с прилегающей к ней округой превратилась чуть ли не в один сплошной лягушачий пруд, пока одному из ее политических остромыслов не пришло на ум задаться вопросом: а не приносит ли государству безграничное размножение лягушек больше вреда, чем ожидавшаяся от них выгода, которая возместила бы причиненный ущерб?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Характер философа Коракса. Сведения об Академии наук Абдеры. Коракс задает Академии щекотливый вопрос относительно лягушек Латоны и становится главой антилягушатников. Отношение жрецов Латоны к этой секте и как они согласились считать ее безопасной

Кораксом¹ звался тот достопримечательный ум, который первым заметил, что количество лягушек в Абдере действительно чрезмерно и не находится ни в каком соответствии с числом и потребностями ее двуногих, лишенных оперения обитателей. Это был молодой человек из хорошей семьи, проживший несколько лет в Афинах и усвоивший в Академии² (как именовалась основанная Платоном философская школа) определенные принципы, не слишком благоприятные для лягушек Латоны. Сказать по правде, даже сама Латона много потеряла в его глазах благодаря этому пребыванию в Афинах, и не-

удивительно, если он не мог относиться к ее лягушкам со всем должным почтением правоверного абдерита.

— Каждая прекрасная женщина — богиня, — обычно говаривал он, — по крайней мере, богиня сердца, а Латона, бесспорно, была красавицей. Но причем тут лягушки? И рассуждая с чисто человеческой и разумной точки зрения, какое дело, в конце концов, и Латоне до лягушек? Однако допустим, что богиня — которую я, впрочем, глубоко почитаю как всякую прекрасную женщину и богиню, — допустим, что из всех тварей в мире она решила взять под свое особое покровительство именно лягушек. Следует ли отсюда, что мы должны иметь лягушек как можно больше?

При подобном образе мыслей Коракс был членом Академии, учрежденной в Абдере в подражание афинской. Сия Академия располагалась неподалеку от города в небольшом леске с проложенными в нем просеками. И поскольку она находилась на попечении сената и была основана за счет общественной казны, то господа из полиции не преминули щедро снабдить ее лягушачьими рвами. Нередко квакающие филомелы³ своим монотонным хоровым пением мешали глубокомысленным размышлениям членов Академии. Но так как оно раздавалось повсюду в городе и вокруг него, то члены Академии к нему притерпелись, или, верней, так привыкли к лягушачьему хору, как жители Катадуны⁴, обитавшие вблизи большого Нильского водопада, к его шуму, или как соседи любого другого водопада.

Однако с Кораксом, уши которого благодаря пребыванию в Афинах вновь приобрели нормальную человеческую чувствительность, все обстояло иначе. Поэтому неудивительно, что на первом же заседании, где он присутствовал, Коракс язвительно заметил, что сова Минервы несравненно с большим основанием могла бы являться экстраординарным членом Академии, чем лягушки Латоны.

— Я не знаю, как вы относитесь, господа, к этому делу, — прибавил он, — но мне кажется, что с некоторой поры количество лягушек в Абдере непонятным образом увеличилось.

Абдериты, как известно, были туповатым народцем. И никакая нация в мире (за исключением, пожалуй, одной весьма знаменитой⁵) не могла бы соревноваться с ними в странной способности не видеть за деревьями леса. Однако следует отдать им должное в том, что уж если кому-нибудь приходила в голову мысль, до которой мог додуматься любой из них (хотя все же никто и не додумывался), то они вдруг все сразу словно пробуждались от длительного сна, внезапно замечали, что находилось у них под носом, дивились сделанному открытию и считали себя весьма обязанными тому человеку, кто помог им в этом.

— Действительно, — подтвердили господа члены Академии, — количество лягушек с некоторых пор совершенно непонятным образом увеличилось.

— Когда я выразился «непонятным образом», — продолжал Коракс, — то я не имел в виду что-то сверхъестественное. В сущности вполне понятно, что лягушки расплодятся именно в Абдере, где для их содержания предпринимаются такие меры. Непонятно только то, по моему скромному разумению, почему абдериты оказались настолько глупыми, допустив эти меры?

Все члены Академии оторопели от подобного вольнодумства, смотрели друг на друга и, казалось, были в полном недоумении.

— Я говорю с чисто человеческой точки зрения, — пояснил Коракс.

— Мы не сомневаемся в этом, — ответил президент Академии, городской советник и член Коллегии десяти. — Но до сих пор Академия руководствовалась правилом не касаться таких щекотливых вопросов, о которые разум может споткнуться...

— Академия в Афинах не знает таких правил, — прервал его Коракс. — Если нельзя философствовать обо всем, то это, пожалуй, равнозначно тому, что ни о чем нельзя философствовать.

— Можно обо всем, — уточнил президент с многозначительной миной на лице, — но только не о Латоне и...

— ...не о ее лягушках? — заключил, улыбаясь, Коракс. Это было действительно то, что хотел сказать президент. Но при словечке «и» он ощутил какое-то внутреннее стеснение, словно почувствовав, что хочет помимо своей воли сказать глупость. И поэтому остановился с открытым ртом, дав Кораксу возможность закончить фразу.

— Любой предмет можно рассматривать с разных сторон и в разном свете, — продолжал Коракс. — И мне кажется, что это и подобает делать философу, именно это и отличает его от глупой, не мыслящей толпы. наших лягушек, например, можно рассматривать как просто лягушек и как лягушек Латоны. И поскольку они лягушки, то они ни в чем не отличаются от других лягушек и имеют почти такое же отношение к абдеритам, как и все прочие лягушки ко всем прочим людям. Поэтому нет ничего более невинного, чем исследовать, в какой пропорции в государстве находится вся масса лягушек к массе народа. И если обнаружится, что государство содержит больше лягушек, чем ему необходимо, следует предложить полезные меры к уменьшению их количества.

— Коракс рассуждает разумно, — говорили некоторые молодые академики.

— Я рассуждаю о деле с чисто человеческой точки зрения.

— Лучше, если бы мы вовсе не начинали разговора об этом, — сказал президент.

Это была первая искра, зароненная Кораксом в прожектерские головы чересчур любопытных молодых абдеритов. Незаметным образом он стал glavой и глашатаем секты, о принципах и убеждениях которой в Абдере судили не весьма лестно. Их не без основания обвиняли в том, что они не только в своей среде, но даже в больших собраниях и в местах публичных гуляний утверждали, что «невозможно привести ни одного убедительного довода насчет того, будто лягушки Латоны лучше обычных лягушек. Легенда об их происхождении от мидийских лягушек-поселян или от поселян-лягушек — глупая народная сказка. И, нисколько не погрешая против Юпитера и Латоны, позволительно сомневаться даже в самом древнем предании, будто Юпитер превратил этих крестьян в лягушек за то, что они не разрешили Латоне и ее близнецам напиться воды из их пруда. Но как бы то ни было, считали они, нелепо целый город и республику Абдере из благоговения к Латоне превра-

тить в лягушечье болото». И немало прочих подобных же мнений, кажущихся нам сегодня вполне обычными и разумными, звучало тогда в Абдере весьма неприятно, особенно для ушей жрецов Латоны. За это философ Коракс и его сторонники заслужили презрительное прозвище батрахомахов или антилягушатников, прозвище, которого они несколько не стыдились, потому что им удалось заразить своим вольнодумством почти всю знатную молодежь.

Жрец храма Латоны и высокая коллегия попечителей лягушек старались при всяком удобном случае выражать свое недовольство дерзким остроумием антилягушатников, и главный жрец Стильбон по этой причине дополнил свою книгу «О древностях храма Латоны» еще одной большой главой — о природе лягушек Латоны. Но со стороны жрецов тем дело и ограничилось, и они имели на это серьезные основания, потому что, несмотря на вольный образ мыслей по поводу лягушек, ставший благодаря Кораксу всеобщей модой в Абдере, ни одним лягушачьим рвом в городе или в его окрестностях не стало меньше. Коракс и его сторонники были достаточно хитры и заметили, что «свободу открыто рассуждать о лягушках все, что им заблагорассудится», они смогут приобрести легче всего, если в отношении обрядов будут поступать точно так же, как все прочие абдериты. Более того, мудрый Коракс, привлекавший к себе всеобщее внимание, считал, что для безопасности в этом деле следует как раз проявить благочестивое рвение. И тотчас же после его приема в Академию он вырыл на своем наследственном участке земли один из самых лучших лягушачьих рвов, заселив его значительным количеством прекрасных откормленных лягушек из священного пруда, купленных им у жрецов по четыре драхмы за штуку. Это была такая учтивость, что господа жрецы, которые, впрочем, могли и не считать себя очень за нее обязанными, все же, ради хорошего примера другим, непременно хотели показаться благодарными. Особенно потому, что поступок так называемого философа явился удачным поводом убедить возмущавшихся его вольнодумными суждениями и остроумными выпадами в том, что он сам относится к ним несерьезно.

— Его душа не так зла, как его язык, — говорили они. — Он просто считает себя слишком остроумным, чтобы думать как все прочие люди, а в сущности только рисует. И если бы в душе он не был убежден в лучшем, то разве стал бы он опровергать свое вольнодумство своими действиями? О таких людях нужно судить не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают.

Однако при всем том, Коракс, подобно новому Геркулесу, Тесею или Гармодию⁶, несомненно тайно вынашивал план освободить свою родину от лягушек. Они угрожают, говаривал он, гораздо большими несчастьями, чем навтворили во всей Греции разные чудовища, разбойники и тираны, от которых освободили отечество славные герои.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Несчастный случай заставляет сенат обратить внимание на чрезмерное количество лягушек в Абдере. Неосторожность советника Мейдия. Большинство решает запросить мнение Академии. Гипсидой протестует против этого решения и спешит настроит против него верховного жреца Стильбона

Неудобства, которые терпели абдериты из-за необычайного размножения священных лягушек, становились между тем день ото дня все более тягостными, но тогдашний архонт Онокрадий¹ (племянник знаменитого Онолая и, по правде сказать, самый легкомысленный человек, когда-либо стоявший у кормила правления республикой) все еще не решался представить это дело на рассмотрение сената, пока, наконец, не разразилось несчастье.

Во время одного большого празднества, когда процессия членов Совета и всех граждан города шествовала по главным улицам Абдеры, несколько десятков лягушек, осмелившихся далеко ускакать от своих рвов, были в суетоке раздавлены толпой и, несмотря на все предпринятые меры, плачевным образом расстались с жизнью.

Сей случай показался настолько значительным, что архонт вынужден был созвать экстренное заседание Совета, дабы обсудить, какое удовлетворение Латоне город должен дать за это, правда, непредумышленное, но все же весьма пагубное святотатство, и какие меры следует принять на будущее для предотвращения подобных несчастий.

После множества абдерских пошлостей, высказанных по этому случаю, у советника Мейдия², родственника и сторонника Коракса, лопнуло, наконец, терпение, и он взорвался:

— Я не понимаю, почему из-за какого-то десятка лягушек господа подымают такой шум. Ведь каждый убежден, что происшествие было чистой случайностью, и Латона не может из-за этого разгневаться. И если Судьба, управляющая богами, людьми и лягушками предназначила в этом случае погибнуть нескольким квакающим созданиям, то было бы только жедательно, чтобы такой жребий пал не на десяток, а на мириады их!

Среди советников, вероятно, не нашлось бы и пяти человек, не сетовавших тысячи раз в своем доме или в кругу знакомых — по крайней мере с момента открытия, сделанного Кораксом, — по поводу чрезмерного размножения лягушек. Но так как подобные речи еще никогда не раздавались в присутствии всего сената, то каждый был ошарашен смелостью советника Мейдия, словно он схватил за горло саму Латону. Некоторые пожилые господа выглядели настолько испуганными, будто ожидали, что их коллега за свои дерзкие речи тотчас же превратится в лягушку.

— Я питаю должное почтение к священному пруду, — продолжал совершенно хладнокровно Мейдий, отлично все заметивший, — но я взываю к внут-

ренному убеждению людей, у которых еще сохранился природный рассудок: может ли кто-нибудь из нас бесстыдно отрицать, что в Абдере не развелось великое множество лягушек?

Советники между тем оправились от своего первого испуга и, увидев, что Мейдий все еще находился среди них в своем человеческом обличье и безнаказанно высказал то, что, в сущности, они и сами все считали истиной, начали один за другим соглашаться с ним. Спустя несколько минут обнаружилось единодушное мнение всего сената: желательно уменьшить количество лягушек в Абдере.

— Даже в собственном доме мы уже больше не в безопасности от них,— заметил один из советников.

— Невозможно ходить по улицам, не рискуя раздавить лягушек,— прибавил второй.

— Следовало бы с самого начала ограничить право копать рвы,— сказал третий.

— Если бы я был членом сената в то время, когда принималось решение о создании общественных лягушачьих прудов, я бы ни за что не голосовал за него,— высказался четвертый.

— Но кто бы мог предположить, что за несколько лет лягушки так невероятно расплодятся? — воскликнул пятый.

— Я, пожалуй, предвидел это заранее,— сказал президент Академии,— но я положил себе за правило жить в мире со жрецами Латоны.

— И я также,— проговорил Мейдий,— но от этого наши обстоятельства не станут лучше.

— Что же в таком случае делать, господа? — задал вопрос архонт Онокрадий своим обычным гнусавым голосом.

— В том-то как раз и дело! — хором ответили советники.— Если бы кто-нибудь нам посоветовал, что предпринять?

— Что предпринять? — поспешно воскликнул Мейдий и вдруг остановился.

В ратуше воцарилась всеобщая тишина. Мудрые мужи опустили головы на грудь и казалось с великим напряжением раздумывали над тем, что предпринять.

— Но для чего же у нас существует Академия наук? — воскликнул через некоторое время архонт к всеобщему удивлению всех присутствующих, ибо с момента его избрания он еще никогда не высказывал своего мнения с помощью риторических фигур.

— Мысль высокоумного архонта — самая счастливая! — сказал советник Мейдий.— Следует предложить Академии высказать свое заключение, какими средствами...

— Это как раз то, что я думаю,— прервал его архонт.— Для чего же у нас Академия, если мы должны ломать голову над такими тонкими вопросами.

— Превосходно! — воскликнуло множество толстых советников, одновременно потирая свои пустые лбы.— Академия! Академия должна представить свое мнение!

— Я умоляю вас, господа,— вскричал Гипсидой³, один из главарей республики, являвшийся в это время номофилаксом, первым попечителем лягушек и членом достопочтенной Коллегии десяти. Несмотря на все эти звания, вряд ли кто-нибудь в Абдере в глубине души верил меньше, чем он, в Латону и ее лягушек. Но так как при последних выборах архонта было отдано предпочтение не ему, а Ясониду Онокрадию, то он решил противоречить во всем новому архонту. Поэтому Ясониды и их друзья не без основания обвиняли его в том, что он нарушитель спокойствия и замышляет не более и не менее как создание в совете партии, которая будет противодействовать всем намерениям и решениям Ясонидов, с давних пор господ положения.— Я умоляю вас, не спешите,— вскричал Гипсидой.— Дело касается вовсе не Академии, а коллегии попечителей лягушек. Ведь это противоречит всякому доброму порядку и, если решение такого важного вопроса предложат Академии, то оно было бы воспринято жрецами Латоны как грубое оскорбление.

— Но это не просто лягушачий вопрос, высокочтимый господин номофилакс,— возразил Мейдий своим обычным тоном хладнокровной насмешки.

— К сожалению, благодаря отличным мерам, предпринятым несколько лет назад, вопрос этот стал уже делом государственным.

— И, быть может, самым важным из тех, которые когда-либо требовали созыва всех патриотически настроенных умов,— прервал его Стентор⁴, одна из самых горячих голов в городе, пользовавшийся благодаря своей зычной глотке большим влиянием в сенате. Несмотря на то, что он был плебей, Ясониды привлекли его на свою сторону, женив на незаконной дочери покойного архиерея Агатирса и обычно использовали его могучий голос, когда что-то необходимо было провести в сенате вопреки номофилаксу, обладавшему таким же сильным, хотя и не столь оглушительным голосом.

На сей раз основательно досталось бы ушам абдеритских советников, если бы они не привыкли к вечному «коакс-коакс» своих лягушек, став тем самым менее чувствительными: иначе бы им грозила опасность совершенно оглохнуть. Но к подобным любезностям в абдерской ратуше уже вполне привыкли и поэтому предоставили полную возможность двум могучим крикунам, подобно двум распаленным ревностью быкам, реветь друг на друга, пока, не осипнув от крика, они уже не могли более орать.

Так как и теперь уже не было смысла слушать их, то архонт осведомился у городского писаря, который час и, узнав, что приближается время обеда, приступил к опросу мнений.

Здесь следует припомнить, что, принимая решение, члены абдерского совета никогда хладнокровно не взвешивали доводы за или против какого-либо мнения, чтобы склониться на сторону наиболее разумного. Напротив, они присоединялись к тому, кто дольше и громче кричал, или же к тому, чью партию они поддерживали. Обычно в делах повседневных партия архонта почти всегда одерживала верх. Но на этот раз, поскольку дело, выражаясь словами президента Академии, касалось такого скользкого вопроса, вряд ли победил бы Онокрадий, если бы Стентор изо всех сил не напрягал свою глотку. Двадцатью восемью голосами против двадцати двух было решено запросить мнение Академии, какими путями и средствами можно приостановить

размножение лягушек, не нарушая, однако, должного почтения к Латоне и не затрагивая прав ее храма.

Эту оговорку советник Мейдий включил специально, дабы лишить партию номофилакса всякого повода настроить народ против решения большинства. Но Гипсидой и его приверженцы заверили, что они не окажутся настолько глупыми и не дадут провести себя подобными оговорками. Они протестовали против записи ее в протокол, потребовали *extractum in forma probante* * и незамедлительно отправились к верховному жрецу Стильбону, чтобы известить его преподобие о неслыханном вмешательстве в права попечителей лягушек и храма Латоны и обсудить с ним меры, которые спешным образом необходимо предпринять для поддержания их авторитета.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Характер и образ жизни верховного жреца Стильбона. Переговоры между жрецами Латоны и советниками, оказавшимися в меньшинстве. Стильбон оценивает дело с собственной точки зрения и отправляется сам сделать заявление архонту. Достопримечательный разговор между оставшимися

Верховный жрец Стильбен был уже третьим, кто наследовал достопочтенному Стробилу — мир праху его! — в этом звании. Характеры этих двух мужей, за исключением ревностного отношения к делам их сословия, имели мало общего. Стильбон с юных лет любил уединение и проводил время в самых глухих местах рощи Латоны или в отдаленных уголках ее храма, предаваясь размышлениям, которые казались ему тем привлекательней, чем больше выходили они за границы человеческого познания или, верней, чем меньше имели они отношения к потребностям повседневной жизни. Подобно неутомимому пауку, расположил он в центре своей словесной и мыслительной паутины, постоянно прядя из примитивного запаса понятий, приобретенного им в тесных закоулках храма Латоны, столь прозрачные и тонкие нити, что он смог ими вполне опутать бесчисленные пустые ячейки своего мозга.

Кроме метафизических размышлений он занимался древностями Абдеры, Фракии и Греции, особенно историей всех материков, островов и полуостровов, по преданиям, некогда существовавших, но уже исчезнувших в незапамятные времена. Этот почтенный человек находился в полном неведении относительно того, что происходило на свете в его время и еще менее — что было каких-нибудь пятьдесят лет тому назад. Живя в одном из концов города, он даже Абдеру знал хуже, чем Мемфис или Персеполис¹. Зато он чувст-

* Выписку в надлежащей форме (лат.).

вовал себя как дома в древней стране пеласгов², достоверно знал, как назывался каждый народ, каждый город и каждое маленькое поселение до того, как они приобрели современные названия. Он знал, кто построил любой из храмов, лежащих в руинах, и мог перечислить по порядку всех царей, правивших за стенами своих маленьких городов до Девкалионова потопа³ и творивших суд для тех... кто был сам не в силах добиться справедливости. Знаменитый остров Атлантида⁴ был ему настолько хорошо знаком, будто он сам своими собственными глазами видел все ее великолепные дворцы, храмы, площади, гимнасии, амфитеатры и прочее. И он огорчился бы до слез, если бы кто-нибудь указал ему на незначительную неточность в его толстой книге о миграциях острова Делоса⁵ или же в каком-либо другом его пухлом сочинении, посвященном подобным же интересным вопросам.

Все эти знания делали Стильбона, разумеется, необыкновенно ученым, но, несмотря на это, и весьма ограниченным, чрезвычайно простодушным в практических делах человеком. Его понятия о вещах человеческих почти все были бесполезными, ибо когда он их применял, они редко или же совсем не соответствовали реальной жизни. Именно о вещах ясных, находившихся у него под носом, он всегда судил неправильно, постоянно делал «верные» выводы из ложных посылок, всегда удивлялся естественным явлениям и неизменно ожидал счастливых результатов от средств, которые могли лишь разрушить его намерения. В течение всей жизни голова его оставалась вместе с лицом всех предрассудков простонародья. Самая глупая старуха в Абдере, пожалуй, не была столь легковерной, как он. И как ни покажется это парадоксальным для читателя, однако из всех людей в Абдере он, вероятно, был единственным, кто с полной серьезностью почитал лягушек Латоны.

При всем том верховный жрец считался благонравным и миролюбивым человеком, и, поскольку затворнические добродетели Стильбона, бывшие следствием его образа жизни, положения и склонности к созерцанию, ставились ему в большую заслугу, то он слыл мудрей и непорочней, чем любой из его земляков-абдеритов. Он был для них человеком, свободным от страстей, ибо они видели, что над ним не властвуют желания, обычные для прочих людей. Однако абдериты не задумывались над тем, что все эти явления не имеют для него решительно никакой цены, потому ли, что он не был с ними знаком, или же потому, что, живя исключительно размышлениями, он впал в апатию и испытывал отвращение ко всему, что предполагает иные привычки.

Тем не менее добрый Стильбон, сам того не зная, обладал одной страстью, достаточной, чтобы причинить Абдере столько бед, сколько могли бы причинить все прочие страсти, которые у него отсутствовали,— страстью к своим собственным мнениям. Будучи сам в высшей степени убежденным в их истинности, он совершенно не понимал, чтобы кто-либо, обладающий нормальными чувствами и здравым смыслом, мог думать иначе, чем он. Если случалось такое, то он объяснял подобную возможность альтернативой: либо человек сошел с ума, либо он злонамеренный, заведомый и закислый враг истины и, следовательно, достойный презрения человек. Благодаря такому образу мысли, верховный жрец Стильбон со всей его ученостью и затворническими до-

бродетелями был в Абдере человеком опасным. И он был бы еще опасней, если бы его равнодушие и ярко выраженная склонность к одиночеству не отдаляли бы от жреца все, что творилось вокруг него и поэтому редко казалось ему достойным внимания.

— Я никогда не слышал, чтобы были причины жаловаться на слишком большое количество лягушек, — хладнокровно заметил Стильбон, когда номофилак закончил свое сообщение.

— Не об этом сейчас речь, господин верховный жрец, — отвечал тот. — На сей счет сенат и, полагаю, город держатся одного мнения. Но мы никогда не допустим, чтобы Академии предложили найти необходимые пути и средства сократить количество лягушек.

— А разве сенат сделал такое предложение Академии? — спросил Стильбон.

— Вы ведь слышите, — воскликнул Гипсидой с некоторым нетерпением, — это как раз то, о чем я вам толковал и почему мы пришли сюда!

— В таком случае сенату окончательно изменила его постоянная мудрость, если он предпринял такой шаг, — точно так же хладнокровно заметил жрец. — Решение сената у вас?

— Вот его копия.

— Гм, гм, — проговорил Стильбон и, прочитав один или два раза документ, покачал головой. — Здесь больше нелепостей, чем слов. Во-первых, нужно еще доказать, что в Абдере слишком много лягушек, а этого и вовек не доказать, ибо для того, чтобы определить понятие «слишком много», нужно сначала знать, что такое «достаточно». Но как раз этого мы узнать и не сможем, разве что только Аполлон Дельфийский или сама его мать Латона надоумят нас посредством оракула. Дело абсолютно ясное. Поскольку лягушки находятся под непосредственным покровительством и влиянием богини, то нелепо утверждать, что их стало больше, чем желательно богине; и следовательно, вопрос этот не только не нуждается в каком-нибудь изучении, но он даже недопустим. Во-вторых, предположим, что лягушек слишком много, но все же нелепо говорить о путях и средствах их уменьшения. Ибо подобных средств не существует, по крайней мере зависящих от нашей воли, а это равносильно тому, что их вообще нет. В-третьих, нелепо делать такое предложение Академии, ибо Академия не только не имеет права высказываться по столь важным вопросам, но и состоит, как я слышал, из пустозвонов и легкомысленных голов, ничего не смыслящих в подобном рода предметах. И верным доказательством того, что они ничего в этом не разумеют, являются, как я слышал, их глупые шутки и насмешки. Хочу верить, что эти несчастные люди творят такое единственно лишь по неразумению. Ибо если бы они внимательно прочли мою книгу «О древностях храма Латоны», то нужно быть совершенно безумным или отъявленным злодеем, чтобы отвергнуть те истины, которые я так ясно там изложил. Поэтому решение сената, как я сказал, абсолютно бессмысленно и, следовательно, не может оказать никакого действия, так как абсурдное положение равносильно тому, что оно вообще не существует. Объясните же это, высокоуважаемый господин номофилак, нашим милостивым господам на следующем заседании! Наши милостивые господа

несомненно придумают что-то более удачное. И, таким образом, будет лучше, если все останется по-старому.

— Господин верховный жрец,— отвечал ему Гипсидой,— Вы — человек необыкновенно ученый, это всем известно. Но не сочтите за обиду, в делах светских и государственных ваше преподобие не разбираются. Большинство сената приняло решение, предосудительное для прав батрахотрофов⁶. Оно пока остается в силе, и архонт приведет его в исполнение прежде, чем я успею — пожелай я взяться за такой труд,— изложить ваши логические доводы.

— Но в предметах, требующих размышления, все должно определяться не большинством, а умнейшими людьми.

— Превосходно, господин верховный жрец! — отвечал номофилакс.— Истинная правда! Умнейшими! Умнейшие, бесспорно, имеют на это право. Вопрос, следовательно, теперь только в том, чтобы они удержали за собой это право. Мы должны думать о средстве, которое немедленно задержало бы исполнение сенатского решения.

— Я сейчас же пошлю его милости архонту свою книгу о древностях храма Латоны. Он, видимо, еще не читал ее, ибо в главе о лягушках все предельно ясно изложено об этом предмете.

— Да архонт ни одной книги не прочел за всю свою жизнь, господин верховный жрец,— заметил, смеясь, один из советников.— Средство не подействует, ручаюсь вам!

— Тем хуже,— возразил Стилбон.— В какие времена мы живем, если это правда! И если глава государства подает такой пример... Но трудно поверить, чтобы Абдера уже так низко пала.

— Вы к тому же еще слишком невинны, господин верховный жрец! — сказал номофилакс.— Но оставим это! Было бы совсем неплохо, если бы только в этом заключался самый большой порок архонта...

— Я вижу лишь одно средство,— заявил один из жрецов, по имени Памфаг⁷,— высокочтимая Коллегия десяти выше сената, следовательно...

— Прошу прощения,— прервал его один из советников,— не выше сената, а только...

— Вы не дали мне договорить,— сказал жрец с некоторой раздражительностью,— Коллегия десяти не выше сената в делах юридических, государственных и полицейского надзора. Но поскольку все, что касается храма Латоны, относится к компетенции Коллегии десяти и ее решения не могут быть обжалованы, то ясно, что...

— Коллегия десяти не выше сената! — прервал его тот,— ибо сенат во все не заведует делами храма Латоны и, следовательно, никогда не может столкнуться с Коллегией десяти.

— Тем лучше для сената,— сказал жрец.— Но если когда-либо сенату вздумается судить о вещах, имеющих весьма близкое отношение к культуре Латоны, как в данном случае, то я не вижу иного средства, кроме созыва Коллегии десяти.

— Это может сделать только архонт,— возразил Гипсидой,— а он, конечно, откажется.

— Он не сможет отказаться, если об этом будет просить его все жречество,— сказал Памфаг.

— Я не разделяю вашего мнения, собрат,— вмешался верховный жрец.— Если бы мы настаивали в данном случае на созыве Коллегии, это противоречило бы ее достоинству и установившемуся порядку. Коллегия десяти может и должна собираться, когда религии действительно нанесен урон. Но в чем здесь урон? Сенат принял абсурдное решение, вот и все. Плохо, конечно, но не ужасно. Разве вы могли бы доказать, что Коллегия десяти существует для того, чтобы судить сенат, когда он принимает нелепые решения?

Жрец Памфаг закусил губу, повернулся к номофилаксу и что-то прошептал ему в левое ухо.

Стильбон, не обращая на это внимания, продолжал:

— Я сейчас же сам отправляюсь к архонту. Я вручу ему свою книгу о древностях храма Латоны. Пусть он прочтет главу о лягушках! Безусловно, он тотчас же убедится в нелепости решения сената.

— Так ступайте же и испытайте ваше средство спасения,— сказал номофилакс.

Верховный жрец немедленно удалился.

— Ну и голова же! — воскликнул жрец Памфаг после его ухода.

— Он необыкновенно ученый муж,— заметил советник Будефал⁸,— но...

— Ученый муж? — прервал его тот.— Что вы называете «ученым»? Он учен в вещах, до которых никому и дела нет.

— Но об этом ваше преподобие имеет возможность судить лучше, чем наш брат,— возразил советник.— Я в таких вещах совершенно не разбираюсь. Однако мне всегда казалось непонятным, как такой ученый человек может быть в практических делах наивным, как ребенок.

— Несчастье для храма Латоны! — сказал другой жрец.

— И для всего государства! — прибавил третий.

— В этом я как раз не очень уверен,— сказал номофилакс, хитровато поведя носом.— Но вернемся к делу. Кажется, все согласны с тем, что необходимо созвать Коллегию десяти...

— И тем более,— сказал один из советников,— что мы, вероятно, сможем настроить большинство против архонта.

— Ну, если нет иного выхода,— продолжал номофилакс,— то я согласен

— Но разве нельзя найти лучшие средства, ведь на нашей стороне сама Латона и все жречество? Разве мы не составляем почти половину совета? Нам недоставало всего шесть голосов. И если мы будем твердо держаться вместе...

— Непременно будем! — зашумели советники.

— У меня есть одна мысль, господа. Но она должна еще созреть. Выберите из вашей среды двух или трех человек, с которыми я мог бы обстоятельно обсудить дело сегодня вечером в своем саду. А между тем выяснится, насколько убедил верховный жрец архонта Онокрадия.

— Ставлю свою голову в заклад против дыни,— сказал жрец Харакс⁹,— что он плохое сделает еще хуже.

— Тем лучше! — отвечал номофилакс.

ГЛАВА ПЯТАЯ

*Что произошло между верховным жрецом и архонтом —
одна из поучительнейших глав всей этой истории*

В то время как в передней у верховного жреца велись подобные разговоры, он собственной персоной отправился к Онокрадию и потребовал аудиенции по делу, весьма важному для архонта.

— О, это определенно насчет лягушек, — сказал советник Мейдий, нашедшийся как раз у архонта. Он сообщил ему, что номофилакса со всеми его сторонниками видели направляющимися к храму Латоны.

— Черт бы побрал, — да простит мне Латона! — всех этих лягушек! — вскричал в нетерпении Онокрадий. — Сейчас этот угрюмый поп так прожужжит мне уши своими «почему» и «посему», что у меня голова пойдет кругом! Помогите мне отделаться от этого старого хрыча, напоминающего привидение!

Замешательство архонта вызвало смех у Мейдия.

— Вы только слушайте его, — посоветовал он, — но сохраняйте важный вид и настаивайте на том, что нужда не считается с законами. Не можем же мы, действительно, позволить лягушкам сожрать нас! И если так будет продолжаться, то пусть уж тогда Латона превратит всех нас в лягушек. И это будет еще самый счастливый выход, коли мы в ближайшее время не найдем средств спасти себя. Во всяком случае, делу не повредит, когда ваша милость даст понять жрецу, что в Абдере существует еще и храм Ясона и что боги постольку боги, поскольку они творят добро.

— Прекрасно, прекрасно! — отвечал архонт. — Только б запомнить все, что вы говорили! Но постараюсь собраться с силами. Пусть только жрец начнет осаду! А вы, Мейдий, пройдите пока в мой кабинет, там вы найдете чудесное собрание небольших произведений Паррасия¹, которые редко встретишь. Но ни слова об этом жене! Вы меня понимаете?

Мейдий прошел в кабинет. Архонт принял соответствующую позу, и Стильбон появился.

— Милостивый господин архонт, — начал он, — я пришел дать вашей милости добрый совет, ибо я высокого мнения о вашей мудрости и желал бы предотвратить бедствие.

— Благодарю вас за то и за другое, господин верховный жрец! Добрый совет, как известно, всегда к месту. Что вы желали бы мне сообщить?

— Сенат, по дошедшим до меня слухам, — продолжал Стильбон, — принял поспешное решение, касающееся лягушек Латоны...

— Господин верховный жрец!..

— Я не утверждаю, что вы этому содействовали по злему умыслу. Люди впадают в грех просто по неведению. Вот я и принес вашей милости книгу, из которой вы сможете многое узнать о наших лягушках. Она мне стоила немалого труда и бессонных ночей. Вы поймете из нее, что Академия, существующая без году неделя, не имеет никакого права судить о лягушках, столь же древних, как и сама божественная Латона. Общеизвестно, что абдерские

лягушки нечто совершенно иное, чем лягушки в любом другом месте на свете. Они принадлежат Латоне и являются бессмертными свидетелями и живыми доказательствами ее божественности. Было бы бессмыслицей утверждать, что их слишком много, и святотатством говорить о средствах сокращения их количества.

— Святотатством, господин верховный жрец?

— Я бы не заслуживал звания верховного жреца, если бы молчал, когда творится такое. Ибо если мы допустим уменьшение числа лягушек, то наши более грешные потомки чего доброго додумаются до того, что полностью уничтожат их. Как я уже заметил, ваша милость найдет в этой книге все, что требуется для верного понимания дела. Позаботьтесь о том, чтобы ее размножили и каждая семья была бы снабжена экземпляром книги. Будет это обеспечено — отпадает сама собой и надобность толковать о деле. Академия вольна высказывать свои мнения о чем угодно. Вся природа к ее услугам. Она может рассуждать обо всем, начиная от слова и до тли, от орла до комара, от кита до малька и от кедра до плауна², но о лягушках она должна помалкивать!

— Господин верховный жрец! — отвечал архонт. — Да сохранят меня боги от того, чтобы мне когда-либо пришло в голову судить о ваших лягушках. Моя забота, как архонта, состоит в том, чтобы сохранить в Абдере те старые порядки, которые я застал. Тем не менее это факт, что от лягушек не стало житья, и такому безобразию следует положить конец, ибо хуже ничего уже с нами быть не может, как вы сами видите. Наши предки довольствовались содержанием священного пруда, а собственные лягушачьи рвы каждый мог иметь по своему желанию. И следовало бы все так и оставить! Но поскольку дело уже дошло до таких угрожающих размеров, что вскоре лягушки сожрут нас живыми или мертвыми, то не станете же вы требовать, ваше преподобие, чтобы мы это допустили? Ведь если кого-нибудь сожрут лягушки, то для него, пожалуй, будет малым утешением сознавать, что его сожрали не простые лягушки. Одним словом, господин верховный жрец, Академия обязана высказать свое мнение, ибо это предложено ей сенатом. И при всем уважении к вашему преподобию, я не стану читать вашей книги. Раз и навсегда должен быть решен вопрос: существуют ли лягушки для абдеритов или же абдериты для лягушек. И коль скоро республика подвергается из-за лягушек опасности, то это уже дело государственной важности, и жрецы Латоны, как вам известно, не имеют права сюда вмешиваться. Короче, господин верховный жрец, нужда не считается с законами, мы не хотим отдавать себя на съедение лягушкам! Если же, однако, вы, паче чаяния, будете настаивать на этом, то я вынужден буду напомнить вам, что храм Латоны — не единственный храм в Абдере, и золотое руно, сохранность которого боги вверили моему роду, могло бы, вероятно, обнаружить еще одно, до сих пор скрытое могущество и моментально освободить Абдеру от всякой напасти. Больше я не желаю говорить. И запомните, господин верховный жрец: повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить.

Добрый верховный жрец и сам не знал, во сне или наяву услышал он такие речи от архонта, которого всегда считал здравомыслящим и благонаме-

ренным правителем. Несколько минут он стоял в изумлении, не в силах вымолвить ни слова, и не потому, что ему нечего было сказать, а, напротив, потому что хотел сказать многое, не зная с чего же начать.

— Я бы никогда не подумал,— проговорил он, наконец,— что доживу до той поры, когда верховный жрец услышит из уст архонта такое, что я сейчас от него услышал.

При этих словах архонт забеспокоился. Не представляя как следует и сам того, что он сказал верховному жрецу, он начал опасаться, не наговорил ли больше, чем приличествовало. С некоторым замешательством смотрел он на дверь кабинета, словно желая позвать на помощь своего тайного советника Мейдия. Но, вынужденный на этот раз обходиться своими силами, он попеременно то потирал свой нос, то теребил бороду, кашлял, хрипел и, наконец, принялся возвращать верховному жрецу со всем достоинством, которое он мог второпях сохранить.

— Не знаю, как должно понимать то, что вы сказали. Но в одном я уверен: если вам показалось, будто вы услышали не то, что вам полагалось бы слышать, то вы меня совершенно неправильно поняли. Вы необыкновенно ученый человек, я питаю глубочайшее уважение к вашей особе и вашей должности...

— Следовательно, вы хотите прочитать мою книгу?

— Пожалуй, этого я бы не сказал, но если вы настаиваете... Если вы полагаете, что она безусловно...

— Хорошее никому не следует навязывать,— заметил жрец с обидой, которую не мог скрыть.— Я вам ее оставлю. Прочтете вы ее или нет, но тем хуже для вас, если вам безразлично, правильно ли вы мыслите или нет...

— Господин верховный жрец,— прервал его архонт, который тоже начал выходить из себя,— вы обидчивый человек, как я вижу. Я не упрекаю вас в том, что вы принимаете близко к сердцу судьбу лягушек, на то вы и верховный жрец. Но помните также, что я архонт Абдеры, а не лягушачьего пруда. Пребывайте в своем храме и распоряжайтесь там, как хотите, но в ратуше позвольте управлять нам. Академия представит свое мнение о лягушках, ручаюсь вам, и оно будет вам сообщено прежде, чем сенат примет решение, и в этом вы тоже можете быть уверены!

Верховный жрец постарался, насколько мог, скрыть досаду от неудачного исхода своего визита, откланялся и, уходя, выразил уверенность, что сенат ничего не предпримет без предварительного согласия жрецов храма Латоны. Архонт, в свою очередь, заверил его в том, что права храма Латоны так же священны для него, как права сената и благо города Абдеры. При таком положении дел они расстались друг с другом довольно вежливо.

— Замучил меня поп,— сказал архонт советнику Мейдию, вытирая лоб платком.

— Но вы тоже храбро держались,— отвечал советник.— Попик будет теперь рвать и метать, но его громы и молнии — чепуха. Не следует только пускаться с ним в разговоры о его дефинициях и силлогизмах и тогда он будет побежден и не найдет, куда деться.

— Да, если б только за ним не стоял номофилакс! Не хотелось бы слишком обострять с ним отношения. Однако каково требование — прочесть толстую

книгу! Достаточно того, что старый хрыч с ввалившимися глазами досочивался чуть не до слепоты. У всякого другого давно лопнуло бы терпение!

— Не беспокойтесь ни о чем, господин архонт. Академия на нашей стороне и через несколько дней на нашей стороне окажутся и все насмешники Абдеры. Я распространю среди народа песенки и баллады. *Лелекс*³ переложит историю ликийских поселян-лягушек в такую балладу, от которой все надорвет животики со смеху. Этих господ с их лягушками следует высмеять, разумеется, тонко, но удар за ударом, песня за песней!

— Как хотелось бы этого! — сказал архонт. — Ибо вы и представить не можете, что натворили проклятые лягушки нынешним летом в моем саду! Сердце разрывается смотреть на это. Теперь нам не хватает только засухи и на наши шеи свалятся еще полчища полевых мышей и кротов.

— Но прежде всего избавимся от лягушек, — отвечал Мейдий. — Против будущих мышей тоже найдутся потом средства.

— Но что же, черт возьми, делать мне с толстенной книгой верховного жреца? — спросил архонт. — Ведь не вздумаете же вы потребовать, чтобы я ее прочел?

— Да сохранят меня от этого Ясон и Медея! — ответил Мейдий. — Дайте ее мне. Я передам ее своему двоюродному брату Кораксу, которому, несомненно, будет поручено изложить мнение Академии. Он ее неплохо использует, ручаюсь вам!

— Тут, вероятно, содержатся прекрасные вещицы...

— А если она окажется совершенно бесполезной, то мы изготовим из нее порошок и дадим его крысам, которые по предсказаниям вашей милости еще должны появиться. Это будет отличный крысиный яд!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Что сделал верховный жрец Стильбон, прибыв домой

Возвратившись в свою келью, верховный жрец тотчас же сел за письменный столик и взял свою книгу «О древностях храма Лагоны» с намерением перечитать главу о лягушках — самую большую в книге — и лъстя себя надеждой сделать это с беспристрастием судьи, не имеющего никакой иной цели, кроме истины. Будучи уверенным в результатах своих исследований, он, тем не менее, считал необходимым, прежде чем решительно действовать дальше, еще раз подвергнуть критической проверке всю свою теорию и ее доказательства пункт за пунктом, имея в виду, если и при вторичном строгом исследовании она окажется справедливой, защищать ее более уверенно от нападков всяких остроумцев и модных философов.

Бедный Стильбон! Ежели ты — как хотелось бы верить, — был искренним, то что за обманчивая вещь — человеческий разум! И что за опасный змей-искуситель и архиволшебник — самолюбие!

Стильбон прочитал главу о лягушках со всем беспристрастием, на которое он только был способен, взвешивая каждое положение, каждое доказательство, каждый силлогизм с хладнокровием Аркесилая¹, и пришел к выводу, что «либо следует отказаться вообще от человеческого разума, либо признать правильность его теории».

«Этого быть не может!», скажете вы... Извините, это весьма возможно, ибо такое случилось и случается еще постоянно в наши дни. Самое естественное явление! Добрый человек был влюблен в теорию как в свою плоть и кровь. Он ее породил, она ведь была частью его существа и заменяла ему жену и детей, все блага, почести и радости мира, от которых он отрекся, вступив в храм Латоны. Она была ему дороже всего на свете. Приступая к ее новой проверке, он уже вполне уверился в истине и совершенстве ее как в своем собственном существовании. Для него это было равносильно тому, как если бы он со всем хладнокровием принялся исследовать, бел или черен снег на вершинах Гема.

«То, что милійские поселяне, не позволившие Латоне утолить жажду из их пруда, были превращены в лягушек², утверждал в своей книге Стильбон,— это факт.

То, что множество лягушек, как гласит предание, особым образом были переселены в Абдери, в пруд, находящийся в роше Латоны,— это тоже факт.

Оба факта основываются на том, на чем основывается любая историческая истина — на человеческой вере в свидетельстве людей. И с тех пор, как существует Абдера, еще ни одному человеку не пришло в голову оспаривать общую убежденность абдеритов в неопровержимости этих фактов. Ибо тот, кто пожелал бы опровергнуть эти факты, должен был бы доказать их невозможность. А где же сыщется на свете человек, способный на это?

Однако относительно того, являются ли лягушки, находящиеся в пруду, именно теми, кого превратила в лягушек Латона, или — что то же самое, — по ее мольбе Юпитер, существуют различные мнения.

Большинство наших ученых рассматривали священный пруд как учреждение наших предков, а к содержащимся в нем лягушкам они относились с подобающим почтением как к достопамятному свидетельству могущества нашей богини-покровительницы.

Простой же народ, напротив, видел в этих лягушках тех самых, с которыми произошло известное чудо.

И я, Стильбон, ныне верховный жрец в Абдере по милости Юпитера и Латоны, по зрелому размышлению пришел к выводу, что вера народа покоится на неопровержимом основании. И вот мое доказательство!»

Мы, вероятно, наскучили бы благосклонному читателю, если бы пожелали ознакомить его с этим доказательством столь же подробно, как оно изложено в упомянутой книге верховного жреца Стильбона, тем более, что мы заранее так же совершенно уверены в его неосновательности, как добрый Стильбон в его основательности. Итак, ограничимся всего лишь двумя словами: вся его лягушачья теория держалась на гипотезе весьма обычной сегодня, а в то время (во всяком случае, в Абдере) совершенно новой и, как клялся Стильбон, им самим созданной, утверждавшей, что «всякое живое создание

есть не что иное, как развитие изначального зародыша³). Стильбону открытие, сделанное им, показалось таким превосходным, что он, будучи несведущим в физике, постарался подкрепить его множеством логических и моральных аргументов, которые с каждым днем представлялись ему все более вероятными.

Наконец, он решил, что довел свое открытие до степени высшей вероятности. И так как от последней до истины требуется всего лишь небольшой прыжок, то вовсе неудивительно, что его столь остроумная, столь тонкая, столь вероятная гипотеза, им самим изобретенная и с таким трудом разработанная, связанная им со всеми прочими идеями и ставшая основой для новой, вполне продуманной теории о лягушках Латоны, представлялась ему такой же бесспорной, очевидной и несомненной, как какое-нибудь положение Евклида.

«Милийские поселяне, превращенные в лягушек,— говорил Стильбон,— имели в себе множество скрытых один в другом зародышей поселян и непоселян, которые, по естественной причине, могли и должны были с того времени и по сей день, и с сегодняшнего дня до конца света произойти от них. Но в тот момент, когда милийские поселяне стали лягушками, все человеческие зародыши, имевшиеся у каждого из них, превратились в лягушачьи. Ибо,— утверждал он,— или эти зародыши были истреблены, или превращены в лягушачьи, или же оставлены без изменений. Первый случай невозможен, поскольку нечто не может перейти в ничто, так же, как и ничто — в нечто. Третий случай также нельзя себе представить, ибо если бы упомянутые зародыши остались человеческими, то милийские ἀνθρώποι αὐτῶν, человеколягушки рождали бы настоящих людей, что противоречит исторической истине и само по себе во всех отношениях нелепо. Следовательно, остается лишь второй случай: они превратились в лягушачьи зародыши. Итак, с полной определенностью можно утверждать: лягушки, находящиеся донныне в священном пруду, и все прочие, происходящие от них, сиречь все абдерские лягушки суть те же самые, которые превращены Латоной в лягушек, поскольку они существовали в зародышах поселян, испытавших одновременно с ними это превращение».

Считая это раз и навсегда доказанной истиной, честный Стильбон полагал, что из нее сами собой вытекают и ясные как день следствия. Подобно тому как, например, пораженный молнией дуб считают священным предметом, связанным с Зевсом Громовержцем, и относятся к нему с благоговейным трепетом, точно так же, говорил он, следует относиться и к превращенным Латоной или Юпитером человеколягушкам и ко всем их потомкам до тысячного и десятитысячного колена и почитать их как чудесные и близкие к Латоне существа.

По виду они, правда, походят на прочих обыкновенных лягушек. Но так как в прошлом они были людьми, а человеческая природа и происхождение накладывают на нас неизгладимый отпечаток, то они не столько лягушки, сколько человеколягушки, и в некотором смысле принадлежат к человеческому роду, являются нашими братьями, нашими несчастными братьями, отмеченными ужасным знаком возмездия богов, и именно поэтому достойными

нашего нежного сострадания. Однако не только нашего сострадания, прибавлял Стильбон, но и нашего благоговения, поскольку они являются постоянными и неприкосновенными свидетелями могущества нашей богини, оскорбить которых значит оскорбить саму Латону. И то, что их оберегали и они сохранились в течение веков, как раз и является красноречивым доказательством ее воли.

Добрый верховный жрец, которого наши читатели не осмелятся презирать, если только глубоко проникнут в его душу, просидел весь вечер в чтении и критическом исследовании своей главы о лягушках и, стремясь подкрепить свою теорию новыми аргументами, до того углубился в это занятие, что совсем позабыл о своем обещании сообщить номофилаксу о результатах визита к архонту. Он вспомнил об этом лишь тогда, когда в сумерках приоткрылась дверь его кельи и перед ним собственной персоной предстал номофилакс.

— Ничего утешительного не могу вам сообщить, — воскликнул, увидев его, Стильбон. — Мы имеем дело с более опасными людьми, чем я представлял. Архонт отказался прочесть мою книгу, быть может, потому, что он вообще не умеет читать...

— Не ручаюсь за это, — ответил Гипсидой.

— И он говорил со мной в таком тоне, которого я совершенно не ожидал от главы республики.

— Что же он сказал?

— Благодарение небесам, я уже позабыл большую часть того, что он говорил. Достаточно, что он настаивал на непременном мнении Академии.

— Об этом ей следовало бы, пожалуй, не беспокоиться, — прервал его номофилакс. — Антилягушатники встретятся с сопротивлением гораздо большим, чем они предполагают. Но дабы нас не обвиняли в том, что мы прибегаем к насильственным мерам, не использовав средств более мирных, советники решили немедленно сделать сенату письменное представление, если жрецы Латоны согласны поддержать нас.

— Весьма охотно, — отвечал Стильбон. — Я сам напишу представление, я им докажу...

— Пока, — прервал его номофилакс, — хватит и краткой докладной записки, которую я уже *sub spe rati et grati* * сочинил. Столь ученое перо, как ваше, мы побережем на крайний случай.

Хотя, казалось, верховный жрец и был убежден этим доводом, однако в эту ночь он принялся еще за один небольшой трактат, в котором собирался представить свою теорию в новом свете и обосновать ее более тонко, чем в своей книге о древностях храма Латоны, предупредив тем самым возможные возражения философа Коракса.

«Заранее предусмотренные удары — не опасны, — говорил он себе. — Я изложу все дело так ясно и отчетливо, что даже самые глупые будут убеждены. Да ведь если истина потеряет свою власть над разумом именно в этом деле, то рухнет весь привычный порядок мира!».

* В надежде на одобрение и благодарность (лат.).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Отрывки из заключения Академии. Несколько слов о целях Коракса в связи с этим и об апологии, в которой Стильбон и Коракс имели возможность принять равное участие

Пока волновалось меньшинство сената и жречество храма Латоны, Академия получила предписание представить сенату в течение недели свое заключение о том, «какими целесообразными средствами, не затрагивая прав храма Латоны, скорейшим образом воспрепятствовать чрезмерному размножению лягушек».

Академия не замедлила собраться на следующее утро. Поскольку антилягушатники составляли ее большинство, то изложить мнение было поручено философу Кораксу, однако со строгим наказом президента: самым тщательным образом избегать опасности втянуть Академию в распри с храмом Латоны.

Коракс обещал, что употребит всю свою мудрость, дабы высказать правду по возможности в мирной и подобающей форме.

— Ибо совершать *невозможное*, как вам известно, высокоуважаемые господа, никто и ни в каком случае не обязан¹.

— В этом вы правы, — отвечал президент. — Я хотел только сказать, что вы по возможности были осторожны. Ибо от истины Академия, разумеется, не должна отступаться... насколько это возможно.

— Я тоже всегда это говорю, — подтвердил Коракс.

«В каком странном положении оказывается человек, имеющий несчастье быть абдеритом, — подумал Коракс, приступая к заключению Академии о лягушках. — В каком другом городе вздумали бы предложить Академии подобный вопрос?.. И, однако, к чести сената, он все-таки проявил столько мужества и разума, запросив Академию. На свете есть города, где к разрешению подобных вопросов Академию не привлекают. Право, абдериты из чистой глупости приходят порой к хорошим идеям!»

Коракс сел за письменный стол и трудился с такой охотой и рвением, что еще до заката солнца заключение было готово.

Поскольку мы дали нашему благосклонному читателю пусть не подробные, но все же достаточные сведения о теории верховного жреца Стильбона, то беспристрастность — первая обязанность историка — требует, чтобы мы ему сообщили также и о содержании академического мнения по крайней мере столько, сколько требуется, чтобы понять эту достопримечательную историю.

«Высокий сенат в своем уважаемом решении, направленном Академии, — говорил вначале Коракс, — полагает, что количество лягушек ныне в Абдере намного превышает количество населения и это освобождает Академию от неприятной обязанности доказывать то, что является для всякого очевидным фактом.

При таком положении дел Академия должна лишь высказаться о средствах, способных быстрее образом предотвратить бедствие.

Но так как лягушки в Абдере в силу древнего, почтенного установления и религии наших предков пользуются преимуществами, нарушать которые многим кажется опасным и даже непозволительным; и так как по сути самого дела может случиться, что при теперешнем общественном бедствии единственные полезные средства, предложенные Академией, могли бы показаться средствами, наносящими ущерб правам абдерских лягушек, то прежде всего целесообразно и даже необходимо осветить этот предмет с историко-прагматической точки зрения: в чем же состоит особенность вышеупомянутых нами лягушек.

Итак, Академия просит всех высокоуважаемых членов высокого сената проявить благосклонное внимание к теоретической части ее заключения особенно потому, что счастливый исход этого столь важного дела полностью зависит от уточнения предварительного вопроса: должно ли считать абдерских лягушек за натуральных лягушек и в какой степени?»

Уточнение это занимало более двух третей сочинения Коракса. Хитрый философ, помня, что он обещал предусмотрительному президенту, коснулся превращения милійских поселян лишь мимоходом и со всем почтением, которое надлежало оказывать древнему народному преданию. Ссылаясь на книгу Стильбона, он назвал это фактом, не подлежащим никакому сомнению, подобно превращениям Нарцисса в цветок, Кикна — в лебедя, Дафны — в лавровое дерево² или же какой-нибудь иной метаморфозе, имеющей столь же прочное основание. «И если бы считалось позволительным и благопристойным отвергать подобные древние предания, то их сочли бы явно непонятными. Поскольку, с одной стороны, не представляется возможным опровергнуть их историческими свидетельствами, а, с другой, ни один естествоиспытатель не в состоянии доказать их абсолютную невероятность, то любой разумный человек предпочтет скорей воздерживаться от сомнений, не будучи в состоянии ничего возразить против них, кроме банальных фраз: «Это невероятно, это противоречит законам природы» и аналогичных выражений, которые могли бы прийти в голову при беглом взгляде на вещи и самому глупому человеку».

Итак, он, Коракс, считает превращение милійских поселян в лягушек явлением, имеющим основание в самом себе, но при этом утверждает, что его достоверность совершенно не важна для того, чтобы решить данный вопрос. «Ведь никто, пожалуй, не станет отрицать, что эти милійские человеколягушки уже по крайней мере две тысячи лет как перемерли и более не существуют. Однако если даже допустить, что абдерские лягушки могли бы достаточно убедительно доказать свое происхождение от них, то это было бы только доказательством, что с незапамятных времен, из поколения в поколение они являлись просто-напросто лягушками. Ибо с момента их олягушатения³, перестав быть людьми, они в тот же миг приобрели признаки подобных себе животных, то есть натуральных лягушек. Одним словом, лягушки есть лягушки, и то обстоятельство, что их прародители были до превращения милійскими поселянами, столь же мало меняет в их теперешней лягушачьей при-

роде, как и в происхождении потомственного нищего, насчитывающего тридцать два предка — его нельзя считать за принца, если даже доказано, что первый нищий в его родословном древе происходит по прямой линии от Нина и Семирамиды⁴. Сторонники противоположного мнения, кажется, и сами это хорошо понимали и, стремясь обосновать мнимую высшую природу абдерских лягушек, вынуждены были прибегнуть к гипотезе, одно изложение которой уже освобождает нас от труда опровергать ее».

Проницательный читатель (а такая книга, само собой разумеется, не может иметь никакого иного читателя) и без нас заметит, что Коракс, намекая на теорию верховного жреца Стильбона о зародышах, должен был или опровергнуть, или осмеять ее, прежде чем осмелился бы заикнуться насчет уменьшения числа лягушек.

И так как из этих двух путей последний был самым удобным и наиболее доступным для тех премудрых и благородных умов, с которыми он вынужден был иметь дело, то Коракс решил довести до абсурда всю нелепость этой гипотезы, прибегнув к комическому вычислению бесконечно малой величины пресловутых зародышей.

«Дабы не утомлять без нужды внимание высокого сената арифметически тонкостями, — говорил он, — предположим, что сын самого большого и самого толстого из превратившихся в лягушек поселян, будучи зародышем, относился к своему отцу как единица к ста миллионам. Мы берем такое отношение исключительно ради круглого счета, хотя без труда можно было бы доказать, что самый крупный гомункул⁵ в зародыше, по крайней мере, еще в десять раз меньше предполагаемого. Итак, по мнению жреца Стильбона, в этом зародыше заключается в такой же соответствующей пропорции уменьшенный зародыш внука, в зародыше внука — зародыш правнука, и так в каждом потомке до десяти тысячного колена — зародыш наследника в сотню миллионов меньший. И, следовательно, зародыш ныне живущей абдерской лягушки, если даже допустить, что его отделяют от своего прародителя только сорок поколений, должен был бы быть, находясь в своем прародителе, в несколько миллионов биллионов и триллионов меньше, чем сырный червячок. И самому искусному писарю в канцелярии высокого сената не хватило бы и жизни, чтобы выразить это число со всеми нолями, а всей территории славной республики (тех ее мест, которые пока не превращены в лягушачьи рвы) не хватило бы для того, чтобы расстелить на ней всю бумагу или пергамент, дабы написать это невероятное число. Академия предоставляет сенату решить, возможно ли на основании ничтожнейшего из всех мельчайших живых существ составить себе представление о такой неизмеримо малой величине? И можно ли сомневаться, что с достопочтенным верховным жрецом случилось нечто весьма человеческое: создав гипотезу о зародышах, он дал хотя и не поверхностное, однако весьма смутное и непонятное обоснование мнимой святости абдерских лягушек.

Академия не стремится без нужды утомлять соображение сиятельных отцов отечества. Но если подумать, как коротка жизнь лягушки, и представить себе, что нынешние наши лягушки происходят, по крайней мере в пятидесятом колене, от милійских поселян, то гипотеза достопочтенного верховного

жреца теряется в такой бездне ничтожно малых величин, что было бы величайшей нелепостью попусту терять слова для их определения.

Как гласит знаменитая надпись в Саисе: «Природа есть все то, что существует, что было и что будет, и ее завесы еще не приоткрывал никто из смертных»⁶. Академия, убежденная в этой истине более, чем кто-либо другой, весьма далека от того, чтобы дерзать проникнуть в тайны природы, которые должны оставаться непостижимыми. Она полагает, что стремиться узнать о происхождении живых существ больше, чем позволяют при пристальном внимании наши чувства — напрасное дело. И если она даже считает позволительным следовать врожденному стремлению человеческого разума, — объяснять для себя все путем гипотез, — то самой естественной из них она считает теорию, согласно которой зародыши органических тел образуются благодаря тайным силам природы лишь тогда, когда она в них действительно нуждается. В соответствии с этим объяснением зародыш любого существа, квакающего ныне во всех болотах и лягушачьих рвах Абдеры, не древнее момента его рождения. С лягушкой, квакавшей во времена Троянской войны, от которой ныне живущая происходит по прямой линии, эта последняя не имеет ничего общего, кроме того, что природа создала их по форме одинаковыми и для одной и той же цели.

Обширно подкрепив это мнение, философ Коракс делал, наконец, вывод: абдерские лягушки являлись точно такими же натуральными, обыкновенными лягушками, как и все прочие лягушки на свете. Странные преимущества, которыми они пользовались в Абдере, были основаны вовсе не на каком-то достоинстве их природы и их мнимом родстве с природой человеческой, а просто на народном суевении, слишком долго остававшемся, к великому ущербу для общего блага, окутанным мраком; пользуясь им, воображение одних и своекорыстие других имели полную возможность причинить с помощью этих лягушек столько бедствий, что вряд ли где-нибудь на свете, кроме Египта, можно встретить нечто подобное⁷.

«Древности Абдеры, — продолжал он, — несмотря на весь свет, щедро пролитый на них, как и на древности всех прочих городов на свете, достопочтенным и ученым Стилбоном, все еще окутаны непроницаемым туманом, оставляющим мало надежды любознательному исследователю удовлетворить свою жажду истины. Но к чему нам знать больше, чем мы действительно знаем? И что нам за дело до происхождения храма Латоны и священного лягушачьего пруда? Разве, если бы мы все это узнали, Латона не осталась бы богиней, ее храм — храмом, а ее лягушачий пруд — лягушачьим прудом?»

«...Латону следует почитать в ее древнем храме, ее древний лягушачий пруд следует содержать с подобающим благоговением. То и другое — учреждения наших давних предков, пользующихся почтением уже благодаря одной своей древности. Они утверждены обычаями многих столетий, поддерживаются постоянной, всеобщей верой нашего народа, передающейся из поколения в поколение, освящены и нерушимы благодаря законам нашей республики, вверившей попечение и защиту оных учреждений самой уважаемой коллегии в государстве. Но если Латона или Юпитер превратили мильйских поселян в лягушек, то разве отсюда следует, что все лягушки Латоны священ-

ны и должны наравне со жрецами пользоваться правом неприкосновенности? И если нашим славным предкам заблагорассудилось для вечной памяти о чуде содержать в округе храма небольшой лягушачий ров, то разве отсюда следует, что вся Абдера должна быть превращена в большую лягушачью лужу?

Академия умеет уважать верования и чувства народа. Но к предрассудкам, в которые они грозят постоянно выродиться, можно относиться снисходительно до тех пор, пока они не слишком опасны. Лягушек можно почитать; но жертвовать ради лягушек людьми — несправедливо. Цель, ради которой наши предки абдериты заложили священный лягушачий пруд, конечно, могла бы быть достигнута и посредством одной лягушки. Пусть он даже весь кишит ими! Если бы только дело ограничилось одним-единственным прудом! От этого Абдера не стала бы менее цветущей, менее могущественной или менее счастливой. И лишь странное слепое заблуждение, будто лягушек и лягушачьих прудов должно быть как можно больше, довело нас до такого состояния, что у нас действительно нет никакого выбора: или же немедленно избавиться от этих обременительных и чересчур плодовитых сограждан, или всем вместе, обнажив головы и босыми, отправиться в храм Латоны и на коленях умолять богиню до тех пор, пока она не повторит вновь свое чудо и не превратит всех нас в лягушек.

Академия весьма усомнилась бы мудрость отцов отечества, если бы она хотя бы на мгновение усомнилась в том, что за единственное средство, которое она вынуждена и в состоянии предложить в столь отчаянном положении, не схватятся все обеими руками. Средство это отвечает требованиям высокого сената. Оно в наших руках, является целесообразным и окажет незамедлительное действие. Оно не только не связано ни с какими расходами, но даже, напротив, принесет значительную экономию. При некоторых условиях ни Латона, ни ее жрецы не смогут найти в нем чего-либо достойного порицания».

Пусть теперь благосклонный читатель догадается, что это за средство! Чтобы долго не мучить его догадками, скажем, что это простейшее средство на свете. С давних времен и доныне его употребляют в Европе, ни у кого во всем христианском мире оно не вызывает ни малейших сомнений, и тем не менее у половины советников встали волосы дыбом, едва только было зачитано соответствующее место из доклада. Короче, чтобы спокойным образом избавиться от лягушек, Академия предложила их... есть.

Сочинитель мнения Академии божился, что во время своих путешествий он видел, как в Афинах, Мегаре, Коринфе, Аркадии и во многих других местах люди употребляли в пищу лапки лягушек, и сам их ел. Он уверял, что это весьма здоровая, питательная пища и что ее желательно подавать к столу запеченной, в виде фрикасе или небольших паштетов. Он высчитал, что таким образом огромное множество лягушек в короткое время может быть сведено к весьма скромному количеству, а для низших и средних слоев общества новый пищевой продукт при теперешних трудных временах явится немалым подспорьем. И хотя прибыль от него по естественной причине день ото дня должна будет уменьшаться, но тем эффективней могли бы быть восполнены

потери, ибо несколько тысяч лягушачьих прудов и рвов постепенно высохнут и вновь станут пригодными для земледелия, что возвратит, по крайней мере, четвертую часть принадлежащей Абдере земли и пойдет на пользу ее обитателям. Академия, прибавлял он, изучила дело со всех возможных точек зрения и не представляет, какие, хотя бы малейшие, возражения оно могло бы вызвать со стороны Латоны и ее жрецов. Ибо что касается самой богини, то она несомненно сочтет себя глубоко оскорбленной уже одним только подзрением, будто лягушки дороже ей, чем люди. А от жрецов следует ожидать, что, являясь отличными гражданами и патриотами, они не будут противиться предложению, благодаря которому то, что являлось до сих пор величайшим злом и бедствием для Абдеры, при благоразумной перемене обратится к величайшей пользе. Но так как справедливость требует не ущемлять прав жрецов в угоду общественному благу, то Академия полагает необходимым не только гарантировать им вновь неприкосновенность древнего лягушачьего пруда у храма Латоны, но и издать постановление, чтобы с момента, когда задние лапки абдерских лягушек объявят дозволенной пищей, с каждой сотни их отчислялась пошлина в один-два обола⁸ в пользу храма Латоны. Подать эта, по весьма умеренному подсчету, составит за короткое время сумму в тридцать-сорок тысяч драхм, и, следовательно, она возместила бы с избытком утрату прочих небольших доходов храма Латоны, вызванных настоящим нововведением.

Свое мнение философ заканчивал следующими достопримечательными словами: «Академия полагает, что, внося это столь же естественное, сколь и общепользное предложение, она выполняет свой долг. В успехе она уверена и озабочена им не больше любого абдерского гражданина. Будучи убеждена, что только отъявленные *батрахогосебисты*⁹ способны воспротивиться столь необходимой реформе, она выражает надежду, что славные отцы отечества не допустят, чтобы смешная эта секта одержала победу и в глазах всех греков и варваров запятнала бы славу абдерского имени позором, которого вовеки не смыть».

Трудно судить о намерениях человека по его поступкам и жестоко подозревать в нем плохие намерения, потому что один и тот же поступок может легко проистекать и из хороших и из дурных побуждений. Но считать каждого плохим человеком только потому, что его образ мыслей не совпадает с нашим — несправедливо и неразумно. Хотя мы и не можем с достоверностью сказать, насколько чисты были намерения философа Коракса, когда он сочинял мнение, однако мы склонны полагать, что жрец Стильбон слишком далеко зашел в своей страсти, объявив Коракса из-за этого мнения явным врагом богов и людей и обвинив его в совершенно очевидном стремлении ниспровергнуть всякую религию. Как бы ни был в этом убежден Стильбон, однако при значительных и неизбежных различиях в образе мысли людей, весьма возможно, что Коракс столь же искренно был уверен в своем мнении, считая в глубине души абдерских лягушек самыми обыкновенными лягушками и действительно желая своим предложением оказать важную услугу отечеству. Впрочем, автор сей истории вполне довольствуется тем, что повсеместно принятые в Европе принципы мало благоприятны для лягушек и что нам, ныне

живущим, высказывать совершенно беспристрастное мнение о данном предмете — дело в высшей степени щекотливое.

Что касается моральности намерений философа Корака, то, во всяком случае, известно, что и он не был лишен страстей, как и верховный жрец. Ревностно умножая число своих сторонников, он возбудил подозрение в тщеславном намерении стать главой партии, одержать победу над Стильбоном, и гордая мысль сыграть однажды важную роль в истории Абдеры, по меньшей мере, столько же способствовала его энергичной деятельности против лягушек, как и его добродетель. Но чтобы все это он совершал из чисто гастрономических соображений, это, мы полагаем, клевета слабоумных и пристрастных людей, которых всегда достаточно, особенно в малых республиках.

Коракс предпринял такие меры, что его мнение на втором заседании Академии было одобрено единогласно. Ибо президент и три или четыре почетных ее члена, не желая открыто высказаться на сей счет, за день до этого уехали в деревню.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Заключение зачитывается в совете, и после ожесточенных дебатов принимается единодушное решение сообщить его жрецам Латоны

Заключение Академии было вручено архонту в назначенное время, и на следующем заседании сената его зачитал громким голосом с необычайно точным соблюдением запятых и прочих знаков препинания заклятый антилягушатник, городской писарь Пиропс.

Между тем меньшинство сената усиленно старалось склонить архонта, чтобы он отложил исполнение решения и на чрезвычайном заседании совета предоставил большинству возможность еще раз решить, нельзя ли каким-нибудь образом, минуя Академию, передать дело в Коллегию десяти. Онокрадий обещал подумать над этим предложением, но, несмотря на настойчивые требования противной партии, медлил с ответом, так как был уверен, что к очередному заседанию заключение будет уже готово.

Номофилакс Гипсидой и его сторонники весьма обиделись, когда по окончании делового дня архонт извлек из-под своей мантии большую тетрадь и сообщил сенату, что это и есть заключение по поводу общеизвестного и досадного дела о лягушках, которое, согласно последнему решению совета, было поручено составить Академии. Все разом стремительно вскочили с мест, принялись обвинять архонта в коварстве и заявили, что никогда не допустят, чтобы мнение было оглашено.

Онокрадий, обладавший, кроме прочих небольших и естественных недостатков характера, еще и тем, что постоянно горячился в делах, где должен

был оставаться хладнокровным, а хладнокровие проявлял там, где требовалась горячность, собирався было уже вспылить, но советник Мейдий упросил его сохранять спокойствие и дать господам накричаться вволю.

— Когда они все выложат,— прошептал он ему,— им уже не о чем будет говорить, и они сами замолкнут.

Действительно, так и случилось. Господа советники шумели, петушились, ожесточенно размахивали руками, пока не устали. А когда они, наконец, заметили, что их никто не слушает, они уселись, ворча, на свои места, отирая пот со лбов и... мнение было зачитано.

Нам уже известна способность абдеритов переходить в мгновение ока от трагического настроения к комическому, и при малейшем поводе для смеха они совершенно упускали из виду серьезную сторону дела. Едва только зачитали третью часть текста, как уже начало проявляться веселое расположение духа даже у тех, кто незадолго до этого громко восставал против мнения.

— Вот это доказательства! — сказал один из советников своему соседу, когда Пиропс остановился, чтобы взять, по тогдашнему обыкновению, понюшку чемерицы.

— Следует признать, написано мастерски! — согласился второй.

— Хотелось бы услышать,— начал третий,— что можно возразить против того, что эти лягушки, в конце концов, обыкновенные лягушки.

— Я и сам уже давно кое-что подобное приметил,— сказал четвертый с хитрым выражением лица.— Но все-таки приятно видеть, что ученые люди сходятся с нами во мнениях.

— Давайте дальше, господин городской писарь,— сказал Мейдий,— лучшее — еще впереди.

Пиропс продолжал читать. Советники хохотали, держась за животы, над вычислением ничтожных размеров стильбоновых зародышей, но, столкнувшись с печальной альтернативой, вдруг вновь все стали серьезными: они представили себе то горестное состояние, когда они *in cogroge* *, с правящим архонтом во главе, должны были бы отправиться к храму Латоны и еще считать за особую милость, если будут превращены в лягушек. Вытянув свои толстые шеи, они тяжело вздыхали при одной мысли о том, что с ними будет при подобной катастрофе, и всем сердцем готовы были одобрить любое средство, которое смогло бы предотвратить несчастье.

Но когда секрет обнаружился, когда они услышали, что Академия не может предложить никакого иного средства, кроме того, чтобы есть лягушек, тех самых лягушек, от которых за минуту до этого они желали избавиться любой ценой,— кто бы мог описать смесь изумления, возмущения и досады от несбывшихся надежд, вдруг отразившуюся на искаженных лицах старых советников, составлявших почти половину сената? Они выглядели так, словно от них потребовали начинить пирожки мясом собственных детей. И вдруг, моментально охваченные непостижимой силой предрассудков, они вскочили, возмущаясь, со своих мест и заявили, что ничего более не хотят слышать и никогда не ожидали подобного безбожия от Академии.

* В полном составе (лат.).

— Разве вы не поняли, что нам предлагается употреблять в пищу обыкновенных лягушек? — воскликнул советник Мейдий. — Ведь едим же мы павлинов, голубей и гусей, несмотря на то, что первые являются священными птицами Юноны и Венеры, а последние — Приапа? Разве от того, что Юпитер превратился в быка, а царевну Ио обратил в корову¹, говядина идет нам во вред? И много ли мы раздумываем, употребляя в пищу различные породы рыб, хотя все они находятся под покровительством водных божеств?

— Но ведь речь идет не о гусях и не о рыбах, а о лягушках! — орали старые советники и цеховые старшины. — Это совсем другое дело! Боги справедливые! Поедать лягушек Латоны?! И как только здравомыслящему человеку может прийти такое в голову?

— Опомнитесь, господа! — громко зывал к ним советник Стентор.

— Неужели вы хотите прослыть такими батрахосебистами?

— Лучше быть батрахосебистами, чем батрахофагами²! — воскликнул номофилакс, не желавший упустить счастливый момент сделать главой партии, на плечах которой он взобрался бы в кресло архонта.

— Всем, чем угодно, но только не батрахофагами! — кричали советники из меньшинства и несколько седобородых цеховых мастеров, примкнувших к ним.

— Господа мои, — начал архонт Онокрадий, поспешно вскочив со своего кресла из слоновой кости: лягушатники принялись так сильно вопить, что он опасался оглохнуть. — Предложение Академии это еще не решение совета. Садитесь, выслушайте меня, если вы еще владеете собой. Я не думаю, чтобы кто-нибудь здесь мог вообразить, будто я очень спешу есть лягушек. И, пожалуй, я еще позабочусь, чтобы они меня не сожрали. Однако Академия, состоящая из учнейших людей Абдеры, должна же знать, что она предлагает...

(— Не всегда, — пробормотал Мейдий сквозь зубы).

— И поскольку общественное благо — превыше всего и несправедливо жертвовать лягушками ради людей, то есть людьми ради лягушек, как хорошо доказала это Академия, то я полагаю без дальних околичностей сообщить заключение достопочтенным жрецам храма Латоны. Если у вас есть иное предложение, лучшее, то я первым поддержу его. Ибо лично я ничего не имею против лягушек, если они только не причиняют вреда.

Так как предложение архонта было именно таким, которое могло оказаться приемлемым для обеих партий, то решение уведомить жрецов о заключении было принято единогласно, но тем не менее спокойствие в сенате все же восстановлено не было. И с этого момента бедный город Абдера вновь разделился на «ослов» и «теней», на две партии, но под другими названиями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Верховный жрец Стилбон пишет очень толстую книгу против Академии. Ее никто не читает, а в остальном все остается пока по-старому

Все предполагали, что верховный жрец будет метать громы и молнии против академического мнения, и немало удивились, когда он, по видимости, продолжал оставаться настолько спокойным, словно дело его вовсе не касалось.

— Что за жалкие умишки! — сказал он, пробегая глазами мнение, и покачал головой. — А ведь, кажется, они читали мою книгу о древностях, где все так ясно изложено. Просто непостижимо, насколько люди, обладая здравыми чувствами, могут быть глупы. Но я открою им глаза на истину, и пусть все академии мира попробуют ее опровергнуть, если только смогут!

И Стилбон, верховный жрец, принялся за труд и сочинил книгу в три раза толще той, которую не хотел прочесть архонт. В ней он доказывал, что автор мнения лишен рассудка, что он невежда и даже не знает, что в природе не существует ни великого, ни малого, что материя может делиться до бесконечности и поэтому бесконечно малая величина зародышей несколько не доказывает их невозможности, даже если их предположить и еще более бесконечно меньшими, чем представил это Коракс в своем карикатурном вычислении. Он подкрепил основания своей теории об абдерских лягушках новыми доводами и ответил с большой точностью и подробностями на все возражения, какие он только мог сам выдвинуть против нее. Во время сочинения его воображение и желчь незаметным образом так расходились, что он позволил себе весьма оскорбительные выпады против своих противников, обвинив их в преднамеренной и закоренелой ненависти к истине и довольно прозрачно намекая, что подобных людей нельзя терпеть в цивилизованном государстве.

Сенат Абдеры испугался, когда по прошествии нескольких месяцев (ибо раньше Стилбон не мог закончить свою книгу, хотя и трудился над ней дено и ношно) архонт представил совету опровержение жреца столь объемистое, что ради забавы он велел втащить его на носилках двум самым дюжим абдерским носильщикам и положить книгу на большой стол в ратуше. Господа советники сочли невозможным прочесть такое громадное сочинение. Большинство голосов было решено отослать его прямо к философу Кораксу с поручением доставить ответ в письменной форме и по возможности быстрее правящему архонту, если он найдет нужным что-либо возразить против книги.

Коракс как раз стоял в передней своего дома, окруженный толпой любопытствующих абдерских юношей, когда к нему прибыли носильщики со своим ученым грузом. Услышав от сенатского гонца о причине их прихода, присутствовавшая при сем компания разразилась таким громким хохотом, что его можно было слышать за три или четыре улицы вплоть до ратуши.

— Ну и хитер же жрец Стильбон! — сказал Коракас. — Он изобрел самое верное средство не быть опровергнутым. Но он обманется в своих ожиданиях. Мы ему покажем, что книгу можно опровергнуть и не читая ее.

— Куда же нам ее выгрузить? — спросили носильщики, простоявшие с ношей порядочное время и ничего не понимая в забавных шутках ученых господ.

— В моем небольшом доме не найдется места для такой огромной книги, — сказал Коракас.

— Знаете что, — вмешался один из молодых философов, — поскольку книга все-таки написана для того, чтобы ее не читали, то подарите ее библиотеке ратуши. Там она надежно сохранится и, покрытая толстым слоем пыли, никем не читанная и неповрежденная, благополучно дойдет до потомства.

— Прекрасная идея! — сказал Коракас. — Друзья мои, — продолжал он, обращаясь к носильщикам, — вот вам две драхмы за ваши труды. Несите груз в библиотеку ратуши и ни о чем больше не беспокойтесь. Я беру все на свою ответственность.

Стильбон, которому скоро стала известна судьба его книги, стоившей столько времени и усилий, не знал, что делать и думать от изумления и ярости.

— Великая Латона! — восклицал он. — В какие времена мы живем! Что делать с людьми, которые ничего не хотят слушать? Ну хорошо, пусть так и будет! Я свое сделал. Если они не желают внимать, пусть все остается по-прежнему! Я не притронуся к перу, пальцем не пошевелю для такого неблагодарного, неотесанного и неразумного народа.

Так думал Стильбон в припадке гнева, но добрый жрец обманывал сам себя своим кажущимся равнодушием. Его самолюбие было слишком уязвлено, чтобы он оставался спокойным. Чем больше он раздумывал над этим (а он ни о чем другом и не мог думать всю ночь напролет), тем сильнее убеждался в том, что ему непростительно сидеть сложа руки, когда все вокруг громкогласно взывает к борьбе за правое дело. Номофилакс и другие противники архонта Онокрадия не преминули своими подстрекательствами распалить его рвение. Почти ежедневно собирались они для совещаний, чтобы обсудить меры, способные остановить неуправляемый поток беспорядков и безбожия, как выражался Стильбон.

Но времена действительно сильно изменились. Стильбон был не Стробил. Народу он был мало знаком и не обладал ни одним из тех дарований, благодаря которым его предшественник, несравненно менее ученый, играл такую важную роль в Абдере. Почти вся молодежь обоего пола заразилась принципами Коракаса. Большая часть советников и видных горожан склонялась без особых оснований на ту сторону, где имелась возможность больше посмеяться. И даже на простонародье уличные песни, которыми наводнили весь город стихоплеты из окружения Коракаса, оказали столь благотворное воздействие, что теперь уже не было надежды возбудить это простонародье так легко, как прежде. Но хуже всего было то, что имелись причины предполагать тайные связи некоторых жрецов с антилягушатниками. И действительно, жреца Памфага неспроста подозревали в том, что он лелеет мысль использовать нынеш-

ние обстоятельства и вытеснить Стильбона, лишив его должности, для которой тот, как намекал Памфаг, из-за своей полной неопытности в делах, совершенно не пригоден в столь критическое время.

Однако при всем том батрахосебисты представляли влиятельную партию, и Гипсидой обладал достаточным опытом, чтобы постоянно поддерживать ее энергичную деятельность, которая не раз могла бы иметь опасные последствия, если бы противная партия, удовлетворенная победами и не склонная подвергать риску свое преимущество, не была бы столь пассивной и не избегала бы всего того, что могло бы дать повод к нежелательным волнениям. Ибо хотя они, по-видимому, и не отказывались от имени батрахофагов, и лягушки Латоны являлись обычным предметом шуток в их среде, но, по истинному абдеритскому обычаю, они этим и удовлетворялись. И, несмотря на мнение Академии и шутки философа Коракса, лягушек в пищу не употребляли, и те все еще продолжали безмятежно существовать, являясь неотъемлемой собственностью города и земли абдерской.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Необычайная развязка всего этого трагикомического фарса

По всей вероятности, лягушки Латоны еще долго наслаждались бы своей безопасностью, если бы внезапно следующим летом поля несчастной республики не наводнили огромные полчища мышей и крыс всех оттенков и тем самым не сбылось неожиданном образом случайное и безобидное предсказание архонта Онокрадия.

Быть съеденными заодно и лягушками и мышами — это показалось уже слишком даже для бедных абдеритов. Дело принимало серьезный оборот.

Антилягушатники настаивали на необходимости немедленно осуществить предложение Академии.

Лягушатники вопили: желтые, зеленые, синие, красные и пестрые в крапинку мыши¹, ужасно опустошившие за короткое время абдерские поля, это явное наказание за безбожие батрахофагов, исходящее несомненно от самой Латоны, которая решила совершенно погубить город, ставший недостойным ее покровительства.

Напрасно доказывала Академия, что это несколько не делает желтых, зеленых и пестрых мышей отличными от прочих мышей, что нашествие — вполне естественное явление, и в летописях всех народов встречаются подобные случаи, и что теперь, поскольку, кажется, мыши грозили лишить абдеритов всякой пищи, тем более необходимо вознаградить себя за убыток, причиненный двумя общими врагами республики, по крайней мере, за счет съедобной их половины, то есть за счет лягушек.

Напрасно жред Памфаг добивался, чтобы лягушек использовать впредь в качестве жертвенных животных, принося в жертву богине их головы и внутренности, а лягушачьи лапки вкушать в честь нее как жертвенное мясо.

Народ, потрясенный всеобщим бедствием, представлявшимся ему наказанием разгневанных богов, и подстрекаемый жокаками лягушачьей партии, устремился толпами к ратуше и угрожал, что переломает все кости советникам, если они тотчас же не найдут средства спасти город от погибели.

Никогда еще в абдерской ратуше не ценился столь высоко добрый совет, как теперь. Советники исходили холодным потом от страха, ударяли себя по лбу, но головы их были пусты. Сколько они ни раздумывали, они никак не могли решить, что же делать. Народ продолжал настаивать на своем и клялся, что свернет шеи сторонникам и противникам лягушек, если они не найдут средства.

Наконец, архонт Онокрадий, словно осененный, вскочил со своего кресла.

— Следуйте за мной! — приказал он советникам и поспешно направился к мраморной трибуне для произнесения речей к народу.

Его глаза светились необыкновенным блеском. Он казался на голову выше, чем обычно, а вся его фигура — какой-то более величественной, чем это когда-либо было свойственно абдериту. Советники устремились за ним, полные ожидания.

— Выслушайте меня, мужи абдерские! — начал Онокрадий чужим для него голосом. — Ясон, мой великий предок, спустился из обители богов и сейчас открыл мне средство нашего общего спасения. Отправляйтесь домой, соберите все свои пожитки, а завтра утром с восходом солнца являйтесь к храму Ясона с женами и детьми, лошадьми и ослами, быками и овцами, словом, со всем своим достоянием. Оттуда, с развевающимся впереди золотым руном, отправимся мы прочь из города, удалимся из этих проклятых богами стен и сыщем себе в обширных долинах плодородной Македонии другое место жительства, пока не уляжется гнев богов и нам, и нашим детям не будет дозволено при счастливых предзнаменованиях вновь возвратиться в прекрасную Абдеру. Пагубные же мыши, не находя более пищи, сожрут сами себя, а что касается лягушек — то, да будет к ним милостива Латона! Идите же, дети мои, собирайтесь! Завтра с восходом солнца кончатся все наши мучения!

Весь народ выразил радостное одобрение вдохновенному архонту и, казалось, в один миг их вновь охватило единодушие. Моментально разгорелась их легко воспламенявшаяся фантазия. Новые виды, новые картины счастья и радости мелькали в их воображении. Просторные долины счастливой Македонии простирались перед их глазами, словно плодородный рай. Они уже дышали приятным воздухом и с невыразимым нетерпением стремились скорей выбраться из мрачного края болот и лягушек, из своего отвратительного родного города. Все поспешили приготовиться к походу, о котором за несколько минут до этого никто и не мечтал.

На следующее утро весь народ Абдеры был готов отправиться в путь. Все, что они не смогли захватить с собой из пожитков, они оставляли дома без всякого сожаления, настолько жаждали они скорей оказаться на новом месте, где их не будут больше мучить лягушки и мыши.

На четвертый день странствий им повстречался царь Кассандр². Их шумное шествие слышно было издалека, а пыль, поднятая абдеритами, затмевала дневной свет. Кассандр приказал своим людям остановиться и послал одного из них выяснить, в чем дело.

— Всемиловитейший государь, — сообщил, возвратясь, посланный, — это абдериты, которые не смогли более находиться в Абдере из-за лягушек и мышей, они ищут новое место поселения.

— Если это так, то это, безусловно, абдериты, — сказал Кассандр.

Между тем показался Онокрадий во главе целой депутации из советников и горожан, чтобы изложить свою просьбу царю.

Дело это показалось Кассандру и его придворным настолько смешным, что при всей их учтивости они не смогли удержаться от громкого смеха прямо при абдеритах. А последние, видя, что весь двор заливается хохотом, сочли своей обязанностью тоже смеяться вместе с ними. Кассандр пообещал им свое покровительство и отвел абдеритам место у границ Македонии, где они могли находиться до тех пор, пока не отыщут средств для справедливой полюбовной сделки с лягушками и мышами.

С этого времени почти ничего более неизвестно об абдеритах и их судьбе. Достоверно только то, что спустя несколько лет после странного переселения (факт которого подтверждается отрывком из сочинения историка Трога Помпея, кн. 15, гл. 2, приведенным у Юстина³), они вновь вернулись в Абдере. Вероятно, всех воображаемых крыс, бывших в их головах⁴, и беспокоивших их больше, чем все крысы и лягушки их города, они оставили в Македонии.

Ибо с этого времени история ничего не сообщает об абдеритах, кроме того, что многие века они спокойно жили под защитой македонских царей и римлян, и поскольку они были ни умней и ни глупей, чем жители прочих городских общин, то у историков не было повода ни бранить, ни хвалить их.

Впрочем, чтобы дать благосклонному читателю образец нашей объективности, мы не скроем от него, что Абдера — не единственный в мире город, население которого было изгнано такими же ничтожными врагами, как лягушки и мыши, если верить Плинию Старшему и Варрону⁵, на которого он ссылался. Ибо Варрон не только упоминает город в Испании, разоренный кроликами, и другой, погубленный кротами, но также и еще один город в Галлии, жители которого покинули его из-за лягушек. Но так как Плиний не только не называет города, претерпевшего такое несчастье, и не сообщает, в каком именно из бесчисленных трудов ученого Варрона он почерпнул эту историю, то мы думаем, что не слишком оскорбим авторитет этого великого мужа, которым он заслуженно пользуется, если предположим, что его память (на которую он чересчур полагается) смешала Фракию с Галлией и, следовательно, город у Варрона может быть только Абдерой.

И сим да будет завершен памятник, который мы воздвигли этой некогда столь знаменитой, а теперь уже много столетий забытой республике. Несомненно, нас побуждал к этому ее гений-покровитель, пекущийся о славе Абдеры. И мы надеемся, что памятник сей, несмотря на то, что он сооружен из таких легких материалов, как удивительные причуды и забавные глупости аб-

деритов, просуществует до тех пор, пока наша нация не достигнет того счастливого времени, когда история эта никого не будет интересовать, никого не будет занимать, ни у кого не будет вызывать досады и никому более не нанесет ущерба. Одним словом, когда никто уже больше не будет походить на абдеритов и поэтому их приключения станут столь же непонятными, как нам история какой-нибудь иной планеты. Это время уже скоро наступит, если только дети первого поколения девятнадцатого века будут настолько же мудрыми, насколько считали себя таковыми дети последней четверти восемнадцатого века по сравнению с мужами века предыдущего, или же когда все педагогические сочинения, которыми нас так щедро одаривают вот уже в течение двадцати лет и еще будут ежедневно одаривать, окажут хотя бы двадцатую часть того превосходного воздействия, на которое позволяют нам надеяться их благорасположенные авторы.





КЛЮЧ К «ИСТОРИИ АБДЕРИТОВ»

1781

Когда гомеровские поэмы стали широко известны среди греков, то народ, который судит о многих вещах со свойственным ему здравым смыслом гораздо верней, чем вооруженные очками ученые господа, сумел хорошо понять Гомера. В великих героических сказаниях, несмотря на значительный элемент чудесного, приключенческого, невероятного, он увидел больше мудрости и поучения для практической жизни, чем во всех милетских бабушкиных сказках.

Из послания Горация к Лоллию¹ и из того, как использует и учит использовать поэмы Плутарх², можно убедиться, что много веков спустя после Гомера самые разумные люди среди греков и римлян считали, что из гомеровских сказаний столь же и, пожалуй, еще лучше, чем из сочинений самых утонченных и красноречивых моралистов, можно научиться отличать истину от заблуждения, полезное от вредного и то, чего может добиться человек благодаря добродетели и мудрости. Уделом рано состарившихся людей было упиваться исключительно внешней стороной повествования (а ведь молодежь учила лучшему!); разумные же люди чувствовали и понимали дух, который жил в этом теле, и им не приходило в голову расчленять то, что Муза неразрывно слила в единое целое: Истину под покровом чудесного и Пользу, соединенную с Прекрасным и Приятным при помощи особого искусства слияния, доступного не всякому человеку.

Но в данном случае произошло то же, что случается и со всеми вещами в мире. Не довольствуясь предостерегающими или ободряющими примерами в гомеровских поэмах и желая видеть в них не только поучительное зеркало человеческой жизни в ее различных состояниях, связях и эпизодах, ученые позднейших эпох стремились проникнуть в них глубже, чем их предки. И таким образом открыли (а чего не откроешь, если только задашься целью обязательно что-то открыть!) в простых примерах — аллегорию, во всем, даже в сюжетных ходах и обстановке поэтического места действия, — мистический смысл и, в конце концов, в каждом персонаже, в каждом событии, в каждой картине, в каждой небольшой истории — бог знает какие недоступные тайны герметической, орфической и магической философии, о которых добрый и наивный сердцем поэт, безусловно, задумывался не больше, чем Вергилий

о том, что спустя тысячу двести лет после его смерти стихами его будут закливать злых духов³.

Так, постепенно, важнейшим требованием, предъявляемым к эпическим поэмам (как стали называть великие героические и поэтические сказания), стало требование, чтобы они, кроме прямого смысла и морали, открывающихся с первого взгляда, содержали еще и другой смысл, тайный и аллегорический. Во всяком случае, прихоть эта возобладала у итальянцев и испанцев. И весьма смешно наблюдать, каким неблагоприятным трудом занимаются комментаторы или даже сами поэты, выдумывая всевозможные виды метафизических, политических, моральных, физических и теологических аллегорий в «Амадисе», «Неистовом Роланде», в «Освобожденной Италии» Триссино, в «Лузиадах» Камонса или же в «Адонисе» Марино⁴.

Так как читатель не был обязан проникать в подобные тайны собственными силами, то, дабы эти сокровища не оказались для него потерянными, ему необходимо было дать ключ к ним, то есть изложение аллегорического и мистического смысла, хотя обычно поэт по окончании своего произведения и сам раздумывал над тем, какие же все-таки скрытые намеки и связи можно было бы извлечь хитроумным способом из его произведений.

То, что у многих поэтов было просто уступкой господствующей моде, противиться которой они не осмеливались, для других стало действительно делом и главным делом. Знаменитый «Zodiacus vitae»^{*} так называемого Палингения, «Аргенида» Беркли, «Королева фей» Спенсера, «Новая Атлантида» госпожи Менли, «Малабарские принцессы», «Сказка о бочке», «История Джона Буля»⁵ и множество подобных произведений, которыми особенно богаты XVI и XVII столетия, являлись аллегорическими по содержанию и целям своим и их нельзя было понять без ключа, хотя некоторые из них, например «Королева фей» Спенсера и аллегорические сатиры д-ра Свифта, написаны так, что любой разумный и сведущий человек имеет ключ к ним в своей собственной голове и не нуждается в посторонней помощи.

Этого краткого введения вполне достаточно, чтобы объяснить тем, кто еще никогда не задумывался, почему во многих умах незаметным образом укоренился своего рода предрассудок, ложное мнение, будто любая книга, подходящая на сатирический роман, должна обладать скрытым смыслом и, следовательно, нуждается в ключе.

Поэтому и издатель настоящей «Истории», заметив, что большинство читателей, оказавших честь его произведению, твердо уверено, будто в нем еще что-то скрывается, помимо кажущегося на первый взгляд смысла, насколько не удивился дошедшему до его слуха желанию иметь ключ, необходимый для полного понимания книги. Напротив, он счел нужным отблагодарить читателей за внимание к нему, удовлетворив, насколько возможно, их стремление, и дать им ключ или сообщить вместо желаемого ключа (что, в сущности, одно и то же) все, что поможет основательней понять и прочесть с пользой эту книгу, — к удовольствию всех умных и в поучение и наказание всем глупцам.

^{*} «Жизненный круг Зодиака» (лат.).

Для этой цели он считает обязательным прежде всего откровенно сообщить историю происхождения этого произведения, переданную собственными словами ее автора, не очень, правда, известного, но с 1753 года весьма читаемого писателя ⁶.

«В один прекрасный осенний вечер 177* года ⁷,— говорит он,— я находился один на верхнем этаже своего жилища и глядел (почему я должен стыдиться признаваться в чем-то человеческом?) от скалки в окно, ибо уже несколько недель, как меня совершенно покинуло вдохновение. Я не мог ни думать, ни читать. Весь пыл моего духа, казалось, погас, вся моя веселость испарилась, подобно летучей соли. Я был глуп или, по крайней мере, чувствовал себя таковым, нисколько, увы, не испытывая блаженства от глупости, не обладая и граном того гордого самодовольства, той непоколебимой, свойственной некоторым людям уверенности, что все, что они думают, говорят и видят во сне, справедливо, остроумно, мудро и заслуживает быть высеченным на мраморе,— той уверенности, которая, подобно родимому пятну, отмечает родного сына великой богини ⁸ и делает его счастливейшим из смертных. Одним словом, я чувствовал всю тяжесть своего состояния и напрасно старался внутренне встряхнуться. Как уже сказано, я выглядывал на улицу из небольшого довольно неудобного окна, даже не представляя, что я видел и что было бы достойно наблюдения.

Вдруг мне показалось,— правда это была или иллюзия, не могу сказать точно,— что я слышу какой-то голос, который кричал мне: «Садись и пиши историю абдеритов!»

И внезапно в голове моей прояснилось. «Да, да,— думал я,— абдериты... Что же может быть естественней? Примусь за историю абдеритов. Удивительно, почему такая простая идея давно не пришла мне в голову!» И я тотчас же уселся, начал писать, перечитывал, сокращал, приводил в порядок и переписывал. И было радостно видеть, как спорилась работа!

Когда я, наконец, вошел во вкус сочинения — (продолжает наш автор в своей чистосердечной исповеди) — вдруг пришел мне в голову каприз, или, как говорят, настроение дать полную волю своей фантазии и перейти в выдумках все возможные границы.

Ведь дело касается лишь абдеритов, думал я, а против абдеритов невозможно погрешить, они, в конце концов, просто сброд глупцов. Приписываемые им историей глупости достаточно велики, чтобы оправдать все самое нелепое, что ты им припишешь.

Итак, я открыто сознаюсь,— и если это неправда, то пусть простит меня небо! — я натянул постромки своей фантазии до предела, дабы изобразить абдеритов в их мыслях, речах и поведении как можно более глупыми. Вот уже две тысячи лет, как они все умерли и похоронены, говорил я себе. Это не повредит ни им, ни их потомству, от которого тоже уже и следа не осталось.

К этому присоединилось еще одно соображение, показавшееся мне гуманным. «Чем глупей я их изображу, тем меньше могу опасаться, что абдеритов примут за сатиру и будут использовать против людей, которых я вовсе не имел в виду, ибо жизнь их мне не знакома...»

Но, заключая так, я заблуждался. Успех произведения доказал, что я невольно копировал портреты, когда полагал, что только фантазирую.

Признаться, это одна из самых худших шуток, подстроенных случаем писателю, который без тени хитрости в сердце, не желая никого огорчать, просто стремился развлечь себя и ближнего. Однако подобная неприятность приключилась с автором «Абдеритов» уже по выходе первых глав его книги. Наверное нет ни одного города в Германии, да и вообще в естественных пределах немецкого языка (который, заметим мимоходом, распространен на гораздо большей территории, чем любой из европейских языков), где не сыскался бы читатель «Абдеритов». И где бы их ни читали, всюду видели живые оригиналы книжной копии.

«В тысячах мест,— (говорит автор),— где я сам никогда не бывал и не имел ни малейших знакомств, люди поражались, откуда я так хорошо знаю абдеритов, абдериток и абдеритизм этих краев. И они полагали, что я непременно веду тайную переписку или по крайней мере у меня имеется маленький кабинетный бес⁹, доставляющий мне различные истории, которые обычными средствами я раздобыть бы не мог. Но поскольку мне лучше было известно,— продолжает автор,— что я не пользовался ни тем, ни другим, мне стало совершенно ясно, что древний абдеритский народец еще не настолько вымер, как я себе это представлял».

Это открытие побудило автора предпринять исследования, которые он считал излишними, сочинивя произведение, ибо более руководствовался своей фантазией, нежели историческими свидетельствами. Он пересмотрел ряд больших и малых книг без особого успеха, пока не натолкнулся на следующее место в шестой Декаде (стр. 84) знаменитого Гафена Славкенбергия¹⁰, которое несколько прояснило ему эти неожиданные явления:

«Добрый город Абдера во Фракии,— говорит Славкенбергий,— некогда большой, многолюдный, цветущий торговый город, фракийские Афины, родина Протагора и Демокрита, рай для глупцов и лягушек, этот добрый прекрасный город Абдера уже более не существует. Напрасно стали бы мы искать его на картах и в описаниях современной Фракии. Даже неизвестно место, где он некогда был расположен, можно лишь высказывать предположения об этом.

Но не такова участь абдеритов! Они все еще живут и действуют, хотя их первоначальное место поселения уже давно исчезло с лица земли. Это неистребимый, бессмертный народец! Не имея постоянного пристанища, они встречаются повсюду. И хотя абдериты рассеяны среди всех народов, они, тем не менее, сохранились до нынешнего дня во всей чистоте и безо всякой примеси и остались настолько верны своим правам, что где бы ни повстречался абдерит, стоит на него только взглянуть или услышать его, чтобы сразу сказать, что это абдерит, точно так же, как во Франкфурте и Лейпциге, Константинополе и Алеппо¹¹ сразу же узнаешь еврея.

Но самое странное, что существенно отличает их от израильтян, бедуинов, армян и всех других несмешанных народов, заключается в следующем. Нисколько не опасаясь своего абдеритства, они смешиваются со всеми прочими обитателями земли и, хотя говорят на языке той страны, где живут,

имеют общие законы, религию и обычаи с неабдеритами, едят и пьют, действуют и поступают, одеваются и наряжаются, причесываются и душатся, очищают желудок и ставят клистиры, одним словом, в отношении жизненных потребностей делают все примерно так же, как и прочие люди, тем не менее, говорю я, во всем, что отличает их как абдеритов, они остаются верными самим себе и настолько неизменными, словно какая-то алмазная стена, втрое выше и толще стен вавилонских, отделила их от остальных разумных существ нашей планеты. Все человеческие расы изменяются от переселения, и две различные расы, смешиваясь, создают третью. Но в абдеритах, куда бы их ни переселяли и как бы они ни смешивались с другими народами, не заметно было ни малейшей существенной перемены. Они повсюду все те же самые дураки, какими были и две тысячи лет тому назад в Абдере. И хотя уже давно не представляется возможности воскликнуть — «Взгляни, ведь это же Абдера! И тут Абдера!» — однако в Европе, Азии, Африке и Америке, в этих больших и в общем цивилизованных частях света нет ни одного города, ни одного местечка, деревни и поселения, где нельзя было бы встретить членов этого невидимого сообщества». Таково мнение Гафена Славкенбергия.

«Прочитав это место, — (продолжает наш автор), — я тотчас же нашел ключ к тому, что испытал и что показалось мне сначала таким непонятным. И подобно тому как слова Славкенбергия объяснили мне, что произошло у меня с абдеритами, так, в свою очередь, мой опыт подтвердил достоверность его слов. Абдериты оставили после себя семена, которые вззошли во всех странах и породили многочисленное потомство. И поскольку почти повсюду характеры и события, связанные с древними абдеритами, считали за копии и истории о новых абдеритах, то в этом как раз и проявились, согласно указанным выше свидетельствам, удивительное однообразие и неизменяемость, отличающие этот народ от прочих материковых и островных народов.

Известия на сей счет, полученные мной отовсюду, доставили мне двойное великое утешение. Во-первых, я сразу освободился от упреков совести, от того, что, быть может, с абдеритами слишком хватил через край. И, во-вторых, мне стало известно, что мое произведение повсюду (и даже самими абдеритами) читается с удовольствием и особенно поражает точное сходство между древними и новыми абдеритами, несомненно должно быть лестное для абдеритов нового времени как наглядное доказательство их истинного происхождения. Незначительное число тех, кто жаловался, что их изобразили слишком похожими, можно действительно не принимать в расчет по сравнению с огромным количеством лиц, весьма довольных. И даже эти немногие, возможно, поступили бы лучше, если бы отнеслись к делу по-иному. Ибо поскольку, кажется, они не хотят, чтобы их принимали за тех, кем они являются на самом деле, и поэтому желали бы облачиться в шкуру более благородного животного, то разумное поведение требует, чтобы они сами не высовывали своих ушей, дабы не привлекать к себе неблагоприятного внимания.

С другой стороны, то обстоятельство, что я писал историю древних абдеритов как бы сквозь призму абдеритов новых, я использовал так же и для того, чтобы несколько обуздать свою фантазию, которой предоставил вначале полную волю, тщательным образом воздерживался от карикатур и соблю-

дал в моем повествовании об абдеритах строжайшую справедливость. Ибо я считал себя летописцем древней эпохи все еще процветающего рода, который имел бы полное право отнестись ко мне с неудовольствием, если бы я без основания приписал его предкам что-либо, противоречащее истине».

Итак, «История абдеритов» может с полным правом считаться самой правдивой и самой достоверной историей и именно поэтому может служить точным зеркалом, в котором новые абдериты могут увидеть свой собственный лик — а если они захотят быть честными перед самими собой, — то и обнаружить, насколько схожи они со своими предками. Пока существуют абдериты, — а существовать они будут, по-видимому, достаточно долгое время, — излишне распространяться о пользе этого произведения. Мы хотим только заметить, что оно, между прочим, могло бы принести пользу и в том отношении, что предостерегло бы потомков древних германцев среди нас прежде всего от подозрения, будто они происходят от абдеритов, или от того, чтобы они сами не стали походить на абдеритов из-за чрезмерного восхищения абдеритскими характером и искусством¹². По весьма многим причинам они мало выиграли бы от этого.

Вот, дорогой читатель, и обещанный ключ к этому достопримечательному оригинальному произведению с прилагаемым при сем заверением, что вы сможете им открыть любой даже самый маленький потайной ящичек. И если кто-нибудь захотел бы вам шепнуть на ухо, что здесь скрывается нечто еще более значительное, то можете быть убеждены — либо он сам не знает, что говорит, либо у него что-то злое на уме.

— Sapientia prima est stultitia caruisse *.



* Первая мудрость — глупость отбросить (лат.)¹⁶.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Р. Ю. Данилевский

ВИЛАНД И ЕГО «ИСТОРИЯ АБДЕРИТОВ»

Имя Кристофа Мартина Виланда по праву называют в ряду имен классиков немецкой литературы — Лессинга, Гете, Шиллера, Гердера. Однако нынешнему читателю Виланд известен меньше, чем его великие современники. Расцвет литературы в Германии конца XVIII и начала XIX в. действительно был связан прежде всего с их деятельностью. Гете и Шиллер заслонили своим творчеством в сознании последующих поколений сочинения писателя, который был одним из непосредственных предшественников и литературных учителей обоих поэтов. Виланд шел в литературе собственным путем и имеет перед немецкой демократической культурой собственные заслуги.

Наряду с Клопштоком и Лессингом, Виланд вложил свой — и немалый — труд в подготовку того «строительного материала», без которого достижения Гете и Шиллера были бы невозможны, — немецкого литературного языка. Еще молодым человеком, в 60-х годах XVIII в., он достиг в стихотворных повестях такой отточенности стиля, какой до того не знала немецкая поэзия. Вольный ямб и октавы его поэм-сказок легки и звучны, как язык итальянской поэзии. «Нежность, изящество, прозрачность, естественная элегантность», — так отзывался Гете о языке Виланда¹. Проза Виланда, в которой ясная мысль просветителя сочетается с разнообразнейшими оттенками смеха — от игривого лукавства до бичующей сатиры — немногим уступает прозе Вольтера или Лоуренса Стерна. Виланд преодолел неуклюжесть и ученую громоздкость старого книжного языка, доставшегося немцам в наследство от XVII в.

В лаконичных «Записках о Германии» Ф. Энгельс, перечисляя преобразователей немецкого языка и культуры, назвал и Виланда. «Идея «Человека» и развитие языка; в 1700 г.— еще варварство, 1750 г.— Лессинг и Кант, а вскоре затем — Гете, Шиллер, Виланд, Гердер, Глюк, Гендель, Моцарт»².

Слогу Виланда присуща яркая эмоциональность, выступающая на первый план особенно в поэзии. Писателя знали также как увлекательного повествователя. Была известна и его философская проза. Его сатирой же интересовались сравнительно мало. Казалось бы, все иронические наблюдения, которые сделал Виланд над жизнью современников — феодальных владельцев мелких и мельчайших германских государств, ограниченных и трусливых бюргеров,

¹ В речи, посвященной памяти писателя (1813). См.: Goethes Werke in 60 Bänden, Sophien-Ausgabe, Bd. 36. Weimar, 1893. S. 318.

² Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 575 (курсив мой.— Р. Д.).

продажных адвокатов, хитрых попов — все это потеряло значение вместе с ушедшей в прошлое Германией XVIII в. Но, обращаясь к произведениям Виланда, мы обнаруживаем, что многие сатирические персонажи изображены с таким мастерством, которое и сегодня вызывает читательский интерес. Именно сатира являлась той областью творчества, где Виланд не знал себе равных в немецкой литературе его времени. Он был новатором, открывшим неизвестные ранее возможности сатирической прозы.

В творчестве Виланда немецкая сатира приобрела новое качество: общечеловеческий порок был показан как порок социальный, а гротескные маски его носителей получили живые, индивидуальные черты. Виланд создал в немецкой литературе «роман нового типа, где положительные и отрицательные тезисы воплощены не только в рассуждениях, но и в характерах и действиях»³.

Особенность виландовской сатиры состояла также и в том, что сатира эта не была открытой, прямой насмешкой, привычной для немецкой обличительной литературы, говорившей обычно правду в глаза. Виланд заставлял читательскую мысль работать, искать и усваивать его идеи, искусно вплетенные в пеструю ткань пронизанного юмором повествования. «Таков мой вкус, — признавался писатель, — мои излюбленные характеры — Сократ и Арлекин»⁴.

В романе «История абдеритов» природа смеха еще сложнее. Под внешним простодушием скрыта уже не только веселая арлекинада: мы ощутим в этом произведении беспощадную насмешку, подобную сарказму Лукиана Самосатского, Свифта или Вольтера⁵.

Значение сатиры Виланда заключалось не в одних талантливо написанных карикатурных портретах носителей социального зла. Само это зло продолжало существовать, ибо пороки феодальной Германии во многом сохранились и в Германии капиталистической, приобретая еще более зловеющий вид и более воинствующий характер. Среди причин невнимания буржуазной критики XIX в. к Виланду было, конечно, и настороженное отношение к его сатире.

Для того чтобы определить место «Истории абдеритов» в творчестве Виланда, необходимо бросить общий взгляд на деятельность этого писателя,

³ Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962, с. 125.

⁴ Письмо к Ф. Ю. Риделю от 15 декабря 1768 г. См.: *Auswahl denkwürdiger Briefe von C. M. Wieland*. Bd. 1. Wien, 1815, S. 234.

⁵ См.: Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 11 и след.; Пуритан Б. И. Виланд. — В кн.: *История немецкой литературы в пяти томах*, т. 2. М., «Наука», 1963, с. 179—202.

Кристоф Мартин Виланд родился 5 сентября 1733 г. в семье пастора в швабской деревне Оберхольдхейм вблизи «вольного» города Бибераха⁶. Воспитание пасторского сына проходило под влиянием противоречивых тенденций, боровшихся между собой в немецкой культуре. Отец будущего писателя приходился родственником А. Г. Франке (1663—1727), возглавлявшему пиетистское движение. Мальчик воспитывался в строго религиозном духе, был отдан в пиетистскую гимназию, где провел около трех лет (1747—1749). Учение пиетистов, связывавших просветительскую деятельность с догмами протестантской церкви, повлияло на вкусы молодого поэта. Но это влияние все же не было безраздельным. В гимназии Виланд начал тайком читать труды французских просветителей, в том числе Вольтера, который произвел на него огромное впечатление.

В последующие годы Виланд жил в Эрфурте, некоторое время учился в Тюбингене, готовясь к карьере юриста. Но юриспруденция не привлекала его. В начале 50-х годов появляются в печати его первые, еще несовершенно поэтические опыты.

В эту пору в немецкой литературе происходит разрушение поэтики классицизма, оплотом которого был драматург и критик Иоганн Кристоф Готшед (1700—1766). Чрезмерная приверженность французским образцам, описательность, отсутствие психологической глубины, ориентация на вкусы верхов феодального общества перестали удовлетворять передовую часть немецких читателей. Образованные слои бюргерства требовали от литературы внимания к «третьему сословию», которое даже в том жалком состоянии, в каком оно находилось в Германии XVIII в., оставалось все же тогда носителем исторического прогресса. Во главе немецкой литературы становятся Лессинг и Клопшток. Страстная лирика последнего, его грандиозная поэма «Мессиада» не прошли бесследно для первых произведений Виланда. Новые тенденции отвечали тяготению Виланда к поэзии, воспевающей все оттенки человеческих чувств, развивали его интерес к внутренней жизни личности. Но молодой писатель долго не мог избавиться от следов пиетистского воспитания, религия занимала в его раннем творчестве немало места. Правда, благочестие боролось там с юмором и жизнелюбием и вынуждено было, как правило, отступать.

С 1752 по 1760 г. Виланд прожил в Швейцарии. Он был приглашен в Цюрих известным в то время швейцарским просветителем Иоганном Якобом Бодмером, который видел в начинающем поэте талантливого лирика. Бодмер надеялся воспитать в Виланде поэта-моралиста, распространителя христианской нравственности.

⁶ Биографические данные о Виланде см. в указанной выше работе Б. И. Пуришева, а также в кн.: *Böhm H. Einleitung.* — In: *Wielands Werke in vier Bänden*, Bd. 1. Berlin, Weimar, 1969, S. III—XLII; *Pröhle H. Wielands Leben.* — In: *Wielands Werke, Teil I (Deutsche National-Literatur, Bd. 51)*. Berlin, Stuttgart, o. J., S. IX—C; *Sengle Fr. Wieland*. Stuttgart 1949.

Швейцарская литература заняла к середине столетия выдающееся положение среди немецкоязычных литератур. Пронизывающий ее антифеодальный дух, культ труда и родной природы были хорошо понятны и немецкому бюргерскому читателю. Швейцарские поэты А. Галлер и С. Геснер принимали участие в создании немецкой литературы нового времени. Однако швейцарское Просвещение имело свои особенности, связанные в конечном счете с экономической отсталостью страны. В литературе была распространена религиозная назидательность, проповедь бюргерских добродетелей — бережливости, умеренности, узкого местного патриотизма. Такой своего рода духовный аскетизм не мог удовлетворить Виланда.

Незадолго до приезда Виланда в Цюрих оттуда уехал Клопшток. Попытки Бодмера втиснуть творчество Клопштока в рамки евангельских сюжетов оттолкнули поэта от швейцарских литераторов⁷. Подобно Клопштоку Виланд также стремился переосмыслить христианские темы как темы земной радости — и это привело в конце концов и его к разрыву с Бодмером. Швейцарская действительность помогла Виланду освободиться от настроений религиозной экзальтации. От него не укрылась мертвящая атмосфера, созданная кальвинизмом. Обстановка в Швейцарии немногим отличалась от скудной духовной жизни, которую вели жители Бибераха. Возвратившись в 1760 г. на родину и получив должность письмоводителя ратуши, Виланд стал свидетелем долгой и мелочной борьбы между католиками и протестантами за властные должности в городском магистрате.

Восприятие нелепостей окружающей жизни обострилось у Виланда благодаря чтению английских авторов. Их умение проникать в человеческую душу опережало в то время опыт немецкой литературы. Шекспир, Свифт, Стерн, Дж. Томсон становятся сильнейшим увлечением Виланда. В начале 60-х годов Виланд переводит и ставит с актерами-любителями в родном городе «Бурю» Шекспира. В течение нескольких лет он издает восемь томов шекспировского театра в своем переводе⁸.

Но самым любимым писателем Виланда был Лоуренс Стерн, родоначальник английского сентиментализма. Стерн, старший современник автора «Истории абдеритов», в эти же годы печатал свой знаменитый роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759—1767). Затем появилось его «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768). Виланда поразила в Стерне смелость мысли и чувства. Манера его письма резко противостояла канонам немецкого классицизма и религиозно-назидательной литературы. Стернианский юмор, на первый взгляд легкомысленный и «бесшабашный», скрывал в себе горькую иронию, вызванную сознанием контраста между идеей Человека и жалким искажением ее в мире буржуазного практицизма.

Произведения Стерна подсказали Виланду не только стилистические приемы, но и жизненную позицию: внешне благодушное, но в сущности крайне

⁷ См. об этом: История немецкой литературы в пяти томах, т. 2, с. 163.

⁸ Shakespears theatralische Werke. Aus dem Englischen übersetzt von Herrn Wieland, VIII Bände. Zürich, 1762—1766.

критическое и насмешливое отношение к окружающему. При этом немецкий писатель не просто подражал Стерну. Насмешка зрелого Виланда была еще беспощаднее, — возможно, потому, что общественный застой на его родине превосходил в своей косности пороки английской действительности. «Голова моя работает совсем в тристам-шендиевском направлении», — писал Виланд еще при жизни Стерна, в 1767 г.⁹ Роман «История абдеритов» свидетельствует, что ирония Виланда достигала местами такой обличительной силы, которая заставляет вспомнить не только о Стерне, но и о Свифте.

Интерес Виланда к позднему английскому Просвещению не ограничивался литературой. Английские авторы воспринимались в определенном философском освещении. Если Стерн был самым близким Виланду писателем, то наиболее родственным ему философом можно назвать Энтони Шефтсбери (1671—1713). Взгляды этого популярного моралиста и эстетика привлекали к себе Виланда тем же, что и сочинения Стерна, — концепцией внутренней свободной, духовно раскрепощенной личности. Шефтсбери сохранил восходящее к Возрождению представление о личности как гармоническом единстве. Философ переосмыслил античный термин «калокагатия» (единство добра и красоты, т. е. нравственного и эстетического начал), лишив это понятие древней кастовой и привнесенной Платоном мистической окраски. Калокагатией он назвал нравственную цель, к которой надлежит стремиться человеку в процессе самосовершенствования¹⁰.

Идеи Шефтсбери увлекли Виланда своей просветительской, воспитательной направленностью. Немецкое Просвещение, как известно, возлагало огромные надежды на воспитание человеческого рода. Виланд решился наметить путь формирования человеческого характера, построенного в соответствии с философией Шефтсбери и собственными представлениями о том, каким он желал бы видеть современного человека.

В 1768 г. первым изданием вышел в свет большой роман Виланда «История Агатона» («Geschichte des Agathon»)¹¹. Это был роман о становлении личности, первый воспитательный роман в европейской литературе¹². В столкновении с жизненными препятствиями складывается характер героя, вырабатываются его взгляды. Процесс этот Виланд представлял себе, правда, не совсем так, как стали изображать его позднее писатели-реалисты. Виланд

⁹ Auswahl denkwürdiger Briefe, Bd. 2, S. 292. Известие о смерти английского писателя вызвало в одном из писем Виланда настоящий гимн Стерну: «Среди рожденных женщиной не было автора, чувства которого, юмор и образ мысли полнее совпадали бы с моими; который так наставлял бы меня; который так прекрасно выражал бы то, что чувствовал я тысячу раз, не умея или не желая выразить этого» (там же, т. 1, с. 231—232).

¹⁰ См.: Михайлов А. В. Эстетический мир Шефтсбери. — В кн.: Шефтсбери. Эстетические опыты. («Литературные памятники»). М., «Наука», 1975, с. 7—76. О влиянии Шефтсбери на Виланда см.: Stettner L. Das philosophische System Shaftesburys und Wielands Agathon. Halle, 1929.

¹¹ Второе издание романа — 1773 г., третье — 1798 г.

¹² О воспитании личности писали и до Виланда (Фенелон, Рамсей и др.), но он отличался умением лепить живые характеры. См.: Wildstake K. Wielands «Agathon» und der französische Bildungsroman von Fénelons «Telemach» bis Barthélemy's «Anacharsis». München, 1933.

воспользовался заимствованным у Шефтсбери понятием «прекрасной души» и рассматривал жизнь личности как борьбу природных задатков добра с вредоносными внешними влияниями до достижения полной гармонии человека с самим собой и с миром. Для современников важно было, однако, что писатель показал эволюцию, развитие характера под воздействием окружающей общественной среды.

Опыт Виланда, автора «Истории Агатона», был заимствован Гете в «Вильгельме Мейстере», романтиками — например, Новалисом в романе «Генрих фон Офтердингген» и т. д. Но в связи с «Историей абдеритов» необходимо обратить внимание на две особенности виландовского воспитательного романа. Во-первых, писатель, как никто из его предшественников, начал внимательно присматриваться к тому социальному, человеческому фону, на котором предстояло действовать его герою. И, во-вторых, в «Истории Агатона» уже чувствуется историзм Виланда, или точнее — тенденция к исторической правде, пусть еще непоследовательная и не освободившаяся от легендарных и условных представлений об историческом прошлом.

Читатели романа обратили на эти стороны произведения мало внимания — отчасти в силу неразвитости своих исторических представлений, но прежде всего потому, что им бросилась в глаза новизна моральных проблем, затронутых Виландом.

Историей своего героя Виланд показал по сути дела духовные искания европейцев в эпоху Просвещения. Он написал вымышленную биографию малоизвестного афинского трагика и сделал местом действия романа Грецию, Малую Азию и Сицилию V в. до н. э. Однако религиозные сомнения, нравственные и философские искания, политические разочарования — все это принадлежало человеку XVIII столетия. Итог был типичным для немецкого Просвещения: идея самосовершенствования личности представлялась единственным спасением от социальной несправедливости. Иные пути переустройства общества оставались тогда для Германии закрытыми.

К такому же выводу приводили читателя новеллы, объединенные фигурой философа Диогена («Сократ беснующийся, или Диалоги Диогена Синопского» — «Sokrates Mainomenos, oder die Dialogen des Diogenes von Syopre», 1770). Но вместе с тем в них гораздо резче, чем в «Истории Агатона», звучали иронические интонации, предшествующие будущему стилю книги об абдеритах.

Ироническая позиция Виланда объяснялась полемикой его со взглядами Руссо на роль цивилизации в жизни человечества¹³. Разделяя симпатии великого француза к природе и человеку, находящемуся в гармонии с ней, Виланд, тем не менее, представлял себе руссоизм как полное отрицание пользы общественного прогресса. Трагизм позиции Виланда состоял в том, что, не без оснований защищая в споре с Руссо точку зрения на развитие человечества как на поступательный процесс, писатель не находил в немецкой действительности признаков совершенствования общества и человека.

¹³ Антируссоистские сочинения Виланда были собраны в «Очерках тайной истории человеческого разума и сердца» («Beiträge zur geheimen Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens», 1801).

Служба в городском магистрате Бибераха (1760—1768) столкнула Виланда вплотную с затхлой чиновничьей атмосферой. В письме к С. Геснеру, который спрашивал Виланда, как идут его литературные занятия, тот отвечал летом 1766 г.: «Но в Биберахе, без друзей, без библиотек, без поддержки, при такой должности, при таких развлечениях — что вы хотите чтобы я делал?»¹⁴

Ненадолго Виланд вновь обосновался в Эрфурте (1769—1771), заняв место профессора философии в университете. Но и Эрфурт оказался повторением Бибераха: «Что за люди, что за умы, какие нравы, какое невежество, отсутствие мысли и сердца, и вкуса! И мне надлежит образовать из них людей, из этих людишек!»¹⁵.

Материал для «Истории абдеритов» сам шел Виланду в руки. Писатель мог бы посетить еще много подобных городов, и всюду он нашел бы те же типы обывателей, которых он встречал в своем Биберахе. Лицом к лицу он столкнулся с той социальной стихией, что была несчастьем и проклятием Германии. Это — мешанская, мелкобуржуазная среда, безликая масса бюргерства, готовая примириться с феодальным произволом, но не мирящаяся с теми, кто попытался бы нарушить ее самодовольный покой.

История немецкого третьего сословия была противоречивой. Оно дало немецкому народу революционеров, ученых, великих поэтов. В нем находили своих «высоких» героев Лессинг и Шиллер. Но, несмотря на это, в нем всегда задавало тон верноподданническое филистерство, враждебно относившееся ко всякой попытке усовершенствовать, изменить привычные отношения в обществе.

Немецкий филистер как бы ждал своего обличителя, который сумел бы создать в литературе его портрет. Эту нелегкую миссию взял на себя Виланд.

Начало 70-х годов было временем пробуждения духовных сил немецкого общества. Еще продолжал творить Лессинг, внимательно следивший за работой Виланда. Появляется первое собрание од Клопштока (1771). Издаются первые работы Гердера, сразу подвинувшие вперед эстетику, народознание, общественную мысль. Во Франкфурте-на-Майне, в Страсбурге и Геттингене складываются кружки молодых поэтов-штюрмеров, «бурных гениев», требующих обновления тематики и языка литературы, укрепления ее национальной самостоятельности, исполненных предчувствия близящихся социальных потрясений.

Между Виландом и этим новым течением «бури и натиска» («Sturm und Drang») устанавливаются сложные отношения. Поборники национального искусства — Клопшток и Гердер, и вслед за ними «бурные гении» — склонны считать Виланда салонным, аристократическим поэтом, далеким от народной жизни. Его объявляют плохим переводчиком, искажившим Шекспира¹⁶. Участники кружка «Геттингенский союз рожи» демонстративно изорвали в 1773 г., в день рождения Клопштока, том виландовских сочинений и сожгли

¹⁴ Auswahl denkwürdiger Briefe, Bd. 1, S. 35.

¹⁵ Письмо к С. Геснеру от 18 октября 1769 г. (там же, с. 98).

¹⁶ О критических выступлениях против Виланда см.: Kluth K. Wieland im Urteile der vorklassischen Zeit. Greifswald, 1927.

портрет Виланда. Молодые современники далеко не сразу отдали себе отчет в том, что именно этот писатель впервые в «Истории Агатона», а затем и в «Истории абдеритов» дал литературное отражение одного из основных конфликтов, который они переживали, — столкновения свободомыслящей личности с филистерским окружением, с феодальной тиранией и рабством. Позже младшее поколение внимательнее присмотрелось к Виланду, и бывшие противники писателя стали его близкими друзьями, по крайней мере, это относится к Гете¹⁷. Но пока шла борьба, Виланд не оставался в долгу. В «Истории абдеритов» он вывел незадачливых любителей «бурной» и кровавой литературы (III, 3) и пронидательно заметил, что литературное бунтарство и заявления о приверженности национальной старине, чем они шумнее, тем больше вызывают сомнений в своей искренности (в «Ключе» к роману).

Патриотизм Виланда, укреплявшийся по мере развития немецкой политической жизни и роста национального сознания народа, никогда не принимал декларативных и вызывающих форм. Течение «бури и натиска» оттолкнуло от себя писателя не только гипертрофированной сентиментальностью, но и утверждением превосходства немецкой старины перед всякой другой. Виланд недооценил новаторство произведений «бурных гениев», его вкус был оскорблен яростной патетикой драм Клингера и Ленца. Однако — и на это надо обратить внимание — тончайшее чутье подсказало ему потенциальную опасность тех зачатков национализма, которые скрывались в сочинениях штюрмеров. Виланд слишком хорошо знал немецкое бюргерство, чтобы оставить без внимания кичливость национальным прошлым.

Выпады штюрмеров против Виланда были подхвачены романтиками с еще большим ожесточением. Романтики, видевшие в Виланде не только непатриота, но и безбожника, и проповедника аморализма, приложили много усилий, чтобы подорвать литературный авторитет писателя. В этих спорах, да и в позднейшей историко-литературной науке, нередко забывали, что не кто иной как Виланд воспитал на своих сочинениях первое поколение романтиков. Братья Шлегели, Новалис и особенно Людвиг Тик были многим обязаны Виланду в писательском мастерстве¹⁸. Литературная традиция, отрицаемая потомками, продолжала, как видим, жить в их творчестве.

Обвинения в непристойности, выдвигавшиеся против Виланда штюрмерами и романтиками, основывались не только на некоторых сценах «Истории Агатона», но и на специфическом жанре виландовской поэзии, сложившемся к середине 60-х годов. Это были «Комические повести» («Komische Erzählungen», 1765), веселые стихотворные истории с игривым сюжетом, рождавшиеся в атмосфере аристократического салона графа Фридриха Штадиона, который покровительствовал Виланду в биберахский период жизни писателя. Но в этих повестях содержалась уже и ирония, и, главное, они были проникнуты оптимизмом, настроением, которое европейская аристократия во второй половине XVIII в. начала уже утрачивать.

¹⁷ Гете ранее высмеял писателя в драматическом фарсе «Боги, герои и Виланд» (1774). Об отношениях Виланда и Гете см.: *Sengle Fr. Arbeiten zur deutschen Literatur, 1750–1850. Stuttgart, 1965, S. 24–45.*

¹⁸ См.: *Hirzel L. Wielands Beziehungen zu den deutschen Romantikern. Bern, 1904.*

С поэзией Виланда, а также с его романом «Победа природы над мечтательностью, или Приключения дона Сильвио де Розальвы» («Der Sieg der Natur über die Schwärmerei, oder die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva», 1764) связывают понятие немецкого литературного рококо¹⁹. Подобно изобразительному искусству этого стиля, произведение Виланда отличалось тщательной отделкой формы, изяществом мелких деталей содержания, причудливым сюжетом. Роман о доне Сильвио, представляющий собой ряд фантастических новелл о приключениях и превращениях, не столько высмеивал, сколько защищал права воображения²⁰. Виландовское рококо, забавляя, скрывало, однако, в себе и иронию и публицистические намеки. Виланд перерабатывал этот придворный, салонный стиль, заставляя его служить целям просветительской сатиры. Подчас автор приподнимал свою маску забавника, как, например, в следующих строках романа: «Итак, у нас и в мыслях не было прерывать хотя бы на миг горделивый покой и сладкую дремоту, в коих пребывает наше отечество!» (III, 6).

Значительную часть наследия Виланда составляют стихотворные повестисказки²¹. От «Идриса» («Idris», 1768) до «Шаха Лоло» («Schach Lolo», 1778), «Водяной купели» («Die Wasserkufe», 1795) и «Перфонте» («Perfonte», 1796) они впитали самые разнообразные фольклорные и литературные мотивы. Настоящим шедевром поэтического искусства Виланда стала поэма «Оберон» («Oberon», 1780), написанная легкими, прекрасными стихами и возвратившая к жизни традиции рыцарского романа и итальянского эпоса в соединении с миром комедий Шекспира и народной сказки. Сюжет «Оберона» вдохновил затем Вебера на создание его известной оперы (первая постановка — в 1826 г.).

Виланд писал и прозаические сказки, собранные им в книге «Джиннистан» («Dschinnistan», 1786—1789)²². В них, как и в его поэмах, книжная и народная фантастика переплетается с довольно едкой иронией. Среди сказок — сатирическая, в духе Вольтера, история «Философский камень».

Поэтика литературной сказки послужила Виланду для построения фабулы политического романа «Золотое зеркало, или Правители Шешинские» («Der Goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian», 1772), к которому в виде эпилога была прибавлена «История мудрого Данишменда» («Geschichte des weisen Danischmend», 1775). Повесть о правителях вымышленного государства, рассказанная в назидание индийскому «шаху» и переведенная якобы на китайский, с китайского на латынь, а с нее на немецкий, скрывала за восточным колоритом сказок «1001 ночи» серьезные общественно-политические идеи. Виланд назвал роман «книгой для королей» и прилагал ста-

¹⁹ См.: *Anger A. Literarisches Rokoko. Stuttgart, 1962.*

²⁰ Русский перевод романа носил название «Новый Дон-Кихот» (М., 1782). Фрагмент этого произведения вновь переведен в кн.: *Немецкие волшебнo-сатирические сказки. Изд. подготовил А. А. Морозов («Литературные памятники»). Л., «Наука», 1972, с. 5—59.*

²¹ Подробную характеристику их см.: *Пуришев Б. И. Виланд, с. 187—190.*

²² Кроме Виланда, который являлся автором большинства сказок, в издании принимали участие Ф. Г. Эйзидель и И. А. Либескинд.

рания, чтобы книга попала в руки молодого императора Иосифа II, с которым просветители связывали надежды на прогрессивные перемены в германских государствах. Надежды эти не осуществились, как не сбылось и желание Виланда оказаться в роли «мудрого Данишменда», советчика при императоре «германской нации». В 1794 г. Виланд дописал в книге главу о рождении потомков просвещенного монарха Тифана, выразив этим скептическое отношение к своей прежней мечте об идеальном государе²³.

Писатель изложил в романе гуманистические принципы своего мировоззрения, которым всегда сохранял верность: он был убежден в равенстве людей от рождения, возвышал голос против порабощения и унижения любого человека, говорил о необходимости братства и «взаимного долга» между людьми. Но роман не был сухим поучением. Каждая страница его была насыщена смехом, иронией. Виланд считал смех не менее действенной силой, чем разум, и видел в смехе союзника Просвещения («Важнейшая цель шуток, — писал он в «Золотом зеркале», — состоит в том, чтобы все, что во мнениях, страстях и поступках людей не согласуется со здравым смыслом и всеобщим чувством истины и красоты, т. е. все, что нелепо, изобразить достойным осмеяния») (I, 10).

Просветительские идеалы «истины и красоты» приобретали в творчестве Виланда все более конкретный, демократический характер. Смех Виланда получал все более отчетливую социальную направленность. С годами заметнее становилась склонность писателя к достоверности изображения исторических, национальных, социальных черт его героев.

Искусство рококо пользовалось как восточным экзотическим маскарадом, так и античными мотивами. Обращаясь к античности, Виланд и здесь ломал привычные литературные штампы. Увлечение античной культурой увело его в мир древних гораздо глубже, чем требовалось от условного салонного искусства. К концу 60-х годов Виланд стал настоящим знатоком греческой и римской старины. Разумеется, нынешний читатель не может не заметить, что виландовская античность, особенно так называемый «местный колорит» Древней Греции остаются несколько условными. Отчасти это объясняется сатирической задачей — если обратиться к античности, воспроизведенной в «Истории абдеритов». Но такая условность имела и объективные причины: для европейского эллинизма было характерно восприятие классической Греции через латинскую культуру. Сказывалась и длительная традиция переосмысления античности в искусстве барокко и рококо, в литературе французского классицизма.

От произведения к произведению Виланда античный материал в них пополнялся новыми историческими сведениями, становился все более достовер-

²³ С этой мечтой, однако, Виланду было трудно расстаться. В 1804 г. в беседе с писательницей Ж. де Сталь он с горечью признал безуспешность попыток «хвататься за спицы колеса» современных событий. Но в письме к другу он, тем не менее, повторил, что не перестает надеяться на то, что книги в конце концов повлияют на поступки государственных деятелей. См.: *Literarische Zustände und Zeitgenossen*. In: *Schilderungen aus K. A. Böttigers handschriftlichen Nachlasse*, hrsg. von K. W. Böttiger, Bd. I. Leipzig, 1838, S. 263–264.

ным. Если в ранних произведениях и в первой редакции «Истории Агатоны», в сценах «Диалогов Диогена Синопского» персонажи еще довольно абстрактны и окружающая их обстановка условна, то впоследствии Виланд очень заботился о том, чтобы изображаемый в его романах древнегреческий мир выглядел достоверно до мелких подробностей. В статье Виланда «Об идеалах греческих художников» («Über die Ideale der griechischen Künstler», 1777) древние греки были лишены ореола идеальной нации. Расцвет их культуры объяснялся как стадия, через которую может пройти любой народ. Виланд расходился во мнениях с Винкельманом, первым пропагандистом античного искусства в Германии²⁴. Винкельман идеализировал древний мир. Он первый указал на непреходящее значение древнегреческой культуры для немецкого демократического искусства. Но он видел в этой культуре образец, к которому следует стремиться. Позиция Виланда сближалась с точкой зрения Лессинга и Гердера на достижения античности как на результат определенных исторических и национальных обстоятельств, неповторимых в своей конкретности. Однако Виланд в полном согласии с мнением Винкельмана указал в упомянутой статье на то, что республиканский строй древнегреческих городов способствовал творчеству античных художников, которые, как он писал, «располагали большей свободой наблюдать прекрасные предметы, предоставлявшиеся им природой и их временем, чем это когда-либо могли делать художники новейшие».

Насколько глубоко разбирался Виланд в философских учениях древности, видно из беседы Демокрита с соотечественниками в I книге «Истории абдеритов». Огромная начитанность писателя в литературе о философии и религиозных верованиях античной эпохи отразилась и в других его романах — «Тайная история философа Перегрина Протея» («Geheime Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus», 1791), «Агатодемон» («Agatodämon», роман о философе Аполлонии Тианском, 1799), «Аристипп и некоторые из его современников» («Aristipp und einige seiner Zeitgenossen», 1801).

Подобно другим современным ему деятелям немецкой культуры, от Винкельмана до романтиков, подобно великим веймарцам — Гете и Шиллеру, Виланд смотрел на античный мир, сопоставляя его с европейской жизнью последней трети XVIII и начала XIX столетия. Связь древности с текущим днем наполняла виландовскую Элладу движением и красками. Особенность же воспроектирования древнегреческого мира у Виланда заключалась в постоянном лукавом подтексте, когда читателю время от времени намекали на присутствие в повествовании элемента мистификации, на возможность понять текст иносказательно. Рецензируя в 1772 г. «Золотое зеркало», Гете писал о романах Виланда: «Это были нравы восемнадцатого столетия, но только перенесенные в страну греков или в страну фей»²⁵.

Поэтому представление о Виланде как писателе, замкнувшемся в своем кабинете, в окружении старых книг, было ошибочным. Это была тоже своего

²⁴ О восприятии античного искусства в Германии XVIII в. см.: История немецкой литературы в пяти томах, т. 2, с. 106 и след.; *Ephraim Ch. Wandel des Griechenbildes im achtzehnten Jahrhundert*. Berlin, Leipzig, 1936.

²⁵ *Goethes Werke in 60 Bänden*, Bd. 37. Weimar, 1896, S. 232.

рода бытовая и литературная мистификация, роль отшельника, намеренно избранная Виландом после переселения в Веймар. В 1772 г., после того как не осуществился план переезда в Вену под покровительство Иосифа II, писатель принял предложение веймарской герцогини Анны-Амалии и взял на себя обязанности воспитателя двух ее сыновей. Небременная должность, давшая Виланду титул надворного советника и пожизненную пенсию, позволяла вести сравнительно независимый образ жизни. Материальная независимость литератора была в то время в Германии очень редким случаем, и Виланд знал ей цену. Он и жилище свое постарался перенести подальше от суеты города и герцогского двора, купив в 1797 г. небольшое имение Османштедт, в семи километрах от Веймара. Это имение оставалось местом его пребывания до конца жизни²⁶. Там Виланд завещал и похоронить себя, как бы утвердив за собой право на независимость и после смерти.

Сдержанное отношение Виланда к любопытствующим посетителям его дома, жилища знаменитого писателя, выразительно передал Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника». Под датой 21 июля 1789 г. Карамзин записал: «Вчера два раза был я у Виланда, и два раза сказали мне, что его нет дома. Ныне пришел к нему в восемь часов утра и увидел его. Вообразите себе человека довольно высокого, тонкого, долголицего, рябоватого, белокурого, почти безволосого, у которого глаза были некогда серые, но от чтения стали красные — таков Виланд. Желание видеть вас привело меня в Веймар, — сказал я. «Это не стоило труда!» — отвечал он с холодным видом и с такою ужимкою, которой я совсем не ожидал от Виланда»²⁷. Лишь после разговора с молодым русским литератором писатель несколько смягчился. Эта сцена напоминает ситуацию, изображенную в десятой главе I книги «Истории абдеритов» (Демокриту досаждают непрощенные гости), и подобные же эпизоды из I книги «Аристиппа», связанные с Сократом.

Сопrotивляясь, как его герой — Демокрит, попыткам отвлечь его внимание от литературных занятий, Виланд отстаивал свое достоинство выходца из третьего сословия, живущего собственным трудом, и самостоятельность своих общественных позиций. В это время Виланд — ведущий журналист Германии, издатель и деятельный участник основанного им журнала «Немецкий Меркурий» («Der Teutsche Merkur»), выходящего с 1773 г. (в 1790—1810 годах — под заглавием «Новый немецкий Меркурий»). В журнале обсуждались не только литературные, но и политические вопросы, волновавшие Европу. Виланд самым внимательным образом следил за событиями во Франции. За несколько дней до даты, поставленной в записках Карамзина, в Париже пала Бастилия. Естественно, в такое время Виланд опасался доверительных бесед с незнакомыми людьми.

²⁶ Виланд скончался в Османштедте 20 января 1813 г.

²⁷ Карамзин Н. М. Избр. соч. в двух томах, т. 1. М.—Л., 1964, с. 171. В нарисованном здесь портрете Виланда заметна разочарованность русского писателя: Карамзин мечтал увидеть «серафического» поэта, каким Виланд давно уже не был. Восторженное отношение к Виланду как к чувствительному моралисту было выражено в письме Карамзина к нему от 4 декабря 1789 г. См. мою работу: Виланд в русской литературе.— В кн.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., «Наука», 1970, с. 338—350.

Виланд много писал о французской революции. Он был убежден, что события, потрясавшие Францию и всю Европу, имеют огромное историческое значение. Он видел в них плод работы просветителей, конец ненавистной ему эпохи феодализма. Политические темы выдвинулись на передний план в виландовских «Новых разговорах богов» («Neue Göttergespräche», 1791) и в «Разговорах с глазу на глаз» («Die Gespräche unter vier Augen», 1798—1799). Казнь Людовика XVI, оттолкнувшая от революции многих ее непоследовательных приверженцев, была воспринята Виландом как исторически закономерный акт. «Я желаю добра смертным, однако бессилен против естественной необходимости,— говорит Юпитер в «Новых разговорах богов»,— и когда все причины, вызывающие великое историческое событие, достигают точки созревания и совпадения, как это произошло в нашем случае, то никаким вашим силам вкуче с моими не удержать на плечах ни одной головы, которой надлежит упасть» (XII) ²⁸.

В «Разговорах с глазу на глаз», помещенных в его журнале, Виланд первым из европейских публицистов высказал предположение, что французская революция может закончиться монархией, и назвал имя Наполеона Бонапарта. Остановившись в оккупированном Веймаре в октябре 1806 г., Наполеон, знавший о виландовском «пророчестве», дважды встречался с писателем. Отзыв Виланда о французском императоре был уважительным, но не лишенным холодноватой иронии ²⁹. Вступление наполеоновских армий в Германию Виланд решительно не одобрял.

Дом Виланда не был разорен чужеземными солдатами потому, что французы знали писателя как «немецкого Вольтера». Виланд действительно ощущал свою близость к великому современнику, которого считал зачинателем «всемирной революции в области идей» и ставил выше Лютера ³⁰. В кабинете Виланда стояла деревянная статуя Вольтера работы Гудона. Особенно перекликалась с Вольтером антицерковная тема сочинений Виланда. В романе «Пereгрин Протей» ранние христиане изображены как рядовая религиозная секта, мало отличающаяся от прочих мистических обществ. В «Агатодемоне» автор прозрачно намекал на шарлатанство христианских чудотворцев и на то, что сохраненные традицией слова Христа недостоверны. Критику христианства с просветительских позиций читатель ощутит и в «Истории абдеритов». В последнем своем произведении «Эвтамнасия, или Три разговора о жизни после смерти» («Euthamnasia, oder Drei Gespräche über das Leben nach dem Tode», 1805) Виланд подверг сомнению церковный догмат бессмертия души.

Вместе с Вольтером у литературных истоков сатиры Виланда стояли Стерн, Рабле, Свифт, а из старых сатириков — прежде всего Лукиан Само-

²⁸ Подробнее о жанре «Разговоров» см.: *Пуришев Б. И.* Виланд, с. 188—201. Часть рукописи «Разговоров с глазу на глаз» автор подарил К. Моргенштерну, профессору Дерптского университета. Таким образом, политические работы Виланда попали в пределы Российской империи при жизни писателя, минуя жестокую цензуру Екатерины II и Павла I.

²⁹ См.: *Auswahl denkwürdiger Briefe*, Bd. 1, S. 152—154.

³⁰ См.: *Literarische Zustände und Zeitgenossen*, Bd. I, S. 140.

сатский (ок. 120 — после 180 гг.)³¹. Виланд переводил послания и сатиры Горация (издавались в 1782 и 1786 годах), а в конце жизни занялся переводами комедий Аристофана. Всех этих очень различных писателей объединял в представлении Виланда талант смеха, обличающего и исправляющего недостаток человечества. В 1788—1789 гг. Виланд издал сочинения Лукиана в своем переводе. Выдающийся сатирик поздней античности, «Вольтер классической древности»³² был в годы создания романа об Абдере важным стилистическим пособием немецкого писателя. Гете говорил, что в переводах из Лукиана, сделанных Виландом, «автора и переводчика можно счесть настоящими братьями по духу»³³.

Виланд был многим обязан Лукиану в самом жанре «Разговоров», излюбленном жанре греческого сатирика. Лукиановский элемент очень силен и в «Истории абдеритов», где широко применяются стилиевые приемы этого автора — «сатирический бурлеск и ироническая насмешка»³⁴. С Лукианом связан, по-видимому, самый замысел этого произведения. Отношение Виланда к миру Древней Греции как к миру, полному противоречий и заслуживающему критики не менее, чем современная Виланду действительность, восходит также к Лукиану. Лукиан высмеял рабовладельческое общество, шедшее к своему концу. Виланд бичевал обреченную гибели Германию феодалов и обывателей, надеясь, что конец ее близок и что скоро восторжествует новое, более совершенное человеческое общество, подготовленное просветителями.

В завершающей роман главе «Ключ к истории абдеритов» Виланд полушутливо рассказал о внезапном и неожиданном для него самого зарождении сюжета этого произведения. Можно было бы увидеть здесь автобиографическое признание, если бы это место не напоминало один из пассажей «Тристрама Шенди» Стерна. «О, Слокенбергий! — начинает Стерн 36 главу III тома, — ...скажи мне, Слокенбергий, какой тайный голос и каким тоном (откуда он явился? как прозвучал в твоих ушах? — уверен ли ты, что его слышал?) — впервые тебе крикнул: — Ну же — ну, Слокенбергий! посвяти твою жизнь — пренебреги твоими развлечениями — собери все силы и способности существа твоего — не жалея трудов, сослужи службу человечеству, напиши объемистый фолиант на тему о человеческих носсах»³⁵. Стерн смеялся над ложной ученостью. Виланд пародировал в «Ключе» все более распространявшееся мнение о творчестве как гениальном наитии, цели в эстетические представления «бурных гениев». История замысла романа была не такой простой.

³¹ Виланд относил Лукиана, Рабле и Стерна к своему «настольному чтению». См. там же, т. I, с. 166.

³² Слова Ф. Энгельса (*Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.*, т. 22, с. 469).

³³ *Goethes Werke in 60 Bänden*, Bd. 36, S. 327.

³⁴ *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 126. См. также: *Steinberger J.* Lucians Einfluß auf Wieland. Göttingen, 1902.

³⁵ *Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Перевод и примечания А. А. Франковского. М.—Л., 1949, с. 223.

Замысел книги об абдеритах обдумывался долго и тщательно. Об этом свидетельствует композиция романа, представляющая собой систему концентрических кругов: от главы к главе примеры абдеритской глупости становятся все более грандиозными и зловещими³⁶. Каждая глава служит ступенью, по которой абдерская республика делает еще один шаг к своему концу. Сперва абдериты потешаются над своим земляком Демокритом, потому что он не похож на них (книга I). Затем картина их невежества расширяется: они отвергают подлинную науку в лице Гиппократы (книга II) и истинное искусство в лице Еврипида (книга III). Подобно «темным людям» Эразма Роттердамского, абдериты противостоят миру гуманизма. Их самодовольная ограниченность выглядит особенно впечатляюще в стенах театра, учреждений, которое было для немцев XVIII в. воплощением идеи единого национального демократического искусства. В театральном эпизоде глупость абдеритов обретает грозную общественную значимость. Описание судебного процесса из-за тени осла (книга IV) и рассказ о лягушках Латоны (книга V) — две широких сатирических панорамы немецкого общества в целом, каким это общество представлялось проницательному взору Виланда.

История конфликта Демокрита с его земляками привлекла внимание Виланда, по крайней мере, за несколько лет до того, как он приступил к работе над романом. Абдеритская тема упоминалась мимоходом в начале поэмы Виланда «Жизнь — сон» («Das Leben — ein Traum», 1771). Две первые книги романа увидели свет в «Немецком Меркурии» за 1774 г., потом были отдельно напечатаны в Веймаре и Бонне. В последующие годы в журнале продолжали публиковаться главы романа, пока в 1781 г. не появилось первое полное его издание, вновь переработанное автором.

В некоторых эпизодах «Истории абдеритов» содержатся намеки на реальные события. Так, театральная тема III книги была связана с попыткой Виланда поставить на сцене известного театра в Мангейме оперу на свой текст «Розамунда» («Rosemunde»); музыку написал композитор Антон Швейцер. Писатель столкнулся при этом с чиновничьей и театральной рутинной, с равнодушием аристократической публики. В письмах этого времени он называет нравы мангеймского театра абдеритскими. Веймарский ученый и литератор К. А. Беттигер вспоминал, что в разговоре с ним Виланд сравнил однажды театр в Мангейме с театром Абдеры³⁷. Предпринимались многочисленные попытки установить, кого именно подразумевал Виланд под тем или иным персонажем своего романа. Некоторые предполагаемые прототипы указываются в наших примечаниях. Можно добавить, что в фигуре Салабанды видели пародию на супругу биберахского бургомистра Хиллерна, которая решала городские дела вместо мужа. Мангеймского книгопродавца Кристиана Швана сравнивали с Гриллом и Флапсом, поскольку он подвизался в литературе,

³⁶ О композиции «Истории абдеритов» см.: Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 137.

³⁷ См.: Literarische Zustände und Zeitgenossen, Bd. I, S. 156—157. Репетиции оперы шли успешно до тех пор, пока к ним проявлялся интерес мангеймского двора. В постановке оперы участвовал молодой Моцарт, находивший в ней прекрасные места. См.: Sengle Fr. Wieland, S. 294.

и т. д.³⁸ В этих догадках была доля истины, хотя Виланд едва ли задавался целью высмеять только конкретных лиц. Он не желал, чтобы его роман считали собранием портретов современников. «Вопрос о том, какой немецкий драматический писатель скрывается под именем Гипербола, Флапса и других — это абдеритский вопрос, не достойный ответа», — писал он³⁹.

Приведенные выше слова писателя взяты из «Немецкого Меркурия». В I томе журнала за 1776 г. Виланд поместил ответ критикам, которые обвиняли автора «Истории абдеритов» в неуважении отечественных законов и обычаев, в оскорблении почтенных бюргеров. Наиболее известным из выступлений против Виланда было письмо некоего швабского бургомистра, напечатанное в журнале «Немецкий музей» («Das deutsche Museum») в начале того же года. Письмо было примечательно откровенной неприязнью ко всему, что грозит нарушить раз и навсегда заведенный порядок жизни немецкого обывателя. Жалобы автора письма на беспощадность Виланда по отношению к немецкому бюргерству можно было бы принять за искусно составленную пародию, если бы не было известно, что письмо было написано с самыми серьезными намерениями. Литератор И. Г. Шлоссер, приславший письмо в «Немецкий музей», подтвердил против своей воли, что сатира Виланда достигла цели: немецкие филистеры узнали себя в абдеритах. «Нельзя сказать «тут Абдера, там Абдера», — заявил Виланд в ответе Шлоссеру, — Абдера везде... и все мы в какой-то степени дома в Абдере»⁴⁰.

Виланд иронически отмечал, что в его «достопочтенном отечестве» во второй половине просвещенного XVIII в. можно сплошь и рядом натолкнуться на абдеритов и абдериток⁴¹. На страницах его романа рождались типы, вбивавшие в себя характерные черты эпохи и социальной среды. Это не была еще типизация, свойственная реалистической литературе позднейшего времени, однако форма иносказания, античная «одежда» романа позволяла Виланду создавать образы, современная сущность которых одновременно и подчеркивалась и прикрывалась гротескными и живыми масками абдеритов. Освобожденная от просветительской назидательности, проза Виланда готовила, с одной стороны, основу для будущего немецкого романа на современные темы и — с другой, вела к боевой политической сатире немецких демократов конца XVIII в. (Л. Векрлин, А. Книгге, Г. Ф. Ребман)⁴².

Мягкая на первый взгляд насмешка Виланда разила противника без похаха. Даже Веймар, приютивший писателя и ставший для него родным городом, не был избавлен от его сатирических стрел. Духовной ограниченности

³⁸ О связях эпизодов «Истории абдеритов» с фактами биографии Виланда см.: *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 123 и след.; *Seuffert B.* Wielands Abderiten. Berlin, 1878.

³⁹ Цит. по кн.: *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 133.

⁴⁰ Там же, с. 132. Ср. вариант этой же мысли в «Ключе к истории абдеритов».

⁴¹ См.: *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 132.

⁴² См. там же, с. 12. Виланд считал свой роман «обобщающий картиной глупостей и чудачеств всего рода человеческого, а в особенности нашей нации и нашего времени» (см. там же, с. 124). Ближайшими предшественниками Виланда в этом роде антифеодалной сатиры являлись Х. Л. Лисков (1701—1760) и Г. В. Рабенер (1714—1771), однако создатель «Истории абдеритов» намного превосходил их своим мастерством.

Виланд не прощал никому. «Глава об абдеритском театре,— писал Виланд упомянутому К. Швану в сентябре 1778 г.,— годится для Берлина и Вены, и для Гамбурга, и для Готы, и даже для Веймара»⁴³. Отвечая в июле 1776 г. композитору Глюку, обратившемуся к нему с просьбой написать либретто для лирической оперы, Виланд вынужден был отказаться от этого предложения: «Конечно, если бы мне работать подле вас, на ваших глазах, согреваясь у вашего огня, заимствуя ваше могущество над всеми силами музыки! — Но здесь, в Веймаре!»⁴⁴ В годы расцвета творчества Гете и Шиллера маленькую столицу Саксен-Веймарского герцогства величали иногда «немецкими Афинами». Заметим, что во второй главе I книги виландовского романа «вторыми Афинами» названа Абдера. Как пишет советский исследователь, Виланд обнаруживал подчас значительную прозорливость⁴⁵.

Сатирическим зеркалом немецкого бюргерства Виланд избрал Абдеру. Можно догадываться, что первоначально его натолкнули на тему романа не только древние авторы, упоминавшие этот злополучный город (они перечислены в «Предуведомлении», первой главе I книги и в примечаниях к ним). Абдера и ее жители появлялись в литературе, более близкой по времени к Виланду.

Отрывок из «Сентиментального путешествия» Стерна, где пересказывался эпизод из сочинения Лукиана «Как следует писать историю», был переведен Виландом и включен в текст двенадцатой главы III книги романа. Ранее Стерна об абдеритах вспомнил Жан Лафонтен. В басне «Демокрит и абдериты» (1678) обыгрывался анекдот, восходящий к одному из писем, приписываемых Гиппократу. В письме рассказывалось, что жители Абдеры сочли безумным своего великого земляка Демокрита, поскольку он утверждал, что вселенная бесконечна и состоит из атомов. Абдериты пригласили в город знаменитого врача Гиппократа, чтобы он излечил несчастного. Гиппократ же признал безумными самих абдеритов. Нетрудно заметить, что отсюда выросло содержание двух первых книг романа, а переданный Стерном рассказ Лукиана о трагикомическом безумии, которое охватило абдеритов после представления «Андромеды» и «Андромахи» Еврипида, лег в основу книги III. Виланд опирался, таким образом, на определенную, хотя и не очень богатую, традицию сатирической разработки темы.

Литературная история темы абдеритов имеет мало общего с подлинной историей древнего города-государства, носившего название Абдера, или Абдеры, как они названы у Геродота. Город располагался на фракийском побережье Эгейского моря, восточнее устья реки Нест (нынешняя Места, или Карасу в северной Греции) и был известен уже в глубокой древности. Кроме авторов, упомянутых Виландом, об Абдере писали Страбон, Аполлодор, Диодор. До IV в. до н. э. абдерская республика была влиятельной участницей Афинского союза. Впоследствии она страдала от нашествий с севера и востока, так как лежала на путях передвижения кочевых народов. Поселение на месте Абдеры существовало и в средние века под именем Полистили.

⁴³ Там же, с. 133.

⁴⁴ Auswahl denkwürdiger Briefe, Bd. 1, S. 317.

⁴⁵ См.: Пуришев Б. И. Виланд, с. 192.

Историческая Абдера была родиной двух выдающихся мыслителей — Демокрита и Протагора. Следовательно, культурная жизнь города должна была находиться на высоком уровне. Расцвет Абдеры совпал, очевидно, с веком Перикла в Афинах; между центром и отдаленной северной окраиной Древней Греции поддерживались культурные связи.

Немногие сохранившиеся факты биографии Демокрита свободно обыграны в романе. Согласно одной версии, Демокрит долго странствовал по Элладе и Востоку, посетил Малую Азию, Египет, Персию, Халдею. По другой версии, персидский царь Ксеркс, захвативший Абдеру, жил в богатом доме отца Демокрита и повелел своим мудрецам-магам посвятить мальчика в тайны их учения. Жители города гордились своим ученым соотечественником и, по возвращении его из странствий, собрали для него 500 талантов, что было весьма значительной суммой. Последние годы жизни Демокрит посвятил научным занятиям, отойдя от городских дел, которым прежде уделял много внимания. Ни о каких столкновениях Демокрита с горожанами историки не сообщают.

Встреча Демокрита с Гиппократом являлась, однако, вполне возможной. Современник и ровесник великого сына Абдеры, Гиппократ тоже много путешествовал, добираясь даже до далекого Дамаска. Известно, что в Афинах он успешно боролся с эпидемией чумы. С этой же целью, — а, конечно, не для того чтобы лечить Демокрита, — его могли призвать и абдерские жители. В этом случае Гиппократ и Демокрит, «первый энциклопедический ум среди греков»⁴⁶, два ученых, чтимых всеми эллинами, могли встретиться как равные приблизительно так, как описывается у Виланда.

Об истоках дурной славы абдеритов нельзя сказать ничего определенного. Отношение к ним как к чужакам зародилось, по-видимому, в античные времена. Не исключено, что начала этих насмешек содержались в древнем фольклоре. Древние греки посмеивались над обитателями различных местностей — над жителями Беотии и Аркадии, над горожанами из Ким, что в Эолии, над причудами выходцев из малоазийского города Алабанды. Существовали комические истории, связанные и с Абдерой. След одной из них сохранился в отрывке комедии Махона из Сикиона (II в.), где рассказывалось, будто в Абдере каждый житель может иметь собственного глашатая и провозглашать публично любую глупость. По всей вероятности, это была насмешка над уходящим в прошлое народным собранием. Но все же не случайно насмешка относилась именно к абдеритам. Виланд включил в роман старый анекдот о статуе богини, которую жители Абдеры поместили на такой высокой колонне, что снизу невозможно было ничего рассмотреть (I, 1). Абдеру и «абдеритство» упоминал Цицерон, критикуя порядки, принятые в сенате Рима. О глупости абдеритов писали Овидий и Марциал⁴⁷. Строки из Лукиана и Ювенала, посвященные Абдере, приведены у Виланда.

⁴⁶ Слова К. Маркса из «Немецкой идеологии» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 126).

⁴⁷ О теме Абдеры в литературе см.: Hermann K. F. Gesammelte Abhandlungen und Beiträge zur klassischen Literatur und Altertumswissenschaft. Göttingen, 1849, S. 90—112.

Тема абдеритской глупости соединилась в романе Виланда с мотивами немецкого фольклора, типологически близкими ей. В первой же главе писатель сравнил абдеритов с шильдбургерами, обитателями вымышленного «города дураков» — Шильды. Не забыл он и подобных же персонажей швейцарского фольклора — жителей анекдотического Лаленбурга. Сборники комических историй-шванков о шильдбургерах и лаленбургцах появились с конца XVI столетия в виде народных книг⁴⁸. Народные книги давали материал для сатирической литературы еще до Виланда. К ним обращались крупнейшие немецкие сатирики XVII в. Г. Я. К. Гриммельсгаузен и Г. М. Мошерош⁴⁹. Тема шильдбургеров появилась в написанной Г. В. Рабенером вымышленной деревенской хронике (1742).

Если обратиться к русской литературе, то и в ней обнаруживается преемственность между народным рассказом-анекдотом и литературной сатирической хроникой. «Анекдоты древних пошехонцев», изданные в Петербурге в 1798 г., послужили одним из источников для «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. На фольклор опирался и великий автор «Истории села Горюхина»⁵⁰.

Сопоставление «Истории абдеритов» с «Историями» Пушкина и Щедрина помогает получить представление о месте виландовского романа в развитии европейских литератур. Сатирические хроники русских писателей-реалистов превосходят роман Виланда точностью и глубиной социального обличения. Но у всех этих произведений общий источник — народная сатира, точка зрения народных масс на несправедливости общественного устройства. «История абдеритов» явилась просветительским вариантом той демократической литературной традиции, которая шла от фольклора к критическому реализму XIX в., к Пушкину, Щедрину, Анатолю Франсу.

Связь с народным анекдотом и близкой к нему басней о животных особенно заметна в двух последних книгах «Истории абдеритов». Сюжет тяжбы из-за ослиной тени мог быть подсказан сатирическими произведениями Апулея (II в.) и Лукиана, где пресловутое животное выступало в подобных же трагикомических ролях. Но у Виланда отчетливее виден иносказательный, басенный смысл истории об осле. Тяжба из-за ослиной тени не просто иллюстрирует глупость абдеритов. Она становится развернутой метафорой, при помощи которой писатель показывает полную нелепость и деградацию абдеритского общества. В лягушачьей «эпосе» V книги проступают черты животного эпоса, античной «Батрахомиахии», поэмы о войне мышей и лягушек (упомянутой, кстати, в девятой главе I книги романа). Но Виланд опирался и на немецкую народную традицию осмеивания человеческих пороков под масками зверей. Интерес литераторов к народной животной сказке в эту эпоху подтверждается созданием в 1794 г. поэмы Гете «Рейнеке Лис», возник-

⁴⁸ Об этом жанре см. статью Ф. Энгельса «Немецкие народные книги» (*Маркс К. и Энгельс Ф.* Из ранних произведений. М., 1956, с. 344—352).

⁴⁹ В письме к Ф. Ю. Риделю от 26 октября 1768 г. Виланд записал имя Мошероша рядом с именем Рабле и своим собственным (*Auswahl denkwürdiger Briefe*, Bd. 1, S. 219).

⁵⁰ См.: *Сиповский В. В.* К литературной истории «Истории села Горюхина» [sic!]. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. 4. СПб., 1906, с. 47—58.

шей на основе народного животного эпоса. Виланд умело пользовался такими сатирическими приемами, как употребление значащих имен, пародирование судебных разбирательств, философских диспутов, церковной службы. Эти черты стиля связывают «Историю абдеритов» с многовековой традицией демократической литературы.

Антицерковная сатира, столь широко и изобретательно развернутая в романе Виланда, одинаково характерна как для гуманистической литературы, так и для фольклора Германии. В рассказе о нашествии лягушек читатель, даже если он не был знаком с античной литературой, мог без труда угадать намек на засилье церкви, особенно католической⁵¹. Впрочем, Виланд относился с одинаковой неприязнью и к католическим и к протестантским церковникам — это видно в романе достаточно отчетливо. Портреты главных жрецов двух соперничающих между собой абдерских храмов, очерченные Виландом в шестой главе IV книги, страшные в своей реальности, выходят за рамки прежних обличений церкви. Эта сатира перестает быть только антицерковной, она почти уже антирелигиозна.

Позиция, с которой Виланд выступал обличителем нравственного убожества и политического застоя в Германии XVIII в., была в общих чертах намечена нами выше, в связи с его романами «История Агатона» и «Золотое зеркало». Однако роман об абдеритах дополнил ее новыми, существенными чертами, каких мы не найдем, пожалуй, больше ни в одном произведении этого писателя.

В «Истории абдеритов» присутствует тема народа, народной массы, так или иначе воздействующей на ход событий. Известно, что деятели Просвещения относились к народу настороженно. Виланд не был исключением из общего правила, предостерегая читателей в двенадцатой главе IV книги от «ярости зверя», разрывающего свои пути. Но отношение Виланда к народу имело свой оттенок, которого не было, например, у Шиллера, осудившего в «Песни о колоколе» (1799) всякое революционное насилие. Разумеется, народ и для Виланда оставался наивной толпой, действующей под влиянием минутных настроений. Тем не менее писатель считал, что следует внимательнее присмотреться к причинам, толкающим народ к возмущению. Вспомним, как толпа, устремившись на площадь Абдеры, заставляет трепетать нерешительных и неразумных правителей города, не знающих, как спасти республику от бед (V, 10). Признавая необходимость сословного деления общества, Виланд задумывался над тем, справедливо ли это с точки зрения просветительского гуманизма. «Вообще говоря, удивительное дело — эти разные сословия и виды занятий в человеческом обществе, — писал он одной из своих корреспонденток. — Если посмотреть внимательнее, то увидишь, что находящиеся в самом низу и самые пренебрегаемые — это как раз и есть те, от кого главным образом зависит все в целом»⁵².

⁵¹ Виланд принимал участие в издании сатирических «Писем о монашестве» (Цюрих, 1787), в которых монахи изображались в виде «толстых лягушек» (см.: *Троцкая М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 143). Монахи высмеяны в «Золотом зеркале» (ч. I, гл. 6).

⁵² *Auswahl denkwürdiger Briefe*, Bd. 1, S. 137—138.

Народ Абдеры изображен в романе общими чертами, дифференциации его характеров от Виланда еще нельзя ожидать. Все же едва ли мастер Пфрим, старшина цеха сапожников и зубных лекарей, был для автора подлинным предводителем и представителем «находящихся в самом низу». Виланд не пожалел сатирических красок для портрета этого воинствующего филистера и демагога. Можно догадываться, что в сознании писателя уже намечалось какое-то разделение между самодовольным бюргером, абдеритом в полном смысле этого слова, и тружениками, стоящими ниже его на социальной лестнице. Но этот оттенок в «Истории абдеритов» лишь чуть намечен.

Народная стихия и затхлое обывательское болото представлялись Виланду Сциллой и Харибдой, между которыми лежал путь развития общества. Единственной возможностью прогресса оставалось в таком случае нравственное совершенствование каждой отдельной личности. Идею нравственного самосовершенствования разрабатывали Лессинг и его последователи — Гердер, Гете, Шиллер. Она была знакома немецкой философии (Кант, Фихте). Но Виланд и ей придал свое особое истолкование.

Воспитание общества зависело, по мнению Виланда, от деятельности людей, достигших душевной гармонии и сумевших подняться над уровнем обывательского сознания. Таков путь виландовских героев — Агатона, Диогена и Аристиппа, таковы Демокрит и Гиппократ в «Истории абдеритов». Но Виланд не удовлетворялся тем, что показывал читателям достоинства этих «прекрасных душ». Его герои деятельны, активно вторгаются в общественную жизнь. В их поведении отразились черты характера самого писателя, постоянно искавшего способов практического влияния на окружающий мир. В «Истории абдеритов» Виланд отстаивал мысль о необходимости объединения выдающихся людей, для того чтобы они могли успешнее противостоять косному обществу и с большей уверенностью бороться за его просвещение и переустройство. Идею создания своего рода «республики ученых», возникшую еще в древности, у Платона, пропагандировали Клопшток (в проекте академии наук, поданном Иосифу II в 1768 г.)⁵³ и Лессинг (в диалоге «Эрнст и Фальк», 1778—1780 гг.). Виланд придал этому просветительскому проекту художественную форму: его Демокрит и Гиппократ сразу узнают друг в друге единомышленников. Демокриту ближе приезжий ученый, чем собственные соотечественники. Ему, точно так же, как и Гиппократу, глубоко чужд ограниченный местный «патриотизм» жителей Абдеры. Иронизируя над приверженностью абдеритов нелепым местным обычаям, Виланд отнюдь не отрицал значения любви к родине. Напротив, его идея объединения философов и ученых из разных греческих государств (Виланд имел в виду, конечно, германские государства своего времени) являлась, в сущности, глубоко патриотической идеей, так как была направлена против наследия феодального средневековья — культурной отсталости и политической раздробленности Германии. Объединение гуманистов, болеющих за судьбу всего человечества, было противопоставлено в романе Виланда немецкому провинциализ-

⁵³ См. об этом: Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX веков из ленинградских рукописных собраний. Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 157—160.

му, этому абдеритскому, буржуазно-мещанскому началу, широкое распространение которого автор с такой язвительностью описал в «Ключе» к роману.

Гуманистические и демократические принципы мировоззрения Виланда скрыто присутствуют даже в самых сатирических эпизодах «Истории абдеритов». Иногда они как бы прорываются на поверхность, при этом писатель рискует впасть в противоречие с нарисованной им же самим картиной абдеритской глупости, однако не может упустить повода, позволяющего сообщить читателю некоторые принципиальные авторские мысли. Так, в театральном безумии абдеритов есть трогательная черта увлеченности театром, изображенная с явным сочувствием. Виланд подробно и совершенно серьезно рассуждает о том, как действует на зрителя вдохновенная игра актеров⁵⁴. В другом месте романа он заставляет Демокрита читать абдерским жителям целые лекции о шекспировском театре (I, 8). Древнегреческий философ защищает у Виланда новейший для XVIII в. принцип относительности, национальной обусловленности прекрасного (I, 4). Убеждая абдеритов, что эстетические представления эфиопов столь же правомерны, как и представления европейцев, Демокрит перекликается с Гердером, страстным защитником идеи равноценности национальных культур⁵⁵. Виланд в зародыше отвергает весьма свойственную абдеритскому образу мыслей склонность пренебрежительно относиться к другим народам.

Много внимания уделено в «Истории абдеритов» педагогике как сфере практического применения просветительской философии. В замечаниях Виланда о способах воспитания человека оптимизм писателя-гуманиста борется со скепсисом педагога-практика, не раз видевшего бесплодность самых благородных педагогических начинаний. Виланд смеялся над «физиогномикой» швейцарца Лафатера, пытавшегося из особенностей внешнего облика делать выводы о природных задатках людей. Порицая тех, кто в изучении человеческой личности ставил чувство и интуитивное начало выше разума, Виланд вообще отвергал руссоистскую педагогику, которая добивалась свободного, естественного развития человека. Последняя глава романа (V, 10) оканчивалась саркастическим выпадом против «педагогических сочинений, которыми нас так щедро одаривают вот уже в течение двадцати лет», т. е. против «Эмilia» Руссо (1761) и работ педагогов-русоистов Базедова⁵⁶ и Песталоцци. В споре с новым педагогическим течением, так же как и в полемике со штурмерами, Виланд не всегда улавливал передовые идеи. Но все же для его скептицизма, как мы видели, имелись основания. В феодально-мещанском, «абдеритском» обществе самые прогрессивные начинания вырождались в свою противоположность. Подобно тому как новаторство «бурных гениев» выродилось там в пошлую драматургию Августа Коцебу, учение Руссо, Базе-

⁵⁴ Анализ этого эпизода см.: *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 135.

⁵⁵ См.: *Dinkel H.* Herder und Wieland. München, 1959.

⁵⁶ В одном из писем к писательнице Софии Ларош Виланд издевался над «филантропическим бесом воспитания», намекая на основанное Иоганном Бернгардом Базедовым в 1774 г. училище «Филантропий». См.: *Auswahl denkwürdiger Briefe*, Bd. 1, S. 160.

дова и Песталоцци искажилось в мертвой дидактике закрытых привилегированных пансионеров и причудах частных гувернеров.

Роман Виланда завершается примечательным суждением, в котором выражается, несмотря ни на что, надежда на лучшее будущее человечества, когда «никто уже больше не будет походить на абдеритов». «Это время уже скоро наступит,— говорит писатель,— если только дети первого поколения девятнадцатого века будут настолько же мудрыми, насколько считали себя таковыми дети последнего четверти восемнадцатого века по сравнению с мужами века предыдущего...». Последовавшие вскоре революционные события в Европе придали еще больше весомости этим словам.

* * *

Судьба «Истории абдеритов» в немецкой литературе позднейшего времени не похожа на шумный триумф. О романе упоминали с известной осторожностью: его «взрывная сила» внушала уважение и подчас опасение. Но произведение продолжает жить и сегодня. К нему обращались в своем творчестве Генрих Гейне и Готфрид Келлер⁵⁷. Эпизоды из романа неоднократно инсценировались — вплоть до современной радиопьесы Ф. Дюрренматта «Процесс из-за тени осла. (По Виланду, но не очень)»⁵⁸. Об «Истории абдеритов» говорил Гете в речи, произнесенной в веймарской масонской ложе после похорон Виланда. Правда, он поостерегся называть роман перед чопорной публикой, но смысл его слов был ясен. Виланд, сказал Гете, «восстал против всего, что мы привыкли понимать под словом «филистерство», против косного педантизма, провинциализма, жалкой внешней благопристойности, ограниченной критики, притворной скромности, пошлого уюта, заносчивого самомнения и всех прочих злых духов, которым имя легион»⁵⁹.

В России имя Виланда было хорошо известно читателям XVIII в. В 90-х годах почти одновременно появились два полных перевода «Истории абдеритов»: один — в Москве в 1793—1795 гг., другой — в Калуге, подальше от недреманного ока цензоров Екатерины II, под любопытным заглавием «Зеркало для всех, или Забавная повесть о древних абдеранцах, в которых всякая знакомых без колдовства увидеть может. Переведена с того языка, на котором писана» (1795). Переводчиком этого издания был писатель-демократ В. А. Лёвшин, тонко уловивший социальную направленность сатиры Виланда. Третий перевод был опубликован также в Москве в двух частях, одна из которых увидела свет в 1832, а другая — лишь в 1840 г., вероятно, из-за цензурных препятствий. Публицистика и сатира Виланда находили понимание в кругах русских вольнодумцев⁶⁰. В 1815 г. в Петербурге издавался сатири-

⁵⁷ См.: *Тронская М. Л.* Немецкая сатира эпохи Просвещения, с. 145. Исследователь творчества Виланда Ф. Зенгле отмечал, что в 1949 г. власти препятствовали распространению романа в Западной Германии. См.: *Sengle Fr. Wieland, S. 333.*

⁵⁸ Перевод см.: *Звезда*, № 4, с. 107—125.

⁵⁹ *Goethes Werke in 60 Bänden, Bd. 36, S. 322.*

⁶⁰ Напротив, издания Виланда вызывали неприязнь официальных инстанций. Мотивируя в 1798 г. запрещение журнала «Новый немецкий Меркурий», цензор писал, что издатель «защищает крамольников французских с едкими выражениями противу правления монархического» (ЦГИАЛ, оп. 1, д. № 193, л. 162 об.).

ческий журнал «Демокрит», названный по герою виландовского романа. «История абдеритов» оказалась вовлеченной в полемику, развернувшуюся в 1825 г. вокруг комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Чацкого сравнивали с Демокритом, а московское светское общество — с обитателями Абдеры⁶¹. После Великой Октябрьской социалистической революции в издательстве «Academia» был подготовлен трехтомник сочинений Виланда в новых переводах. Он не увидел света из-за того, что вскоре после его завершения началась Великая Отечественная война. Отрывки из «Истории абдеритов» в переводе И. В. Волевич были включены в «Хрестоматию по западноевропейской литературе» (1938).

Интерес к творчеству Виланда особенно велик в Германской Демократической Республике. Там издается академическое полное собрание сочинений и переводов писателя, его огромная переписка.

Не все в обширном наследии Виланда может сегодня живо заинтересовать читателя. Однако среди произведений этого автора есть такие, которые безусловно заслуживают нашего внимания. Прежде всего это — «История абдеритов». Роман Виланда не устарел до сих пор и не устареет, пока не исчезнет из мира общество классового неравенства, социальной несправедливости — буржуазное общество, со своим верным спутником — косной обывательщиной. Закончим статью пророческими словами создателя «Истории абдеритов»:

«Судьба моя, наверное, всегда будет такой — меня станут либо слишком уж хвалить, либо отвергать слишком сердито. Хорошо еще, что ни за то, ни за другое мне отвечать не придется. Среди потомков, да и среди современников, я надеюсь обрести друзей, которые поймут, чего собственно я добивался, и осознают разумом, ощутят сердцем глубокое родство со мной. Это будет означать, что влияние мое на потомство сохранится; и если это влияние станет помогать, а не препятствовать распространению гуманности, то у меня могли бы иметься все основания быть довольным»⁶².

Произведения Виланда продолжают и сегодня выполнять свою гуманистическую задачу.

⁶¹ См. в моей работе: Виланд в русской литературе, с. 358—359.

⁶² Цит. по кн.: *Bock W. Die ästhetischen Anschauungen Wielands. Berlin, 1921, S. 5.*



ПРИМЕЧАНИЯ

Перевод осуществлен по изданию: Wielands Werke, hrsg. von H. Kurz. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe, dritter Band. Leipzig — Wien, Bibliographisches Institut, o. J., — сверенному с текстами изданий: Wielands Werke, dritter Teil, «Geschichte der Abderiten», hrsg. von H. Pröhle (Deutsche National-Literatur, Bd. 53). Berlin — Stuttgart, o. J.; Wielands Werke in vier Bänden, Bd. I. Berlin — Weimar, Aufbau-Verlag, 1969.

Русские переводы романа: История абдеритов, сочиненная Виландом. Переведена с немецкого М. Г. Часть 1, 2. М., 1793, 1795; Зеркало для всех, или Забавная повесть о древних абдеранцах, в которых всяк знакомых без колдунства увидеть может. Переведена с того языка, на котором писана. Часть 1, 2. Калуга, 1795; Абдеритяне. Сочинение Виланда. Перевод с немецкого Н. Баталина. Часть 1, 2. М., 1832, 1840.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

...в произведениях Геродота... Солина и прочиз... — Виланд перечисляет античных авторов, упоминавших о городе Абдере (об основании города см. I кн. романа и прим. к ней): Геродот (ок. 484 — ок. 425 гг. до н. э.); Диоген Лаэртский (III в.) — греческий автор «Жизнеописаний и мнений знаменитых философов»; Афиней (конец II — начало III в.) — греческий ритор и грамматик, автор сочинения «Пир софистов»; Клавдий Элиан (III в.) — греко-римский автор сборника «Пестрые рассказы»; Плутарх (46 — после 127) — составитель «Сравнительных жизнеописаний»; Лукиан Самосатский (ок. 120 — после 180) — крупнейший греческий сатирик; Палефат (III в. до н. э.) — греческий автор сочинения «О невероятном»; Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.); Квинт Гораций Флакк (65—8 гг. до н. э.); Петрокий (I в.) — автор романа «Сатириков»; Ювенал (ок. 160 — после 127 гг. до н. э.); Валерий — вероятно, римлянин Валерий Максим (I в.) — автор собрания исторических анекдотов в девяти книгах; Авл Геллий (II в.) — римский автор «Аттических ночей», сборника сведений из истории римской и греческой литературы; Кай Юлий Солин (III в.) — римский писатель, составивший историко-географическое «Собрание достопамятных вещей», известное позже под названием «Полигистор».

² ...из статей Абдера и Демокрит в словаре Бейля... — Исторический и критический словарь французского философа Пьера Бейля (1647—1706) был одним из основных источников, которыми пользовался Виланд, собирая фактический материал для своего романа. Об образе Демокрита (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.) в романе см. статью, с. 238.

³ ...правдивых историй в духе Лукиана... — Этому сатирику принадлежит «Правдивая история» — пародия на описания путешествий, оказавшая влияние на позднейшую сатирическую литературу, в частности, на сочинения Ф. Рабле и Дж. Свифта.

...всех амфикионов... бакалавров... — комическое перечисление античных административных должностей и современных Виланду ученых степеней. Амфикион, ареопagit — судьи в Древней Греции; децемвир, центумвир — римские чиновники,

соответственно члены советов «десяти» и «ста»; *дуцентумвир* — член «совета двухсот».

- ⁵ *Прекрасная Мелузина* — волшебница, героиня средневековой легенды и одноименной немецкой народной книги XVI в.
⁶ *Д'Онуа Мари-Катрин* (1650—1705) — французская писательница, обратившаяся одновременно с Ш. Перро к жанру литературной сказки. Популярны в свое время «Сказки о феях» д'Онуа отличались, однако, манерностью и дидактизмом.

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

- ¹ *Бистонская Фракия* — по названию фракийского племени бистонов.
² ...в пору Тридцать первой олимпиады. — Имеются в виду 650-е годы до н. э.
³ ...его самого скормил коньям Геракл. — Виланд пересказывает легенду о конях Диомеда из цикла мифов о Геракле.
⁴ *Кир* (558—529 гг. до н. э.) — царь Персии, вторгшийся в Малую Азию в 540-х годах до н. э., т. е. в период 59-й олимпиады, по древнегреческому летосчислению.
⁵ ...какому-нибудь Салмазию, Барнсу... — *Салмазий*, или де Сомез, Клод (1588—1653) — французский филолог, историк и юрист; *Барнс* Джошуа (1637—1712) — эллинист из Кембриджа, издатель Анакреонта.
⁶ ...историю о богемском короле... или повести трех календеров? — Некая «История о богемском короле» несколько раз начинается в романе Л. Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», но не имеет продолжения. «Повести трех календеров» — подзаголовок романа Виланда «История мудрого Давишменда» (1775); *календеры* — дервиши.
⁷ *Нелей, сын Кодра* — т. е. сын последнего царя Афин; сыновья Кодра, изгнанные афинянами, основали, по преданию, греческие колонии в Малой Азии.
⁸ *Милетские сказки* (или рассказы) — ранний вид греческой прозы, получивший название по не дошедшему до нас сборнику любовных новелл Аристида из Милета (II в. до н. э.).
⁹ Из Ионии происходили... *Алкей*, ...*Сапфо*, ...*Анакреонт*, ...*Аспасия*, ...*Апеллес*... — Поэт *Алкей* и поэтесса *Сапфо* (VI в. до н. э.) происходили с острова Лесбоса, населенного греческим племенем иония; *Анакреонт*, их современник, был уроженцем ионийского города Теоса; живописец *Апеллес* (IV в. до н. э.) родился в ионийском городе Колофоне; жена Перикла *Аспасия* была родом из Милета (V в. до н. э.).
¹⁰ ...воспел в Абдере фракийскую девушку. — Виланд имеет в виду стихотворение Анакреонта, известное у нас по переводу А. С. Пушкина («Кобылица молодая...»); посещал ли Анакреонт Фракию и Абдери — неизвестно.
¹¹ ...и превратились в истинных баранов... — В сатире, на которую ссылается Виланд, Ювенал назвал Абдери «бараньей страной».
¹² ...шилльдбургеров, а у швейцарцев — *малебургеров*. — Имеются в виду персонажи немецкой народной книги о глупцах, жители некоего города Шильды, а также созданные швейцарским фольклором жители города Лале(н)бурга, соответствующие русским «пошехонцам». О связи замысла «Истории абдеритов» с немецкими народными книгами см. статью, с. 239. Понятия «абдерит», «абдеритский» стали у Виланда такими же нарицательными обозначениями глупцов, как и слово «шилльдбургер». В тех случаях, когда Абдера упоминается в романе как географическое понятие, в переводе употреблено прилагательное «абдерский».
¹³ *Пракситель* (IV в. до н. э.) — великий древнегреческий скульптор.
¹⁴ ...охарактеризовать их ярче, чем следующее происшествие. — Рассказ о трагикомическом конце Абдеры развернут в последних главах романа (кн. V). Виланд опирается на свидетельство римского историка Марка Юстина (II в.), сохранившего выписки из утраченной «Всеобщей истории» Трога Помпея (I в. до н. э.). Согласно этому источнику, после того как жители Абдеры покинули свой город, македонский царь *Кассандр* (IV в. до н. э.) разрешил им поселиться на его землях.

- ¹⁵ *Герания* — город во Фракии, название которого восходит к греческому слову «геранос» (журавль).
- ¹⁶ «*Брекекек, коакс, коакс*» — подражание крику лягушек, заимствованное из комедии Аристофана «Лягушки» (405 г. до н. э.).

Глава вторая

- ¹ ...*рождался великий человек*. — Виланд пересказывает то место из сатиры *Ювенала* (X, 49 — 50), где говорится о Демокрите:

...величайшие люди, пример подающие многим,
 Могут в бараньей стране и под небом турманым родиться.

(Перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского).

- ² ...*в По в Беарне*. — Виланд перечисляет знаменитых людей древнего и средневекового мира — древнегреческого поэта *Пиндара* (518—452 г. до н. э.), древнегреческого полководца *Эпаминонда* (420—362 г. до н. э.), *Аристотеля* (384—322 г. до н. э.), *Вергилия* (70—19 г. до н. э.), средневекового ученого-схоласта *Альберта Великого* (собственно, граф Больштедт, 1193—1280), *Мартина Лютера* (1483—1546), римского папу *Сикста V* (1521—1590), сына крестьянина. *Один из самых превосходных королей* — французский король Генрих IV (1588—1610), которого просветители, и Виланд в их числе, считали идеалом просвещенного монарха.
- ³ *Ликург* — полулегендарный царь Спарты; «Законы Ликурга» строго регламентировали правила вступления в брак и воспитания детей, вплоть до умерщвления новорожденных, признанных недостаточно здоровыми.
- ⁴ *Звезду... с рожденья* — Гораций, «Послания», II, 2, 187 (перевод Н. С. Гинцбурга).
- ⁵ ...*с величайшими представителями своей профессии*. — *Протагор* (480—411 г. до н. э.) — философ, развивавший формальную сторону ранней диалектики, основоположник софистики, был уроженцем Абдеры. В примечании Виланда названы крупные софисты V в. до н. э., из которых *Гиппий* стал действующим лицом его романов «История Агатона» (1773) и «Аристипп и некоторые из его современников» (1801).
- ⁶ *Калокагатия* — одно из основных понятий древнегреческой эстетики и этики, изменявшее свой смысл на протяжении длительной истории античных философских учений. Сократ (469—399 г. до н. э.) и его ученики Платон (427—347 г. до н. э.) и Ксенофонт (ок. 430 — 354 г. до н. э.) понимали калокагатию как гармонию внешнего и внутреннего в человеке. Аристотель (384—322 г. до н. э.) в «Этике» развил это представление, объясняя калокагатию как цельность человеческой личности и величие души. В своем истолковании античного термина как обозначения внутреннего благородства, совершенства нравственных качеств и эстетического чувства Виланд в значительной степени опирался на мнение английского философа Э. Шефтсбери, который переосмыслил калокагатию в духе прогрессивных идей Просвещения как цель нравственного самосовершенствования человека. См. статью, с. 225—226.
- ...*афиняне времен Платона и Менандра*... — т. е. периода наивысшего расцвета Афин в V—IV вв. до н. э.; *Менандр* (ок. 342—292 г. до н. э.) — афинский комедиограф, отличавшийся тонким психологизмом и изяществом стиля.
- ⁸ *Латона* (Лето) (греч. миф.) — мать Аполлона (Феба) и Дианы (Артемиды).
- ⁹ *Одеон* — здание для музыкальных состязаний в Афинах, послужившее образцом для аналогичной постройки в Абдере.
- ¹⁰ *Фетховальный зал украшам...* картины... — Виланд ссылается на труд итальянского филолога Целия Родогина (Родигина) «Античные чтения» (1516), где передавалась легенда о простакях из малоазийского города Алабанда.
- ¹¹ *Вакханты* (рим. миф.) — спутники бога вина и веселья Вакха (Диониса).
- ¹² *Архонт* — старейшина, высшее должностное лицо в греческом полисе.
- ¹³ ...*позор Венеры, пойманной вместе с любовником в сеть Вулкана*... — Комический эпизод из VIII книги «Одиссеи»: ревнивый супруг Венеры (Афродиты) бог-кузнец

- Вулкан (Гефест) накидывает сделанную им железную сеть на свою жену и ее возлюбленного Марса (Ареса).
- ¹⁴ *Фокион* (IV в. до н. э.) — афинский полководец, отличавшийся суровостью права.
- ¹⁵ *Лисимах* (IV в. до н. э.) — военачальник Александра Македонского и затем царь Фракии.
- ¹⁶ *Орфический культ* — религиозные обряды мистической секты орфиков, возникшей в VII в. до н. э.; легендарным основателем культа считался певец и музыкант Орфей, обладавший волшебной силой (первоначально, по-видимому, местное божество или мифический герой фракийцев).
- ¹⁷ *...руководствовались... теориями... Орфея, Пифагора, Платона.* — В учении Пифагора (ок. 571—497 гг. до н. э.) и его школы наряду с математикой и астрономией играли определенную роль ранние представления о теории музыки и о связи музыки и математики. Строго избирательное отношение к музыке, выразившееся в сочинении Платона «Государство» (Виланд ссылается на парижское издание 1578 г.), автор «Истории абдеритов» считает такой же велепой крайностью, как и музыкальные пристрастия абдеритов. Тема музыки, неоднократно возникающая в романе, связана с современными Виланду дискуссиями о дальнейших путях развития этого искусства: в 70-х годах XVIII в. Х. В. Глюк, которого Виланд высоко ценил, осуществлял в Париже реформу оперной музыки.
- ¹⁸ *...вместе с ионийскими и лидийскими созвучиями.* — Лидийский лад древнегреческой музыки соответствовал гамме до-мажор; ионийский лад — позднее название той же гаммы.
- ¹⁹ *...звучали как уличные песенки.* — Виланд имеет в виду распространенную в его время так называемую «уличную» песню-балладу большей частью юмористического содержания; сравнение церковной музыки с «уличными песенками» нацелено, по всей вероятности, против католического богослужения. Ниже высмеивается также итальянская традиция пения, ее формальные, не соответствующие содержанию приемы.
- ²⁰ *...изречением на вратах Дельфийского храма.* — Надпись над входом в храм Аполлона в Дельфах, заключавшая в себе, по преданию, всю мудрость древних и приписываемая Солону (ок. 640 — ок. 558), гласила: «Познай самого себя».
- ²¹ *Гельвеций* Клод-Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист, утверждавший в трактате «Об уме» (1758), что человеком управляет эгоистический интерес. Виланд в сатирических целях упрощает эту мысль, но обращение писателя к идеям современного ему французского материализма примечательно.

Глава третья

- ¹ *Демокриту... было около двадцати лет.* — Биография Демокрита малоизвестна и изложена в романе вольно. См. статью, с. 238.
- ² *Лаис* — знаменитая гетера из Коринфа.
- ³ *Улисс* — Одиссей.
- ⁴ *Павсаний* (II в.) — писатель и географ, автор «Описания Эллады».
- ⁵ *Соландер* Даниэль (1736—1781) — датский естествоиспытатель и путешественник, живший в Англии.
- ⁶ *...человека во всей его нагоде.* — Иронический намек на учение Ж.-Ж. Руссо о нравственном совершенстве «естественного», не затронутого цивилизацией человека; Виланд был противником этой идеи. См. статью, с. 226.
- ⁷ *Серес* — древнегреческое название Западного Китая.
- ⁸ *...до плесени аркадского сыра.* — Пастушеской Аркадии, области на полуострове Пелопоннесе, Виланд уподобляет Швейцарию с ее знаменитыми сырами.
- ⁹ *...он им расскажет о великанах.* — Далее перечисляются фантастические существа и народы в духе античных и средневековых представлений об отдаленных землях; Виланд опирается также на «Правдивую историю» Луккиана.
- ¹⁰ *Страна гарамантов* — древняя Ливия.
- ¹¹ *Плиний Старший* (23—79 гг. н. э.) — римский писатель.

- ¹² Помпоний Мела (I в. до н. э.) — римский географ. О *Солине* см. прим. 1 к «Предупеждению».
- ¹³ ...с большими глазами Юноны... — т. е. с глазами, как у коровы (ироническое переосмысление гомеровского эпитета Юноны-Геры «волокоая»).

Глава четвертая

...цветы Амура и Цитереи... — т. е. розы; Цитерея — одно из наименований Афродиты, по названию острова Цитеры (Киферы), который считался местом пребывания богини.

- ² ...пальцы Авроры — розовые? — Гомеровские характеристики богини утренней зари Авроры (Эос) — «с перстами пурпурными», Юноны (Геры) — «лилейнораменная», морской нимфы Фетиды — «среброногая».
- ³ Дочь Леды — спартанская царица Елена, из-за которой началась, по преданию, Троянская война; Елена была дочерью Зевса и смертной женщины.
- ⁴ Церера (рим. миф.) — богиня земледелия и плодородия, соответствующая греческой Деметре.
- ⁵ ...отражается прекрасная душа... — Понятие «прекрасной души» как природной склонности к добру и предрасположенности к нравственному совершенствованию было в немецкой литературе впервые разработано Виландом (в романе «История Агатона»). Писатель опирался при этом на античную этику и на моралистическое учение Э. Шефтсбери. См. статью, с. 225—226.
- ⁶ Парменид (V в. до н. э.) — философ из италийского города Элен, заложивший основы идеалистического представления о действительности как об иллюзии. Демокрит говорит в этом месте романа не об иллюзорности, а об относительности прекрасного, поэтому его оппонент упоминает Парменида невпопад.
- ⁷ ...в ней видели красавицу. — В юмористической форме Виланд затрагивает один из важных вопросов немецкой просветительской эстетики — об относительности понятий прекрасного и вкуса.
- ⁸ ...Ахилл не может догнать улитку. — Виланд заставляет советника сомневаться в истинах, очевидных для образованного читателя XVIII в., показывая историческую ограниченность так называемого «здравого смысла». В реплике советника содержатся спорные для древних астрономические гипотезы Анаксагора (500—428 гг. до н. э.) и его же утверждение, что «снег черен», выдвинутое с тем, чтобы доказать обманчивость органов чувств; приведена также известная апория (парадокс) софиста Зенона (V в. до н. э.), будто быстроногий Ахилл никогда не сможет догнать черепаху (у Виланда — улитку).
- Антистрепсиад — т. е. «противоположный Стрепсиаду»; персонаж комедии Аристофана «Облака» (423 г. до н. э.) Стрепсиад отличался здравым смыслом.

Глава пятая

- ¹ Минос, Эак, Радамант (греч. миф.) — сыновья Зевса, славившиеся справедливостью и за это сделанные судьями в царстве мертвых.
- ² Хогарт Уильям (1697—1764) — выдающийся английский художник и теоретик искусства; гравюры Хогарта, изображавшие быт современного ему общества, соединяли в себе реализм и беспощадную сатиру.

Глава шестая

...fille d'honneur царицы Савской. — Соединение французского названия придворной должности (фрейлина) и библейского персонажа (правительница страны Савы в Аравии, упоминаемая в Первой книге царств, гл. X) создают юмористический эффект, родственные будущему стилю Г. Гейне.

- ² Лоанга (или Лоанго) — местность в Западной Африке к северу от устья реки Конго.

Глава седьмая

- ¹ *Аттицизм* — в узком смысле, литературный стиль древнегреческих авторов, писавших на афинском (аттическом) диалекте, который считался наиболее «чистым» диалектом в Элладе; Виланд имеет в виду вообще высокую цивилизованность жителей Афиц, которой безуспешно стремятся подражать абдериты (намек на французоманию в немецком языке и культуре XVIII в.).
- ² *...будто везде... живут лишь черти, привидения и чудовища...* — Во времена Виланда границы Японии были закрыты для внешних сношений; упоминание японцев в романе на античную тему — намеренный анахронизм, один из приемов виландовского юмора.
- ³ *...фреску, изображавшую возвращение Хрисеиды...* — Имеется в виду эпизод, образующий завязку действия «Илиады»: ахейцы похищают дочь Хриса, жреца храма Аполлона, разгневанный бог вынуждает их вернуть Хрисеиду отцу.
- ⁴ *Физиognат* (греч.) — «толстощекий».
- ⁵ *Паросский мрамор* — т. е. мрамор из знаменитых каменоломен на острове Паросе в Эгейском море.
- ⁶ *Перикл* (ок. 500 — 429 гг. до н. э.) — вождь афинской демократии, полководец и оратор эпохи расцвета Афин («век Перикла»).
- ⁷ *Анубис* (миф.) — египетское божество, связанное с культом мертвых; Анубис изображался с головой шакала или собаки и был в религии древних египтян поручителем за умерших перед загробным судом; греки эллинистической эпохи отождествили его с Гермесом. Клятва именем Анубиса означает не только правдивость Демокрита, но и его знакомство с верованиями Египта.
- ⁸ *Как вы находите этот пурпур...?* — Материями, окрашенными драгоценным пурпуром, славился финикийский город Тир. Демокрит разочаровывает абдерских дам, объясняя им, что под видом пурпура им продали дешевую красную материю (червелену, коккин) из Сиракуз, вместо ценного индийского полотна (виссона) — египетскую ткань из Мемфиса и Пелусия. Виланд высмеивает погоню за французскими товарами, обычную для немецких модников и модниц XVIII в.

Глава восьмая

- ¹ *Гипербол* (греч.) — «преувеличивающий», «преизбыточный». Этот вымышленный персонаж вобрал в себя черты различных современных Виланду литераторов (см. прим. к III, 3), но в первую очередь бездарных драматургов-ремесленников.
- ² *Агагон* (или Агафон, 448—401 гг. до н. э.) — афинский трагик, от сочинений которого сохранились лишь отрывки. Читатели Виланда знали это имя по роману «История Агатона» (1768).
- ³ *Греческие комедии...* — Имеются в виду театральные представления пародийного характера, участники которых были одеты сатирами (так называемые «сатирические драмы»). «Киклоп» Еврипида (480—406 гг. до н. э.) — единственное сохранившееся полностью произведение этого жанра. Виланд отмечает сходство сатирических драм с итальянской комической оперой XVIII в.
- ⁴ *Сикион* — город на полуострове Пелопоннес, один из центров древнегреческого искусства; рассказ о скульпторе из Сикиона является, возможно, намеком на какого-то современника Виланда.
- ⁵ *Гекуба* (греч. миф.) — жена троянского царя Приама, мать Гектора. Ее история послужила сюжетом для одноименной трагедии Еврипида, которому и подражает Гипербол. Виланд высмеивает немецкие подражания французской классической трагедии.
- ⁶ *Истинные правила произведения искусства...* — Далее развивается мысль о свободном, не скованном нормами классицизма построении художественного произведения. В своих представлениях о трагедии как «хорошо устроенном... организме», с характерами, «взятыми из действительности», Виланд опирался не столько на античность, сколько на драматургию Шекспира, Дидро и Лессинга.

- ⁷ *Диоген из Синопа (414—323 гг. до н. э.)* — представитель школы киников; в идеях ограничения потребностей человека, возвращения к «естественному» поведению Диоген отражал взгляды немущих слоев общества. Диоген умер в Коринфе. Виланд переосмыслил киническую философию в духе просветительской оппозиции феодализму и филистерству (например, в повести «Диалоги Диогена Синопского», 1770).

Глава девятая

- ¹ *...поплатился... жизнью.* — Сократ был приговорен афинянами к смерти и выпил яд (399 г. до н. э.).
- ² *...спасся бегством.* — Политические гонения вынудили Аристотеля бежать в конце жизни из Афин на остров Эвбею.
- ³ *...прожить ...до Несторова возраста* — т. е. очень долго; имя Нестора, глубокого старца, одного из героев «Илиады», стало нарицательным обозначением долгожителя.
- ⁴ *...ваша лягушачья и мышиная война с лемносцами...* — Поход абдеритов на остров Лемнос сравнивается с войной мышей и лягушек, описанной в пародийной эпической поэме «Батрахомиамахия» (конец VI или начало V вв. до н. э.).
- ⁵ *Афрон* (греч.) — «глупец».
- ⁶ *...Мегаре была объявлена война.* — Виланд опирается не столько на упоминаемые им «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, сколько на комедию Аристофана «Ахарняне».
- ⁷ *Коринфский перешеек* — с точки зрения абдеритов, «заграница», так как Коринф был культурным и военным соперником Афин, последние же служили образцом для виландовской Абдеры.
- ⁸ *...с афинскими модистками и продавщицами цветов.* — Намек на Париж и французских гризеток.
- ⁹ *Грилл, сын Киниска* (греч.) — т. е. «поросенок, сын пса».

Глава десятая

- ¹ *...Демокрит нравился им не более, чем они ему...* — Критическое отношение героя романа к жителям Абдеры и вместе с тем необходимостью жить рядом с абдеритами отражают реальное положение профессионального литератора в феодально-мещанской среде Германии XVIII в.
- ² *Питека* (греч.) — «обезьяна».
- ³ *Фама* (рим. миф.) — персонификация молвы.
- ⁴ *Гимнософисты* (греч.) — «нагие мудрецы», древнегреческое название индийских йогов; рассказ Демокрита о них — вымысел автора романа.
- ⁵ *...приняла позу Венеры Медицейской...* — Эта знаменитая статуя античной работы находится в галерее Медичи во Флоренции. Пространное примечание Виланда к слову «поза» (в подлиннике — французское заимствование *die Attitude, l'attitude*) задевает немецких «пуристов», ревнителей национальной чистоты языка, демонстрируя абсурдность их притязаний.
- ⁶ *Вы никогда не слышали о стране...* — Рассказ Демокрита основывается на народных представлениях о «стране кисельных берегов» (немецкая сказочная страна Шлаураффенланд). Виланд вводит сюда и черты социальной утопии («никто не беден», «золото бесполезно»), но, в соответствии с народной точкой зрения, он иронизирует над мечтами о подобной стране.
- ⁷ *Алкиной* (греч. миф.) — царь феаков, владевший садами, которые плодоносили круглый год («Одиссея», книга VII).
- ⁸ *Телеклид* (V в. до н. э.) — греческий комедиограф, который сочинил комедию «Амфикионы», сохранившуюся в отрывках. В сноске Виланд называет авторов, в чьих сочинениях встречалась тема «золотого века»: М.-К. *д'Онуа* (сказка «Барашек»), *Лукиан* («Правдивая история»), афинские комедиографы V в. до н. э. — *Метаген, Ферекрат, Кратес, Кратин*, а также *Афиней* («Пир софистов», том VI).

Глава одиннадцатая

...каким образом, когда и откуда произошел мир? — Описанный в этой главе спор философов включает в себя обзор античных космогонических гипотез. В списке названы писавшие об этих воззрениях *Диоген Лаэртций*; историки философии — француз *Андре-Франсуа Деланд* (1690—1757); немец *Иоганн Якоб Врукер* (1696—1770), берлинский профессор философии *Жан-Луи-Самюэль Формей* (1711—1797); видный немецкий просветитель *Антон Фридрих Бюшинг* (1724—1793). В первых репликах изложены наивно-материалистические взгляды философов милетской и эфесской школ (VI в. до н. э.), «шестой философ» излагает учение Эмпедокла (490—430 гг. до н. э.), Сисамис упоминает о понятии первоначальных частиц — «гомеомерий», введенном Анаксагором. Вся эта ученость ценна для Виланда прежде всего тем, что помогает высмеять умозрительность и схоластику современной ему немецкой философии.

- ² *Пфрим* (немецк. *Pfriegem*) — «шило»; имя образовано по типу комических имен простолодинов у Шекспира («Сон в летнюю ночь», 1595), а также в соответствии с традицией немецкой сатирической литературы XVII—XVIII вв., нередко пользовавшейся значащими именами (сочинения Гриммельсгаузена, Лискова и др.). Впрочем, этот литературный прием был известен еще в античности. В нашем случае имя указывает не только на ремесло его носителя, но и на свойства характера.
- ³ *Картезий* (Декарт Рене, 1596—1650) — великий французский философ и ученый, мировоззрение которого было дуалистическим.
- ⁴ *Демонакс* — этот персонаж назделен именем реально существовавшего философа, друга Лукиана.
- ⁵ *Зевкис или Паррасий могут изображать чарующий пейзаж...* — Имеются в виду знаменитые греческие живописцы V в. до н. э.
- ⁶ *Он ничего не понимает в пневматике...* — т. е. в учении о «мировой душе», «пневме» (понятие, выработанное позднеантичной религиозной философией и заимствованное христианством). Намакая на немецкую теологию, Виланд играет словами, так как греческое слово «пневма» означает также «дуновение», т. е. «ничто».

Глава двенадцатая

...этого греческого Бэкона... — Сравнивая Демокрита с Френсисом Бэконом (1561—1626), разработавшим эмпирический, индуктивный метод познания, автор подчеркивает материалистические взгляды своего героя.

- ² *Борзилый* (или Борх) Олуф (1626—1690) — датский врач и ученый, автор трудов по истории химии.
- ³ *...общая с ...халдеями, браминами...* — т. е. с вавилонскими и индийскими жрецами.
- ⁴ *Дельрио Луис* (ум. 1624) — испанский инквизитор.
- ⁵ *Альгарвия* — провинция на юге Португалии.
- ⁶ *Диоген Лаэртций* — см. прим. 1 к «Предупомнению». Описанный в труде этого автора эпизод из юности Демокрита связан с походом царя персов *Ксеркса* (485—465 гг. до н. э.) против греков в 80-х годах V в. до н. э.; жрецам-магам, сопровождавшим персидского завоевателя, традиция приписывала волшебные знания.
- ⁷ *Скоро ли вы кончите эту детскую игру?..* — Эпизод заимствован, как указывает Виланд в списке, из диалога Лукиана «Филонсевд» («Любитель лжи, или Невер»).
- ⁸ *Демокрит занимался... физиогномикой...* — Виланд критически относился к распространяемому в его время попыткам определять характер и способности человека по его внешнему облику; начало физиогномическим опытам положил швейцарец *Иоганн Каспар Лафатер* (1741—1801). См. статью, с. 242.
- ⁹ *Элевсинские мистерии* — доступные только посвященным религиозные обряды, связанные с культом богини плодородия *Деметры*; эти мистерии справлялись в Элевсине, близ Афин.
- ¹⁰ *Милон Кротонский* (VI в. до н. э.) — атлет, победитель на античных Олимпийских играх.

- ¹¹ *Магнен Иоганн Хризостом* (правильнее: Жан-Кризостом) — французский врач и писатель XVII в., автор трактата «Возрожденный Демокрит, или Об атомах» (1646).
- ¹² *Тесмотет* (греч.) — «законодатель», одна из высших административных должностей в античном полисе.
- ¹³ *Хагедорн Фридрих фон* (1708—1754) — лирик и баснописец раннего немецкого Просвещения. Виланд имеет в виду его стихотворение «Слепец», где иронически воспоет счастье слепого супруга легкомысленной жены.
- ¹⁴ *...лягушка — не Диана...* — По легенде, богиня луны и охоты Диана (Артемида) жестоко наказывала смертных, посмевших взглянуть на нее.
- ¹⁵ *...берегитесь участи Орфея.* — Мифический певец был, согласно легенде, разорван вакханками (менадами), так как, будучи непосвященным, проник на тайное фракийское празднество в честь Вакха (Диониса).

Глава тринадцатая

...природа — прекраснее искусства... — Этот эстетический принцип, выдвинутый противниками придворного и салонного искусства XVII и начала XVIII в., был связан с идеологией демократических слоев общества, третьего сословия, формировавшего в борьбе против феодализма собственные художественные принципы. Смена стилей произошла, в частности, в садовой архитектуре: на смену регулярному, «французскому» саду пришел пейзажный, «английский» парк. Виланд мог в Веймаре воочию наблюдать этот процесс.

- ² *Пританы* — члены городского управления в греческом полисе, осуществлявшие исполнительную власть.
- ³ *...охотней всего слушали о... сивиллах, кобольдах...* — *Сивиллы* — античные прорицательницы, легенды о которых были известны христианскому средневековью; *кобольды* — домовые немецкого фольклора.
- ⁴ *Плиний* — см. прим. 11 к гл. 3; имеется в виду его «Естественная история» в 37-и книгах.
- ⁵ *Бюффон Жорж-Луи-Леклерк* (1707—1788) — французский ученый-натуралист, один из составителей многотомной «Естественной истории» (1749—1788). Ссылка Виланда на его труд носит юмористический характер.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая

...задолго до времен Витрувия и Плиния... — Римские авторы *Витрувий Поллион* (I в. до н. э.) и *Плиний Старший* оставили труды энциклопедического характера.

- ² *Гермес Трисмегист* — т. е. Гермес трижды величайший, вымышленный создатель или вдохновитель так называемых герметических книг и трактатов (относящихся к III в.), где пересказывались некоторые религиозно-философские воззрения древнеегипетских жрецов, соединенные с идеями, заимствованными у философов Греции и восточных стран; в средние века «герметическая философия» отождествлялась с алхимией. Имя Гермеса Трисмегиста восходит к имени древнегреческого божества, образ которого был соединен с представлениями о египетском боге разума и знаний Тоте.
- ³ *Зороастр* — европейская форма имени Заратуштры, легендарного иранского вероучителя, который в европейской традиции считался астрологом и магом, обладателем тайных знаний. Религия зороастризма, возникшая в начале 1-го тысячелетия до н. э., оказала влияние на христианство; основная ее книга — «Авеста».
- ⁴ *Александрийская философская школа* — направление, которое сформировалось на рубеже новой эры в Александрии (Египет) и опиралось на идеалистические, мистические стороны античной философии.

...Сократ считал облака за богов...— В комедии Аристофана «Облака» Сократ высмеивался как мнимый мудрец.

- ⁶ Катон Старший (234—149 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, защитник патриархальных обычаев.
- ⁷ Знай... смеюм привычным.— Перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского.
- ⁸ Гераклит Эфесский (ок. 540—480 гг. до н. э.) — один из основоположников материалистической диалектики; Гераклита как «плачущего» философа, сокрушающегося о неразумии людей, традиционно противопоставляли «смеющемуся» Демокриту.
- ⁹ «О душевном покое» — трактат Луция Аннея Сенеки (ок. 5—65), римского философа и поэта, который пытался в своем учении соединить строгий морализм стоиков с принципами гедонизма.
- ¹⁰ ...разве... пристанет.— Цитата из «Посланий» Горация (I, 1, 107) (перевод Н. С. Гинцбурга).
- ¹¹ ...Вулкан... исполняет... роль кравчего.— Имеется в виду сцена с Гефестом в конце I книги «Илиады» (599, 600):

Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.

(Перевод Н. И. Гнедича).

- ¹² Комбаб... Ориген...— В сочинении «О сирийской богине» Луклан рассказал историю Комбаба, придворного ассирийского царя: желая доказать свою преданность царю, который доверил свою жену его попечению, Комбаб оскопил себя. (Этот сюжет лег в основу юмористической поэмы Вилянда «Комбаб», 1771). Ориген (III в.) — раннехристианский богослов, оскотивший себя из религиозных побуждений.
- ¹³ Аргус (греч. миф.) — тысячглазое чудовище-страж.
- ¹⁴ Тертуллиан (ок. 160—222) — христианский богослов.
- ¹⁵ ...совет Сократа мало помогает...— В «Воспоминаниях о Сократе», составленных его учеником Ксенофонтом в начале IV в. до н. э., сообщалось, что философ советовал избегать любовных соблазнов.
- ¹⁶ ...великого храма в Олимпии...— т. е. храма, посвященного Зевсу и расположенного в долине реки Алфея (на западе Пелопоннеса), где происходили Олимпийские игры.
- ¹⁷ ...ссылаются на Стобея, Секста, Цензорина...— В трудах греческих писателей Иоанна Стобея (V в.) и Секста Эмпирика (III в.), римского грамматика Цензорина (III в.) приводились сведения и цитаты из утраченных античных сочинений.

Глава вторая

- ¹ Гем — Балканские горы.
- ² Кастор (греч. миф.) — один из двух братьев Диоскуров и название звезды.
- ³ Трасилл (греч.) — «наглец».
- ⁴ Гебр — река во Фракии, ныне — Марица.
- ⁵ Дионисий Старший (431—367 гг. до н. э.) — тиран сицилийского города Сиракузы, известный своей воинственностью и властолюбием.
- ⁶ До завоевания Александром Персидского царства...— Александр Македонский завоевал Персию в 334—331 гг. до н. э.
- ⁷ Антифан (IV в. до н. э.) — афинский комедиограф.
- ⁸ Алексис (или Алексид, IV в. до н. э.) — афинский комедиограф.
- ⁹ Самосские монеты — т. е. монеты острова-государства Самос, расположенного в Эгейском море.
- ¹⁰ Киаскар II (или Дарий Мидянин, VI в. до н. э.) — властитель Вавилона; монеты назывались дариками не по его имени, а в честь персидского царя Дария I (550—486 гг. до н. э.).

Глава третья

- ¹ *Агра* — столица династии Великих Моголов в XVI—XVII вв.
- ² *Шах Бахам* — персонаж европейской сатирической литературы XVIII в., тип недалекого и ленивого монарха (у К.-П.-Ж. Кребийона, Ж.-Ж. Руссо, М. М. Хераскова); упоминается в романе Виланда «Золотое зеркало» (1772)
- ³ *Итимадулет* — визирь, первый министр; в этом же значении слово встречается в романе «Золотое зеркало».

Глава четвертая

- ¹ *...за грош готовы были утверждать что угодно.* — В подлиннике: «за смокву» — намек на первоначальное значение слова «сикофант», связанное со словом «сикон» (смоква, фи́га); позднейшее значение — «доносчик». Продолжая традиции сатиры Рабле и Свифта, Виланд придал абдерским сикофантам черты алчных адвокатов-сутяг.
- ² *Некромант* — колдун, вызывающий тени умерших.
- ³ *...солнце искать днем с фонарем!* — Намек на известный анекдот о Диогене: философ появился среди дня на рыночной площади Афин с зажженным фонарем и на расспросы отвечал: «Ищу человека».
- ⁴ *Чемерица* — ядовитая трава семейства лилейных; чихательный порошок, изготовленный из ее корней, считался в древности средством против безумия.
- ⁵ *Пунктация* — способ гадания, при котором, соединяя линиями случайный набор точек или предметов, толковали смысл получавшихся фигур.
- ⁶ *Плиний говорит...* — Виланд имеет в виду «Естественную историю» Плиния Старшего. См. прим. 4 к I, 13.

Глава пятая

- ¹ *...заслужил... больше, чем корзину фиг.* — См. прим. 1 к I, 4.
- ² *Гиппократ* (460—377 гг. до н. э.) — великий врач древности, основоположник научной медицины. Его биография трудноотделима от легенд. Встреча Гиппократа с Демокритом могла произойти в действительности, но могла быть и позднейшим вымыслом. Сноска, сделанная Виландом в этом месте текста, представляет собой сатирический выпад против псевдоученого, произвольного комментирования античных авторов; вместе с тем этой сноской Виланд оговорил свое право на свободную обработку сюжета.
- ³ *Тасос* — остров в Эгейском море у побережья Фракии.
- ⁴ *...с молосским погонщиком ослов...* — Греческое племя молоссов, жившее в Эпире, считалось племенем, мало затронутым цивилизацией.
- ⁵ *Ларисса* — столица Фессалии (в северо-восточной части Греции); в этом городе Гиппократ провел последние годы жизни и умер.
- ⁶ *...пригласил милетских танцовщиц.* — Жители Милета в Малой Азии отличались изнеженностью нравов и славились искусством танца. Здесь в романе — ироническая параллель к модным развлечениям немецкой аристократии XVIII в., которая ориентировалась главным образом на парижские вкусы.

Глава шестая

- ¹ *Космополиты* (греч.) — «граждане мира», выработанное античной философией (киники, стоики) понятие, смысл которого исторически менялся. Виланд понимал «космополитизм» по-своему, вкладывая в это понятие протест против областнической замкнутости мелких немецких княжеств и духовной ограниченности немецкого обывателя.
- ² *Пилад и Орест* — персонажи античного мифа, дружба которых вошла в пословицу.

Глава седьмая

- ¹ *Кос* — остров в Эгейском море.
- ² *Византия* — греческая колония, основанная в 658 г. до н. э. на европейском берегу Босфора, впоследствии — Константинополь.
- ³ *Антикира* — город и порт в Коринфском заливе, поставлявший чемерицу.
- ⁴ *Галатия* — область в Малой Азии.
- ⁵ *Аполлон Дельфийский* — здесь: оракул, находившийся в храме Аполлона в Дельфах.
- ⁶ *Гекатей* (VI в. до н. э.) — древнегреческий историк, родом из Милета; Виланд отождествляет его с одноименным писателем IV в. до н. э., уроженцем Абдеры.
- ⁷ *«Записки о литературе»*. — Имеется в виду издание парижской Академии надписей; автором труда о Гекатее был историк Франсуа Севен (1682—1741).
- ⁸ *...городской сторож, своего рода герольд...* — Сторож, в чьи обязанности входило выкликать время для сведения жителей, — типичная фигура в быту немецкого города XVIII в.
- ⁹ *Стектор* (греч. миф.) — упоминаемый в «Илиаде» глашатай ахейцев; нарицательное имя громагласного человека.
- ¹⁰ *Ракс* (или панорама, нем. Guckkasten) — популярное народное развлечение XVIII—XIX вв., ящик с окошком, через которое можно было рассматривать меняющиеся внутри изображения.
- ¹¹ *«Андромеда»* — несохранившаяся трагедия Еврипида на сюжет мифа о Персее.
- ¹² *Гнев Ахилла* — вошедшее в поговорку выражение, связанное с начальными строками «Илиады»: действие поэмы начинается ссорой Ахилла с Агамемноном.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая

- ¹ *Гедипатия* (греч.). — здесь: благодущие.
- ² *Гением... всеми.* — Гораций, «Послания», I, 7, 94 (перевод Н. С. Гинцбурга). *Гений* — здесь: дух, покровитель человека; *пенаты* — домашние божества римлян.

Глава вторая

...он должен быть национальным театром. — Намек на неудачную попытку группы театральных деятелей организовать в Гамбурге первый немецкий постоянный Национальный театр (1767—1768); неумелое руководство и равнодушные обывательской публики привели театр к краху. Деятельность театра послужила материалом для «Гамбургской драматургии» Г. Э. Лессинга (1768).

- ² *...священному городу Минервы...* — т. е. Афинам.
- ³ *Мы... пишем.* — Гораций, «Послания», II, 1, 117 (перевод Н. С. Гинцбурга).
- ⁴ *Онолай* (греч.) — «ослиное отродье».
- ⁵ *Козлиное действие* — так Виланд передает первоначальный смысл слова «трагедия» (буквально: «козлияя песня»); элементы трагедии возникли на древнегреческих празднествах в честь Диониса, во время которых участники ритуальных игр надевали шкуры и маски козлов.
- ⁶ *Зингшпиль* (нем. Singspiel) — буквально: «пьеса с пением», немецкая комическая опера с разговорными диалогами.
- ⁷ *У царя Мидаса ослиные уши.* — Поговорка восходит к легенде о фригийском царе Мидасе, которого Аполлон наказал ослиными ушами; царский брадобрей не сумел сохранить эту тщательно скрываемую тайну, и глупость царя стала известна всем.
- ⁸ *...играющая Ифигению или Андромеху...* — т. е. роли героинь одноименных трагедий Еврипида.

...в Абдере женские роли исполнялись актрисами...— В действительности актерами античного театра могли быть только мужчины.

¹⁰ *Астидам* (V в. до н. э.) — трагический поэт, отличавшийся плодовитостью (240 трагедий).

¹¹ ...форму песни в строфах и антистрофах...— Имеются в виду части античной лирической оды (третья ритмическая единица — эпод), характерные для стиля Пиндара.

¹² ...как вы находите мою «Ифигению», «Гекубу», «Алкесту»? — Здесь названы сюжеты знаменитых трагедий Еврипида; в образе Грилла осмелы современные Виланду композиторы-дилетанты из аристократических кругов. Упомянув о трагедии «Алкеста» (правильнее «Алkestида»), Виланд желал, вероятно, напомнить читателям об опере Глюка «Альцеста» (1767), поставленной в Париже в это время (1776) наряду с «Орфеем» и «Ифигенией в Авлиде», произведениями, которые произвели переворот в оперной музыке и вызвали много споров. Виланд сочувствовал реформе Глюка, отразившей новые, демократические тенденции, возникавшие в музыке и в театральном искусстве накануне французской революции. Виланд и сам написал в 1773 г. зингшпиль «Альцеста», положенный на музыку Автоном Швейцлером и поставленный в Веймарском придворном театре.

Глава третья

...среди всех своих собратьев по Марсию...— Ироническая параллель к выражению «собратья по Аполлону», т. е. деятели искусства; сатир Марсий осмелелся соперничать с Аполлоном в музыкальном искусстве и был посрамлен.

² ...мы будем иметь... в одном произведении и «Илиаду» и «Одиссею». — Каждая из поэм Гомера состоит из 24 книг, следовательно, поэма Гипербола, задуманная в 48 песнях, оказалась бы равной «по объему» обоим гомеровским поэмам вместе взятым. Виланд проицирует над многочисленными попытками создания эпических поэм в подражание «Генриаде» Вольтера и «Мессиада» Клопштока.

³ «Эдип» (правильнее: «Эдип-царь»), «Электра», «Филоклет» — заглавия трагедий Софокла (ок. 496—406 гг. до н. э.), сюжеты которых ранее были уже обработаны Эскилом (525 или 524—456 или 455 гг. до н. э.).

⁴ ...увлекают... в ад... при раскатах грома и блеске молний. — В этой пародийной фабуле Виланд воспользовался мотивами античной «трагедии рока» («Орестея» Эскила, «Эдип-царь» Софокла). Но пародия имела злободневный смысл: осмеивалась драматургия так называемых «бурных гениев», к творчеству которых Виланд относился неприязненно (см. с. 227—228). Выше, в реплике Гипербола упомянута «Бури и натиск», пьеса Ф. М. Клингера (1776), давшая название всему литературному течению.

⁵ «Ниоба» — так называлась драма Ф. Мюллера, прозванного Мюллер-живописец (1749—1835), писатель «бури и натиска»; драма была опубликована в 1778 г. *Nioba* (греч. миф.) — царица Фив, осмелившаяся противоречить Артемиде; в наказание Артемиды и Аполлон убили всех четырнадцать детей Ниобы.

⁶ *Цараспазм* (греч.) — «обманщик».

⁷ *Антифил* (греч.) — «любезник».

⁸ ...тот... жанр, в котором... стяжал себе немалую славу Менандр. — В творчестве афинского комедиографа Менандра (см. прим. 7 к I, 2) действительно определенное место занимали сцены будничной жизни. Виланд сравнивает с комедиями Менандра мешанскую драму, возникающую в Германии в конце 70-х годов XVIII в. В 1778 г. открылся театр в Мангейме с репертуаром, заполненным главным образом чувствительными пьесами из жизни бюргеров. Ведущим драматургом и критиком при этом театре был О. Гемминген. Против пьесы этого автора «Немецкий отец семейства» (поставлена в 1780 г., но могла быть известна раньше), слабого подражания «Отцу семейства» Д. Дидро, и направлено, вероятно, ироническое сравнение Флапса с Менандром. О конфликте Виланда с Мангеймским театром см. статью, с. 235.

⁹ *Евгамия* (греч.) — «счастливая супруга».

Глава четвертая

- ¹ *Священная Римская империя* (германской нации) — т. е. Германия; это средневековое общее название немецких государств, формально подчинявшихся императору в Вене, сохранялось до 1806 г.
- ² *Талант* — крупная денежно-весовая единица в Древней Греции.

Глава пятая

...уцелели лишь небольшие отрывки.— Еврипид написал свыше 90 произведений, из которых сохранилась небольшая часть. Из трагедии «Андромеда» дошло около сотни стихов.

- ² «Киклоп» — см. прим. 3 к I, 8.
- ³ *Евколпис* (греч.) — «прекрасногрудая».
- ⁴ *Кассиопея* (греч. миф.) — мать Андромеды.

Глава шестая

- ¹ *Я и есть Еврипид...*— Сведения о посещении Еврипидом Абдеры не сохранились.

Глава седьмая

- ¹ *Выражение, недавно употребленное одним французским писателем...*— Виланд имеет в виду, по всей вероятности, Ж. Даламбера (1717—1783), писавшего о величии и достоинстве истории в предисловии к «Энциклопедии» (1751), или кого-то, повторившего эту мысль. Из текста главы явствует, что механистическое понимание причинных связей в истории, свойственное французским материалистам XVIII в., не удовлетворяло писателя.
- ² *Вопрошайте богов!* — совет Сократа, допускавшего веру в оракулы и гадания.
- ³ *Архелай* (V в. до н. э.) — македонский царь, при дворе которого в городе Пелле Еврипид провел последние годы жизни.
- ⁴ *Виртуозы* — здесь: музыканты.
- ⁵ *...говорил... Еврипид.*— Вера в сверхъестественные явления подвергалась насмешкам в произведениях Еврипида.
- ⁶ *...все... было устроено у него на этрусский манер...*— Этруски, жившие на Апеннинском полуострове, славились прикладными искусствами. Здесь — намек на французоманию немецких монархов.
- ⁷ *...стремился изгладить память о своих злодеяниях...*— Побочный сын одного из полководцев Александра Македонского Архелай захватил власть, убив своих родственников. Читатель XVIII в. мог увидеть в рассказе об Архелае смелый выпад против конкретных лиц, — например, против российской императрицы Екатерины II.
- ⁸ *Словарь Бейля* — см. прим. 2 к «Предупреждению».

Глава восьмая

...этот... порок... приписывался Еврипиду.— Возражая против нетрадиционного изображения женских характеров, афиняне, и в том числе Аристофан, обвиняли Еврипида в женоненавистничестве; созданные драматургом могучие образы Меду и Федры противоречили принятым тогда представлениям о женщине как хранительнице домашнего очага.

- ² *Симонид Кеосский* (556—468 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.
- ³ *Аталанта* (греч. миф.) — дева-охотница.

Глава девятая

- ¹ *За это Юпитер и превратил их в лягушек.*— Миф о богине Латоне (Лето) и ликийских крестьянках рассказан Виландом по «Метаморфозам» Овидия.
- ² *Ликий* (греч. миф.) — сын изгнанного из Афин царя Пандиона; о его воцарении в Милиаде (Милии) сообщает Геродот («История», I, 173).
- ³ *Нест* — река во Фракии, теперь — Места.

Глава десятая

- ¹ *Бомонд* (от франц. beaux monde) — «высший свет», аристократическое общество.
- ² *Консеквенция* (лат. consequentia) — следствие, вывод.
- ³ *...без последствий.*— Эта формула запрещала делать произвольные выводы из юридического решения, но Виланд придал ей прямой смысл: благоприятное для Еврипида решение абдерского сената осталось действительно «без последствий».

Глава одиннадцатая

...кричащими... подобно раненому Марсу в «Илиаде»...— Бог войны Марс (Арес, Арей), который принимал, согласно Гомеру, участие в битве под Троей, был ранен и кричал —

Страшно, как будто бы девять иль десять воскликнули тысяч
Сильных мужей на войне, зачинающих ярую битву.

(«Илиада», кн. V, 860, 861, перевод Н. И. Гнедича).

- ² *Кефей* (греч. миф.) — эфиопский царь, отец Андромеды.
- ³ *...нашего до бесчувственности чувствительного времени!* — Выпад Виланда против модной слезливо-сентиментальной литературы, порожденной не в последнюю очередь романом Гете «Страдания молодого Вертера» (1774); характерное произведение этого рода — «Зигварт» (1776), роман И. М. Миллера (1750—1814), автора, близкого к геттингенскому кружку «бурных гениев».
- ⁴ *...виноград, нарисованный Зевксисом.*— По преданию, Зевксис изобразил гроздь винограда с такой достоверностью, что птицы слетались клевать их. См. прим. 5 к I, 11.
- ⁵ *Форстер* Георг (1754—1794) — немецкий революционер-демократ и писатель. Виланд ссылается на эпизод из его книги «Путешествие вокруг света с 1772 по 1775 годы» (английское издание — 1777, немецкое — 1778—1780). Сопровождая своего отца, естествоиспытателя И. Р. Форстера, автор принял участие во втором кругосветном плавании Дж. Кука.
- ⁶ *...наших литературных дударей.*— Появление во второй половине XVIII в. в Германии большого числа писателей-ремесленников возбодило Виланда, озабоченного тем, чтобы гуманистические идеи и литературные достижения просветителей не погибли в атмосфере немецкого мешанства. Виланд писал об этом, в частности, в статье «Письмо к молодому поэту» (1782).

Глава двенадцатая

...ревели арию по ночам на свой собственный манер.— Рассказ о театральном безумии абдеритов заимствован из сочинения Лукиана «Как следует писать историю». Там приводится первый стих цитируемого Виландом отрывка из «Андромеды» Еврипида; остальные стихи этого фрагмента сохранились в «Шпире софистов» Афиней. Весь эпизод переосмыслен как насмешка над невежественной обывательской публикой немецкого театра.

- ² *Йорик* — имя персонажа, от лица которого ведется повествование в «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии» Л. Стерна. Стерн, в свою очередь, заимствовал это имя из «Гамлета» В. Шекспира (1601).
- ³ *...слушать пенки.*— Виланд приводит в собственном переложении с английского отрывок из «Сентиментального путешествия» Стерна, вольно пересказавшего текст Лукиана.

- ¹ *Лукиан... рассказывает о событиях совсем по-иному...*— Следующий далее рассказ Лукиана передан близко к подлиннику.
- ² *Архелай* — актер, которого действительно упоминает Лукиан в связи с историей постановки «Андромеды» Еврипида в Абдере.
- ³ *...прозвище «немецкий Гаррик».*— Виланд упоминает имена видных пропагандистов творчества Шекспира в Германии — Иоганна Франца Иеронима *Брокмана* (1745—1812), актера, прославившегося исполнением роли Гамлета, и Фридриха Людвига *Шредера* (1744—1816), актера и драматурга; «немецким Гарриком» называли обычно Шредера. *Гаррик Дэвид* (1717—1779) — великий английский актер, исполнитель шекспировских ролей.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

Мегарский уроженец — т. е. из города Мегары, столицы соседней с Атикой области Мегариды.

- ² *Приап* (греч. миф.) — бог плодородия и покровитель домашнего скота.

Глава вторая

- ¹ *Аксессуарий* (лат. *accessorium*) — неотъемлемая принадлежность.

- ² *Полифон* (греч.) — «крикун», «болтун».

Глава третья

- ¹ *Клиент* — здесь: лицо, пользующееся чьим-либо покровительством; римское правовое понятие перенесено в романе в обстановку греческого подлеса.
...жрецы не имеют права вступать в брак...— Намек на обязательное безбрачие католического духовенства.
- ² *Ирида* (греч. миф.) — вестница богини Геры; имя иронически перенесено на горничную танцовщицы.
- ³ *...напоминала... фракийскую девушку Анакреонта.*— См. прим. 10 к I, 1.

Глава четвертая

...подобна госпоже Дамон в наших комедиях.— Насмешка над условными, пасторальными именами, распространенными в чувствительной комедии. Кроме того, Виланд намекает, возможно, на поэта и переводчика С. Г. Ланге (1711—1781), писавшего под псевдонимом Дамон и высмеянного Лессингом, и на жену Ланге, также выступавшую в литературе.

Глава пятая

- ¹ *С яйца.*— Выражение восходит к Горацию; в «Науке поэзии» («Послании к Пизонам») поэт ставил в пример стихотворцам Гомера, начавшего «Илиаду» непосредственно с главного действия, а не с мифа о Леде, дочь которой Елена, виновница Троянской войны, родилась из лебединого яйца.

Глава шестая

- ¹ *Культ Латоны... не уступал в своей древности ликийской колонии...*— См. прим. 1 к III, 9.
- ² *Капелла* — здесь: небольшой храм.
- ³ *Филиппы* — золотые монеты с изображением Филиппа Македонского.
- ⁴ *..Агагирс... тяготел к аристократии. Стробил же... был явный друг демократии...*— Соперничество двух главных жрецов Абдеры представляет собой сатирическую аналогию борьбе между протестантской и католической церквями в Германии; в маленьких городах, подобных Бибераху, родине Виланда, эта борьба переходила в мелочную грызню. См. статью, с. 224.

Глава седьмая

- ¹ *Стигийский* — т. е. загробный (Стикс — река подземного царства мертвых).
- ² *Селадон* — имя персонажа из романа французского писателя Оноре д'Юрфе «Астрей» (1610), стало нарицательным обозначением волокиты.
- ³ *Буфранор* — имя составлено из латинских корней *bufo* (жаба) и *gana* (лягушка).

Глава восьмая

- ¹ *Элизидум* (латинская форма греческого слова «Елисион», миф.) — страна, где после смерти поселялись души героев, «Елисейские поля».
- ² *...к позолоченной бараньей шкуре...*— Виланд сближает легенду о «золотом руне» с библейским образом «золотого тельца» — символом богатства, подчиняющего себе людей.

Глава девятая

- ...то, что казалось... демократией, было... обманом.*— Борьба бюргерства против феодализма за демократические права велась в Германии робко и непоследовательно — это и вызвало иронические замечания Виланда о кажущихся и реальных властителях Абдеры.
- ² *...он велел раздавать хлеб и вино...*— Намек на христианский обряд причащения.
- ³ *Опоскиамагия* (греч.) — война из-за тени осла.

Глава десятая

- ...в чем можно убедиться у Аристофана...*— Действие комедии Аристофана «Лягушки» происходит в царстве мертвых, на берегах Стикса.
- ² *Фей! Элелелей!* — возгласы скорби в древнегреческой трагедии.
- ³ *Нестор* — см. прим. 3 к I, 9.

Глава одиннадцатая

- ¹ *Палладиум* (латинская форма греческого слова «палладион») — первоначально: священная статуя Афины Паллады, впоследствии — всякий предмет, символизирующий божество; такому предмету приписывалась охраняющая сила.
- ² *Гинекей* — женская половина в древнегреческом доме.

Глава двенадцатая

- ¹ *...не найдется сил...— справиться с... яростью... зверя.*— Виланд разделял свойственный многим просветителям опасения, что восстание народа может привести к анархии. См. статью, с. 240.
- ² *Они скорей напоминали... пугал, чем воинов...*— Комический вид стражи навевя сценами из комедии Шекспира «Много шума из ничего» (1598—1599).
- ³ *...какому-нибудь будущему Фурмону или Севену...*— Фурмон Мишель (1660—1746) и Севен Франсуа (см. прим. 7 к II, 7) — французские филологи, разыскивавшие в Греции и Турции античные документы.
- ⁴ *...по примеру некоторых... королей нашего... века...*— Намек на показное меценатство европейских монархов XVIII в. Поскольку в этом месте романа Виланд касается судьбы древней Фракии, можно предположить, что здесь задета Екатерина II и ее внешняя политика: в 1774 г., во время русско-турецкой войны, русские войска вступили в Болгарию и нанесли туркам ряд поражений, однако эти успехи не были тогда закреплены.
- ⁵ *Мусагет* (греч. миф.) — один из эпитетов Аполлона; здесь — в переносном значении: «жрец науки».
- ⁶ *Оссиан* — легендарный кельтский певец, живший якобы в III в.; шотландский поэт Дж. Макферсон издал в 60-х годах XVIII в. под именем Оссиана эпические песни, в которых воспользовался образами подлинного кельтского фольклора. Песни Оссиана оказали значительное влияние на европейские литературы преромантической эпохи.
- ...фиговый абдерский вития.*— Имеется в виду сикофант; см. прим. 1 к II, 4.

Глава тринадцатая

- ¹ *Горгий* (483—375 гг. до н. э.) — философ-софист, учитель ораторского искусства.
- ² *Диалектик* — здесь в первоначальном значении «спорщик».
- ³ *Гиперборейская пустыня* — страна, находившаяся, по представлениям древних, далеко на севере.
- ⁴ *...от раскаленных стрел неутомимого Аполлона* — т. е. от солнечных лучей (Аполлон считался божеством солнечного света).
- ⁵ *...отец богов и людей... превратил их... в лягушек.*— См. прим. I к III, 9.
- ⁶ *...перед афинским ареопагом...*— В трагедии Эсхила «Эвмениды» (458 г. до н. э.) рассказывалось, что Афина учредила суд из лучших граждан своего города (ареопаг); этот высший суд был вправе решать споры даже между богами.
- ⁷ *...осел... спас Олимп...*— По преданию, осел Силен, спутника Диониса, своим криком обратил в бегство титанов, собиравшихся напасть на жилище богов; Виланд соединил это предание с легендой о гусях, которые гоготанием предупредили защитников римского Капитолия о приближении врагов.

Глава шестнадцатая

- ¹ *...разразились, подобно богам... тохотом.*— См. прим. 11 к I, 1.
- ² *Один из... сочинителей баллад...*— Виланд, по-видимому, сознательно не делает различия между литературным жанром баллады и старой «уличной» песней, хотя к этому времени были уже написаны знаменитые баллады Г. А. Бюргера (1747—1794), превратившего этот жанр в один из ведущих жанров немецкой лирики. Литературная баллада возникла в кругу поэтов «бури и натиска», которые не пользовались симпатией автора романа. См. статью, с. 228.
- ...он ушел... из земли абдерской...*— О биографии Демокрита см. статью, с. 238.

КНИГА ПЯТАЯ

Глава первая

...они поклонялись — Минерве..., как афиняне, Юноне, как самосцы, Диане, как эфесцы, Грациям, как орхоменцы... — Перечисляются центры античных культов: Афины с храмом покровительницы города; остров Самос, где особенно почиталась Юнона (Гера); малоазийский город Эфес, известный своим храмом Дианы (Артемиды); город Орхомен в Беотии, где, по рассказу Пиндара, герой Этеокл воздвиг храм, посвященный трем Грациям (Харитам).

² ...полдюжины лягушачьих чучел. — Намек на католический культ «святых мощей».

³ Деисибатрагия (греч.) — «страх божий» перед лягушками.

⁴ ...с помощью... сов или же бараньих шкур. — Сова, символ мудрости, считалась атрибутом Афины; под «бараньими шкурами» подразумевается легендарное «золотое руно».

⁵ Хиосское вино — т. е. вино с острова Хиос, в древности высоко ценившееся.

⁶ Куат (лат. cyathus) — чершак, мера жидкости.

Глава вторая

¹ Коракс (греч.) — «ворон»; этот враг лягушек — олицетворение протестантского духовенства.

² Академия — школа Платона, находившаяся в священной роще героя Академа близ Афин.

³ Филомелы — т. е. соловьи, по имени мифической фракийской царевны, превращенной в соловья.

⁴ Катадупа — древнее название порога на Ниле.

⁵ ...никакая нация в мире (за исключением... одной...) — Виланд имеет в виду немцев.

⁶ ...подобно новому Геркулесу, Тесею или Гармодию... — Геркулеса (Геракла) чтили в Элладе как освободителя страны от бедствий; легендарный основатель афинского государства Тесей также считался защитником родной земли; Гармодий — афинский юноша, избавивший город в 514 г. до н. э. от власти тиранна Гиппарха.

Глава третья

¹ Онокрадий (греч.) — «ослиное сердце».

² Мейдий (греч.) — «насмешник».

³ Гипсисбой (греч.) — т. е. Громоглас, имя лягушки из «Батрахомномахии».

⁴ Стентор — см. прим. 9 к II, 7.

Глава четвертая

¹ Мемфис, Персеполис — древние столицы Египта и Персидского царства.

² Пеласги — древнейшие обитатели Греции.

³ Девкалионов потоп — в греческой мифологии всемирный потоп, после которого человеческий род был возобновлен царем Девкалионом.

⁴ Атлантида — легендарный остров, якобы находившийся в Атлантическом океане, а затем исчезнувший.

⁵ Делос — остров в Эгейском море, считавшийся в древности блуждающим; по преданию, место рождения Аполлона (Феба) и Дианы (Артемиды).

⁶ Батрахотрофы (греч.) — кормильцы лягушек.

⁷ Памфаг (греч.) — «всеядный».

⁸ Буцефал (греч.) — «бычья голова».

⁹ Харакс (греч.) — «жердь».

Глава пятая

...собрание небольших произведений Паррасия...— Кисти Паррасия приписывались картины фривольного содержания. См. прим. 5 к I, 11.

² Плаун — мелкое споровое растение.

³ Делекс (греч.) — «пустомеля».

Глава шестая

¹ Аркесилай (ок. 300—241 гг. до н. э.) — философ школы Платона.

² ...милийские поселяне... были превращены в лягушек...— См. прим. 1 к III, 9.

³ ...развитие изначального зародыша.— Виланд иронизирует по поводу метафизической теории Шарля Бонне (1720—1793), швейцарского философа и естествоиспытателя, допускавшего существование данной «свыше» и независимой от внешних условий наследственности.

Глава седьмая

...совершать невозможное... никто... не обязан.— Перевод латинского изречения «Ultra posse nemo obligatur».

...подобно превращениям Нарцисса в цветок, Кикна — в лебедя, Дафны — в лавровое дерево...— Эти сюжеты античных мифов вошли в «Метаморфозы» Овидия.

³ Олягушатение — перевод комического неологизма Виланда Einfroschung.

⁴ ...от Нина и Семирамиды.— Имеются в виду мифические основатели ассирийского государства.

⁵ Гомункул (лат.).— буквально: человек; в контексте романа: человеческий зародыш. Термин появился в средневековой алхимии, в связи с идеей создания человеческого зародыша искусственным путем (идея высказана врачом и химиком Парацельсом). Позже тема гомункула получила развитие во II части «Фауста» Гете.

⁶ ...ее завесы... не приоткрывал никто из смертных.— В древнем Саисе (Египет) находился храм богини Нейт, в котором имелась следующая надпись: «Я — все бывшее, настоящее и грядущее; моего покрывала никто не открывал; плод, рожденный мной, — солнце». Европейская традиция осмысляла эту надпись как указание на вечные тайны природы и ограниченность человеческого знания (ср. стихотворение Шиллера «Саисское изваяние под покровом», 1795).

⁷ ...вряд ли где-нибудь... кроме Египта, можно встретить нечто подобное.— В древнеегипетской религии было распространено поклонение животным и птицам.

⁸ Обол — мелкая древнегреческая монета.

⁹ Баграхосебисты (греч.) — поклонники лягушек.

Глава восьмая

...Юпитер превратился в быка, а царевну Ио обратил в корову...— По легенде, включенной в «Метаморфозы» Овидия, Ио была превращена в корову супругой Зевса Герой из ревности; Юпитер (Зевс) в облике быка похитил финикийскую царевну Европу.

² Баграхофаги (греч.) — пожиратели лягушек.

Глава десятая

...желтые, зеленые... мыши...— По всей вероятности, Виланд намекает на разноцветные мундиры иностранных армий, прошедших по землям германских государств в годы Семилетней войны (1756—1763). Антивоенная тема была традиционной для немецкой демократической литературы XVII—XVIII вв. (стихотворения Я. Вальде, романы Г. Я. К. Гриммельсгаузена, драматическая трилогия Ф. Шиллера «Валленштейн»)

² Кассандр — см. прим. 14 к I, 1.

...отрывком из... историка Трога Помпея... приведенном у Юстина...— См. прим. 14 к I, 1.

⁴ ...бывших в их головах...— По немецкой поговорке, у глупца «крыса в голове».

⁵ ...если верить Плинию Старшему и Варрону...— Марк Терренций Варрон (116—27 гг. до в. э.) — римский ученый, трудами которого воспользовался Плиний Старший в своей «Естественной истории». См. прим. 11 к I, 3 и прим. 4 к I, 13.

КЛЮЧ К «ИСТОРИИ АБДЕРИТОВ»

- ¹ *Послание Горация к Лоллию* — т. е. послание второе из I книги «Посланий», обращенное к патрицию Максиму Лоллию; в этом произведении Гораций широко пользовался образами из «Илиады» и «Одиссеи».
- ² ...как использует... поэмы Плутарха...— О Гомере говорилось в сочинении Плутарха «Как юноше следует читать поэтов».
- ³ ...стихами его будут заклинать злых духов.— В средние века Вергилий считался чародеем.
- ⁴ ...в «Амадисе»... или же в «Адонисе» Марино.— Виланд перечисляет следующие произведения: рыцарский роман «Амадис Гальский», известный с XIV в.; эпос великого итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (1532); поэму итальянца Джованни Трассино (1478—1550) «Италия, освобожденная от готтов» (1547—1548); национальный эпос португальского поэта Луиса Камозанса (1524—1580) «Лузнады» (1572); поэму «Адонис» итальянского поэта Джамбаттисты Марико (1569—1626).
- ⁵ *Знаменитый «Zodiacus vitae», ...«История Джона Буля»*...— Здесь упоминаются аллегорическая латинская поэма «Zodiacus vitae» («Жизненный круг зодиака», 1537) итальянца Пьетро Анжелло Манцолли, называемого также Марцелл *Палингемий*; написанный по-латыни роман английского сатирика Джона Беркли (1582—1621) «Аргенида» (1621); неоконченный аллегорический эпос английского поэта Эдмунда Спенсера (ок. 1552—1599) «Королева фей»; роман «Записки о новой Атлантиде» (1713) английской писательницы Мэри Менли (ок. 1672—1723); анонимный немецкий роман «Малабарские принцессы» (1734); антицерковная сатира Дж. Свифта (1667—1745) «Сказка о бочке» (1704) и сатира «История Джона Буля» (1712) английского писателя Джона Арбетнота (1667—1735). Все эти сочинения содержали злободневные политические намеки.
- ⁶ ...с 1753 года весьма читаемого писателя.— Виланд имеет в виду себя самого.
- ⁷ *В один прекрасный осенний вечер 177* года*...— Работа Виланда над «Историей абдеритов» началась осенью 1773 г.
- ⁸ ...сына великой богини...— Образ богини Глупости восходит к сатире Эразма Роттердамского (1463—1536) «Похвала глупости» (1509).
- ⁹ ...маленький кабинетный бес...— Средневековое сказание о Фаусте и служившем ему черте было очень популярно во времена Виланда, особенно у младшего поколения писателей (к легенде обращались, помимо молодого Гете, Ф. Мюллер-живописец, Ф. М. Клингер); первым образы легенды пытался обработать Лессинг. Возможно также, что в этом месте романа сказалось влияние «Хромого Беса» (1709), сатирического произведения А.-Р. Лесажа (1668—1747).
- ¹⁰ *Гафен Славкенбергий* (в русских переводах также: Слокенбергий) — вымышленный автор, составивший якобы ученый трактат «О восах»; упоминается и цитируется в романе Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Следующая далее цитата — мистификация, полностью принадлежащая Виланду.
- ¹¹ *Алеппо* — итальянское название города Халеба в Сирии, издавна знаменитого как торговый центр.
- ¹² ...из-за... восхищения абдеритскими характером и искусством.— Сатирический намек на сборник «О немецком характере и искусстве» (1773), в котором были высказаны основные идеи «бури и натиска»; в сборник вошли статьи Гердера, Гете и Юстуса Мезера (1720—1794). О настороженном и ироническом отношении Виланда к новоявленным «потомкам древних германцев» см. статью, с. 227—228.
- ¹³ ...глупость отбросить.— Гораций, «Послания», I, 1, 41, 42 (перевод Н. С. Гинцбурга).



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Кристоф Мартин Виланд. Портрет работы Ф. Лортцинга. Фронтиспис
Титульный лист первого издания «Истории абдеритов», 1774 г.**
- Виланд за работой. Силуэт. 1806 г.**
- Общество у герцогини Анны-Амалии. Среди присутствующих Гете и Гердер.**
- Акварель работы Т. М. Крауса. Около 1795 г.**
- Комната в музее Виланда. Веймар**



СОДЕРЖАНИЕ

Кристоф Мартин Виланд
История абдеритов

Перевод Г. С. Слободкина

| | |
|---------------------------|---|
| Предуведомление | 5 |
|---------------------------|---|

ИСТОРИЯ АБДЕРИТОВ

Книга первая ДЕМОКРИТ СРЕДИ АБДЕРИТОВ

| | |
|--|----|
| Глава первая | |
| <i>Предварительные сведения о происхождении города Абдеры и характере его обитателей</i> | 6 |
| Глава вторая | |
| <i>Демокрит из Абдеры. Мог ли и в какой степени гордиться им его родной город?</i> | 9 |
| Глава третья | |
| <i>Кто такой был Демокрит? Его путешествия. Он возвращается в Абдеру. Что он привозит с собой и как его там принимают. Экзамен, учиненный ему абдеритами,—образчик абдеритской беседы</i> | 13 |
| Глава четвертая | |
| <i>Испытание продолжается и превращается в диспут о красоте, причем Демокриту приходится очень туго</i> | 17 |
| Глава пятая | |
| <i>Неожиданная развязка с некоторыми новыми примерами абдеритского остроумия</i> | 23 |
| Глава шестая | |
| <i>Представляющая читателю возможность вновь оказаться в состоянии покоя после головокружения, вызванного предыдущей главой</i> | 25 |
| Глава седьмая | |
| <i>Патриотизм абдеритов. Их симпатии к Афинам как к родному городу. Несколько примеров их аттицизма и неприятной искренности мудрого Демокрита</i> | 27 |
| Глава восьмая | |
| <i>Краткие сведения об абдеритском театре. Демокрит вынужден высказать о нем свое мнение</i> | 29 |
| Глава девятая | |
| <i>Добрый нрав абдеритов и как они мстят Демокриту за его неучтивость. Образчик его обличительной проповеди. Абдериты издают закон против путешественников, который должен помочь всякому уроженцу Абдеры сделаться умней. Каким</i> | |

| | |
|--|----|
| <i>примечательным способом комофилакс Грилл разрешил неудобство, возникшее из этого закона</i> | 33 |
| Глава десятая | |
| <i>Демокрит удаляется в деревню, и его часто посещают абдериты. Всевозможные редкости и беседы о земле обетованной моралистов</i> | 36 |
| Глава одиннадцатая | |
| <i>Кое-что об абдеритских философах и о том, как Демокрит имел несчастье из-за нескольких сказанных с добрым намерением слов приобрести весьма плохую репутацию</i> | 43 |
| Глава двенадцатая | |
| <i>Демокрит поселяется еще дальше от Абдеры. Чем он занимается в уединении. Абдериты подозревают, что он чернокнижник. Опыт, проделанный им над абдеритскими дамами, и чем он закончился</i> | 47 |
| Глава тринадцатая | |
| <i>Демокрит учит абдериток пгичьему языку. Пример того, как они занимаются обривованием своих дочерей</i> | 53 |

Книга вторая ГИППОКРАТ В АБДЕРЕ

| | |
|--|----|
| Глава первая | |
| <i>Отступление, касающееся характера и философии Демокрита, которое мы просили бы читателя не пропустить</i> | 57 |
| Глава вторая | |
| <i>Демокрита обвиняют в тяжком преступлении. Один из его родственников опровергает это гез, что не совсем в своем уме. Как Демокрит заблаговременно предотвращает грозу, которую готовил ему жрец Стробил. Таинственное средство, редко не оказывающее действия, если оно только вовремя применено</i> | 62 |
| Глава третья | |
| <i>Небольшой экскурс во времена правления шаха Базама Мудрого. Характер советника Трасилла</i> | 65 |
| Глава четвертая | |
| <i>Краткие, но исчерпывающие сведения об абдерских сикофантах. Отрывок из речи, в которой Трасилл требует учреждения опеки над своим родственником</i> | 67 |
| Глава пятая | |
| <i>Дело передается на медицинскую экспертизу. Сенат посылает письмо Гиппократу. Врач прибывает в Абдеру, появляется в совете; он приглашен городским советником Трасиллом на званый обед и... скучает. Доказательство, что кошелек, наполненный дариками, оказывает действие не на всех людей</i> | 72 |
| Глава шестая | |
| <i>Гиппократ наносит визит Демокриту. Тайные сведения о древнейшем ордене космополитов</i> | 75 |
| Глава седьмая | |
| <i>Гиппократ сообщает абдеритам свое мнение. Великое и опасное смятение, возникшее из-за этого в сенате, и как, к счастью для абдеритского общественного блага, городской сторож внезапно приводит все в порядок</i> | 77 |

Книга третья
ЕВРИПИД СРЕДИ АБДЕРИТОВ

| | |
|---|-----|
| Глава первая | |
| <i>Абдериты собираются в театр</i> | 83 |
| Глава вторая | |
| <i>Более подробные сведения об абдерском национальном театре. Вкус абдеритов. Характер номофилакса Грилла</i> | 85 |
| Глава третья | |
| <i>К истории абдерской литературы. Сведения об их первых драматических поэтах — Гиперболе, Параспазме, Антифиле и Флапсе</i> | 89 |
| Глава четвертая | |
| <i>Достопримечательный пример хорошего национального хозяйства абдеритов. Заключение рассказа об их театре</i> | 93 |
| Глава пятая | |
| <i>Представление «Андромеды» Еврипида. Огромный успех номофилакса, и как этому содействовала певица Евколпис. Несколько замечаний о прочих актерах, хорах и декорациях</i> | 95 |
| Глава шестая | |
| <i>Странный эпилог, сыгранный абдеритами с одним чужестранцем и в высшей степени неожиданное развитие событий</i> | 99 |
| Глава седьмая | |
| <i>Что привело Еврипида в Абдери, а заодно и некоторые тайные сведения о дворе в Пелле</i> | 105 |
| Глава восьмая | |
| <i>Как ведет себя Еврипид с абдеритами. Они кое-что замышляют против него, явно обнаруживая при этом свою политическую ловкость. Замысел должен удалиться, потому что все трудности оказались воображаемыми</i> | 107 |
| Глава девятая | |
| <i>Еврипид осматривает город, знакомится со жрецом Стробилом и узнает от него историю лягушек Лагоны. Примечательный разговор, произошедший при этом между Демокритом, жрецом и поэтом</i> | 112 |
| Глава десятая | |
| <i>Сенат Абдеры разрешает Еврипиду поставить одну из его пьес на абдерской сцене, хотя он этого вовсе и не добивался. Уловка, к которой обычно в подобных случаях прибегали абдерские чиновники. Хитрости номофилакса. Достопримечательный способ абдеритов оказывать всяческое содействие тому, кто чинит им препятствия</i> | 116 |
| Глава одиннадцатая | |
| <i>«Андромеда» Еврипида, несмотря на все препятствия, представлена его труппой. Необыкновенная чувствительность абдеритов и отступление, одно из поучительнейших во всей книге и, следовательно, совершенно бесполезное</i> | 118 |
| Глава двенадцатая | |
| <i>Как вся Абдера обезумела от удивления и восторга на представлении Еврипидовой «Андромеды». Опыт философско-критического исследования этого странного рода фрекезии, называвшейся у древних абдеритской болезнью. Нижайше посвящается историкам</i> | 120 |

Книга четвертая
ПРОЦЕСС О ТЕНИ ОСЛА

| | |
|---|-----|
| Глава первая | |
| <i>Повод к процессу и Facti species</i> | 125 |
| Глава вторая | |
| <i>Городской судья Филиппид выслушивает тяжущихся</i> | 127 |
| Глава третья | |
| <i>Обе стороны добиваются поддержки высоких инстанций</i> | 129 |
| Глава четвертая | |
| <i>Судебное заседание. Доклад ассессора Мильтиада. Приговор и что за ним последовало</i> | 132 |
| Глава пятая | |
| <i>Мнение сената. Добродетель прекрасной Горго и ее последствия. Жрец Стробил появляется на сцене, и дело становится серьезней</i> | 135 |
| Глава шестая | |
| <i>Отношения между храмами Латоны и Ясона. Различия характеров верховного жреца Стробила и архижреца Агатирса. Стробил объявляет себя приверженцем прогивной Агатирсу стороны. Его поддерживает Салабанда, которая начинает играть важную роль в деле</i> | 137 |
| Глава седьмая | |
| <i>Абдера разделяется на две партии. Дело рассматривается советом</i> | 140 |
| Глава восьмая | |
| <i>Отличный порядок в абдерской канцелярии. Судебный опыт прошлого несколько не помогает. Народ собирается штурмовать ратушу, но его успокаивает Агатирс. Сенат решает передать дело Большому совету</i> | 143 |
| Глава девятая | |
| <i>Политика обеих партий. Архижрец использует свое преимущество. «Тени» отступают. Решающий день назначен</i> | 147 |
| Глава десятая | |
| <i>Жрец Стробил подкладывает мину под Агатирса. Созыв Коллегии десяти. Архижреца вызывают в суд, но он находит средства с пользой для себя уклониться от него</i> | 151 |
| Глава одиннадцатая | |
| <i>Агатирс собирает своих сторонников. Суть его речи, с которой он обратился к ним. Он приглашает их на торжественное жертвоприношение. Архонт Онолай точет сложить с себя свои обязанности. Беспокорство партии архижреца по этому случаю и хитрость, расстроившая планы архонта</i> | 156 |
| Глава двенадцатая | |
| <i>День решения тяжбы. Меры, принятые обеими партиями. Собирается Совет четырехсот, и суд начинается. Филантропическо-патриотические грезы издателя сей достопримечательной истории</i> | 159 |
| Глава тринадцатая | |
| <i>Речь сикофанта Физигната</i> | 162 |
| Глава четырнадцатая | |
| <i>Ответ сикофанта Полифона</i> | 168 |

Глава пятнадцатая
*Впечатление, произведенное речью Полифона. Дополнение сикофанта Физиг-
 ната. Замешательство судей* 170

Глава шестнадцатая
Неожиданная развязка всей комедии и восстановление спокойствия в Абдере 172

Книга пятая ЛЯГУШКИ ЛАТОНЫ

Глава первая
*Главная причина несчастья, вызвавшая впоследствии гибель Абдерской респуб-
 лики. Политика архижреца Агатурса. Он приказывает вырыть лягушачий пруд.
 Ближайшие и отдаленные последствия этого мероприятия* 175

Глава вторая
*Характер философа Коракса. Сведения об Академии наук Абдеры. Коракс за-
 дает Академии щекотливый вопрос относительно лягушек Латоны и становит-
 ся главой антилягушатников. Отношение жрецов Латоны к этой секте и как
 они согласились считать ее безопасной* 178

Глава третья
*Несчастный случай заставляет сенат обратить внимание на чрезмерное количе-
 ство лягушек в Абдере. Неосторожность советника Мейдия. Большинство ре-
 шает запросить мнение Академии. Гипсидой протестует против этого решения
 и спешит настроить против него верховного жреца Стильбона* 182

Глава четвертая
*Характер и образ жизни верховного жреца Стильбона. Переговоры между жре-
 цами Латоны и советниками, оказавшимися в меньшинстве. Стильбон оцени-
 вает дело с собственной точки зрения и отправляется сам сделать заявление
 архонту. Достопримечательный разговор между оставшимися* 185

Глава пятая
*Что произошло между верховным жрецом и архонтом — одна из поучительней-
 ших глав всей этой истории* 190

Глава шестая
Что сделал верховный жрец Стильбон, прибыв домой 193

Глава седьмая
*Отрывки из заключения Академии. Несколько слов о целях Коракса в связи с
 этим и об апологии, в которой Стильбон и Коракс имели возможность принять
 равное участие* 197

Глава восьмая
*Заключение зачитывается в совете, и после ожесточенных дебатов принимает-
 ся единодушное решение сообщить его жрецам Латоны* 203

Глава девятая
*Верховный жрец Стильбон пишет очень толстую книгу против Академии. Ее
 никто не читает, а в остальном все остается пока по-старому* 206

Глава десятая
Необычайная развязка всего этого трагикомического фарса 208

КЛЮЧ К «ИСТОРИИ АБДЕРИТОВ». 1781 212

ПРИЛОЖЕНИЯ

Р. Ю. Данилевский. Виланд и его «История абдеритов» 221

Примечания (сост. Р. Ю. Данилевский) 245

Список иллюстраций 266

**КРИСТОФ МАРТИН ВИЛАНД
ИСТОРИЯ АБДЕРИТОВ**

Утверждено к печати
Редколлегией серии
«Литературные памятники»

Редактор издательства *О. К. Логинова*

Художник *В. Г. Виноградов*

Художественный редактор *Т. П. Поленова*

Технические редакторы

Л. Н. Золотухина, Н. П. Кузнецова

Корректоры

И. Р. Бурт-Яшина, О. В. Лаврова

ИБ № 4300

Сдано в набор 28/VI 1977 г.

Подписано к печати 10/X 1977 г.

Формат 70 × 90¹/₁₆. Бумага типографская № 1

Усл. печ. л. 20,3. Уч.-изд. л. 20,8

Тираж 50 000. Тип. зак 2563

Цена 3 руб.

Издательство «Наука»,

117485, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 94а

2-я типография издательства «Наука»,

121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10



Die
Abderiten,
eine sehr wahrscheinliche
Geschichte

Von
C. W. Wieland, Hofrath zu
Weimar.

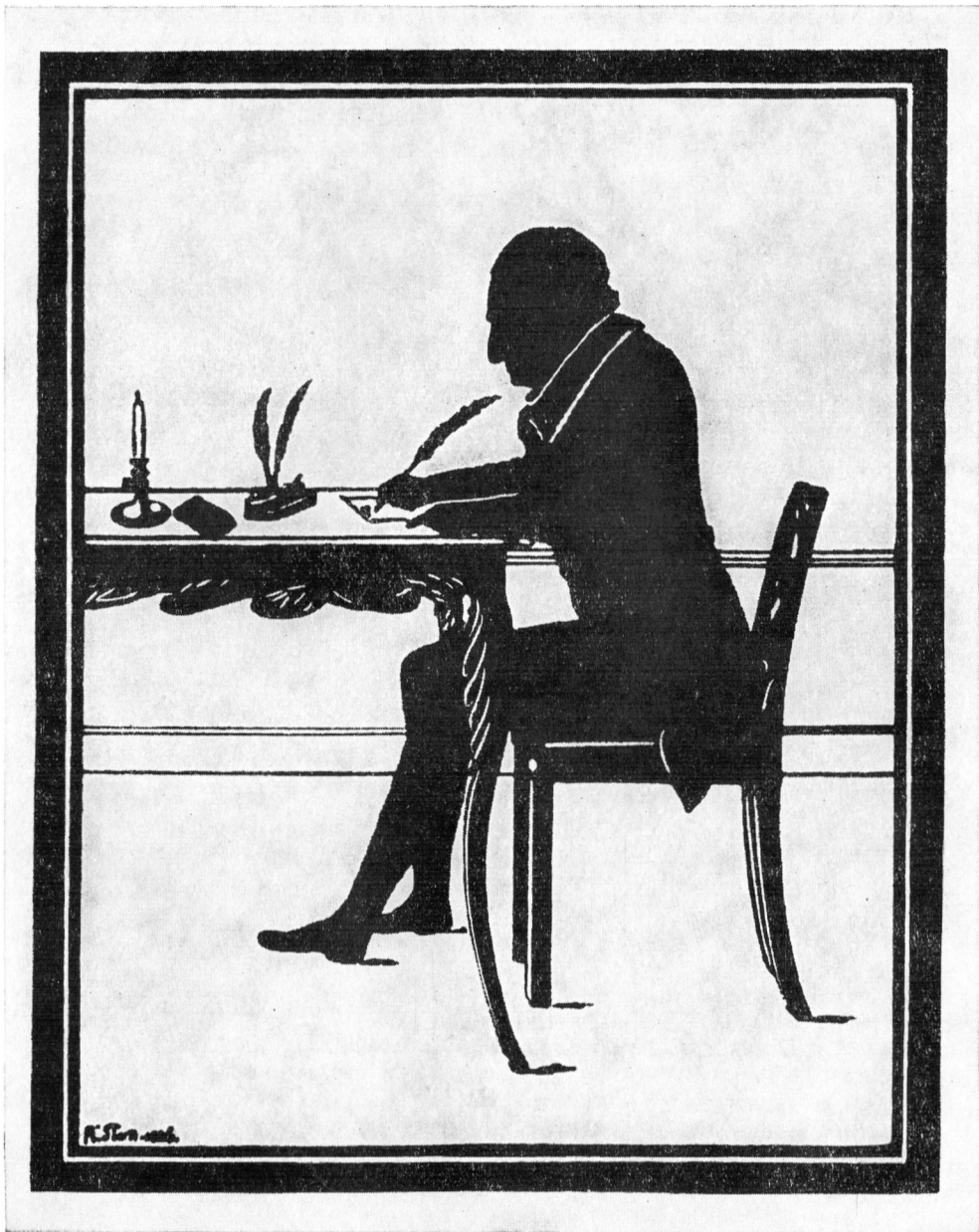


Ach! Verstand den Abderiten!

Bonn, bey Ferdinaud Kommerstien
Kurfürstl. Hofbuchbrucker und
Buchhändler 1774

Титульный лист первого издания «Истории абдеритов»,

1774 г.



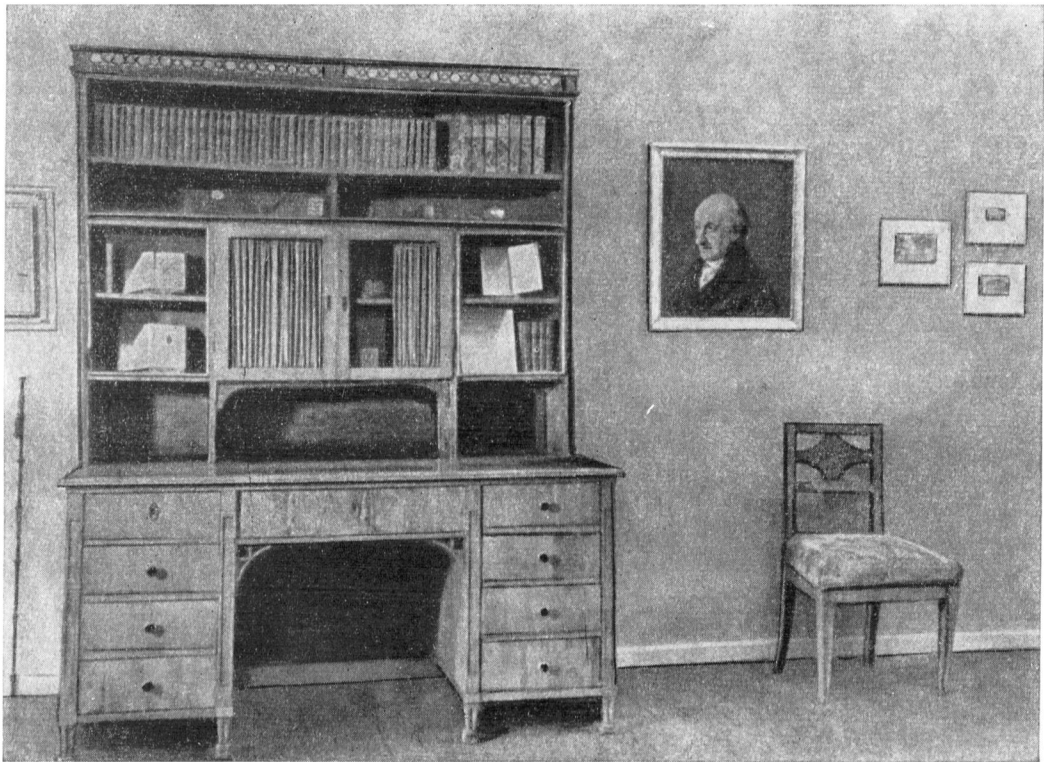
Виланд за работой. Силуэт.

1806 г.



Общество у герцогини Анны-Амалии. Среди присутствующих Гете и Гердер.

Акварель работы Т. М. Крауса. Около 1795 г.



Комната в музее Виланда.

Веймар